

- **МОСКВА 2042 ГОДА** —
новый сатирический роман Владимира Войновича
- **ПЕРСОНАЖ ПРОТИВ АВТОРА** —
исповедь героя книги А.Синявского "Спокойной
ночи"
- **КОНЕЦ "БОЛЬШОЙ ОХОТЫ"** —
документальная повесть об израильской разведке
- **ТУПИКИ ДОГМАТИЧЕСКОГО ИУДАИЗМА** —
размышления о современной еврейской религии
- **ГИЛЕЛЬ БУТМАН О СЕБЕ И О ДРУГИХ** —
ответ на размышления Виктора Богуславского

48

22

МОСКВА И ПЕРУСАЛИМ

N48

ДВАДЦАТЬ ДВА

общественно-политический и литературный журнал
еврейской интеллигенции из СССР в Израиле.
Лауреат премии имени Р. Н. Эттингер за 1984 год.

Год издания IX

№ 48

июнь-июль 1986

СОДЕРЖАНИЕ

ЛИТЕРАТУРА

- ВЛАДИМИР ВОЙНОВИЧ. Москва 2042 года (главы из романа) 3
О. КУСТАРЕВ. Разногласия и борьба (повесть, окончание) 32

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА

- РАФАИЛ БЛЕХМАН. Мосад, Аман и все такое (окончание) 95

ИЕРУСАЛИМСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

- БЕН БАРУХ. День начинается с ночи 124

ПОРТРЕТЫ В ПРОФИЛЬ

- АЛЕКСАНДР ВОРОНЕЛЬ. Право быть услышанным (к статье
С. Хмельницкого) 145
С. ХМЕЛЬНИЦКИЙ. Из чрева китова 152
Стихи прежних лет 181

КУЛЬТУРА

- В прошлом году в Будапеште (материалы симпозиума) 188

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ТЕКСТОМ

- ДЖОН ФРИДМАН. Искривление реальности и времени в поиске
истины в романах "Пушкинский дом" и "Школа для дураков"
(ненаучный очерк) 201

ПИСЬМА

ГИЛЕЛЬ БУТМАН. Ответ Виктору Богуславскому 211

На последней странице обложки – фото Григория Виницкого “Наедине с Богом”.

главный редактор – Рафаил Нудельман

Редакционная коллегия:

В. Богуславский	Ю. Меклер
А. Воронель	Н. Рубинштейн
Н. Воронель	М. Хейфец
Э. Кузнецов	Я. Цигельман
И. Чаплина	

заведующая редакцией – Мириам Бар-Ор
технический редактор – Наталья Рубина

Всю корреспонденцию направлять по адресу:
“22”, P. O. B. 7045, Ramat-Gan, Israel

Телефон редакции – 03/394626

ИЗДАНИЕ

общественного культурного фонда “Москва-Иерусалим” под покровительством Израильского комитета ученых при общественном совете солидарности с евреями СССР

ЛИТЕРАТУРА

У НАС В ГОСТЯХ

Владимир Войнович

МОСКВА 2042 ГОДА

(главы из романа)

В своем новом романе "Москореф" Владимир Войнович рассказывает о фантастическом путешествии писателя-эмигранта Карцева в Москву 2042 года. Эта возможность слетать туда и обратно на машине времени, авиакомпании "Люфтганза", неожиданно представилась ему, когда некое западное издательство согласилось оплатить его билет в обмен за книгу, которую он напишет о своем путешествии. В поездке Карцева оказываются заинтересованными еще два человека: его друг детства, ныне высокий чин в КГБ Букашев и знаменитый русский писатель эмигрант Сим Симищ Карнавалов. Букашев, как становится понятно из его разговора с героем в Мюнхене, затевает некий переворот в Кремле и хотел бы узнать от Карцева (которому суждено увидеть будущее), удастся ли его затея; Сим Симищ мечтает о роли спасителя России и хотел бы знать, удастся ли ему вернуться на родину на белом коне. Эти сюжетные узлы, завязанные в первой части романа, неожиданно и драматично развязываются во второй, описывающей пребывание Карцева в России будущего. Отрывки из первой части романа публиковались в журнале "Континент" и газете "Новое русское слово". Мы предлагаем читателям главы из второй части, любезно предоставленные автором нашему журналу.

Я очнулся от тишины и не сразу понял, что происходит. Наш аппарат уже не гудел, не свистел, не дрожал. Многие пассажиры, покинув места, со своими портфелями, сумками и чемоданчиками молча толпились в проходе.

За стеклом иллюминатора я увидел покрытое выжженной травой поле, потрескавшиеся рулежные дорожки и невдалеке большое здание из стекла и бетона. На верхней части здания я увидел выложенное большими буквами слово:

МОСКВА

Под надписью были размещены в ряд какие-то портреты, а над крышей, в лучах жаркого июльского солнца ярко полыхала рубиновая звезда.

Мог ли я оставаться спокойным? Необычайно волнуясь, я вскочил на ноги, но в это время по радио объявили, что работники местной аэродромной службы не могут найти для нашей машины подходящего трапа, поэтому пассажиров просят не волноваться и не толпиться в проходе, высадка будет объявлена особо.

Я вдруг заметил, что портреты на фронтоне аэровокзала вовсе не те, с которыми я простился, улетаая отсюда несколько лет тому назад. Сквозь запо-

тевшее окно они были плохо видны, но что-то в них было непривычное.

Их было пять.

На левом с краю был нарисован человек, похожий на Иисуса Христа, но не в рубище, а во вполне приличном костюме с жилеткой, галстуком и даже, кажется, с цепочкой от часов. Рядом с ним помещался Карл Маркс. Два портрета справа изображали Энгельса и Ленина. Но меня потрясли не портреты основоположников единственно правильного научного мировоззрения и даже не Иисус Христос (хотя он в этой компании выглядел не совсем своим), а лицо, запечатленное на среднем портрете. Этот бородатый человек в просторной армейской робе с генеральскими погонами и слегка распахнутым воротом был похож... Да, да! Все на того же Лешку Букашева, с которым я пил пиво в Английском саду, который три часа тому назад следил за моим взлетом в Мюнхенском аэропорту.

Я схватился за голову и застонал.

Боже! — подумал я. — Ну что же все это значит? Почему мне мерещится этот проклятый Букашев? Неужели я уже допил до белой горячки?

Пока я напрягал свою одуревшую голову, к нашей машине подкатили два странных транспортных средства лягушиного цвета. Они были похожи на какую-то комбинацию бронетранспортера с паровозом. Во всяком случае передвигались они, вероятно, с помощью пара, густые клубы которого вырывались из расположенной на носу трубы. Но все-таки это были именно бронетранспортеры, потому что как только они остановились, из тут же откинутых люков один за другим, как грибы из корзинки, посыпались военные в коротких штанишках и с короткими автоматами. Они тут же рассредоточились и стали вокруг самолета, направив на него стволы своего оружия.

Захрипело радио и херр Отто Шмидт сообщил, что московские власти трапа так и не нашли и пассажирам придется воспользоваться аварийной веревочной лестницей, за что он, капитан корабля, от имени экипажа и всей компании "Люфтваганза" приносит свои глубочайшие извинения.

Очередь стала продвигаться вперед. Я схватил свой "дипломат" и оказался последним в очереди.

У открытого люка две стюардессы, устало улыбаясь, желали

пассажирам счастливого времяпровождения и напоминали, что обратный рейс состоится ровно через месяц.

Пассажиры, спустившиеся до меня, стояли, окруженные плотным кольцом военных, направивших на них автоматы. Военные подгоняли пассажиров и поодиночке чуть ли не вталкивали в один из бронетранспортеров.

— Давай, давай, поживее! — покрикивал коренастый офицер с четырьмя звездочками на погонах, видимо, капитан.

Мне стало не по себе и я невольно попятился внутрь космоплана, но тут же наткнулся на что-то железное. Я оглянулся и вздрогнул. Сзади, упираясь в меня автоматом, стоял неизвестно как оказавшийся здесь коротконогий солдат и, не мигая, смотрел на меня своими раскосыми азиатскими глазами.

Я все понял и двинулся к выходу.

— Рамазаев! — крикнул капитан. — Писателя не трогай, он не наш.

— Слушаюсь! — прокричал Рамазаев и сиганул вниз мимо меня, на лету перебирая перекладины веревочной лестницы.

Не успел я подумать, откуда они узнали, что я писатель, как Рамазаев и его командир вскочили в плюющуюся паром машину, и она отвалила, дав резкий тревожный гудок.

Не понимая, что происходит, я оглянулся на стюардессу. Та улыбнулась и вдруг быстро протянула мне пузырек "Смирнофф".

— Данке шон, — сказал я и хотел сразу раскупорить полученное, но увидел, что внизу появилась новая группа военных: трое мужчин и две женщины. У всех троих мужчин и у одной женщины звезды на погонах были явно генеральского достоинства, другая женщина, помоложе, была всего лишь капитаном.

Один из генералов был, видимо, духовного звания. На нем была темная, но очень короткая, до колен, ряса с лампасами в нижней части, на голове монашеский клобук, тоже с большим козырьком, а на груди крупная и, может быть, даже серебряная звезда. На концах каждого луча звезды были кресты. Такая же звезда с крестами была и на клобуке. У женщины-генерала были лампасы на юбке, но в целом форма ее особого удивления не вызывала.

У генералов на груди было много орденов, а у женщины-капитана всего две каких-то медали.

Приблизившись к нижнему краю веревочной лестницы, они остановились и смотрели на меня снизу вверх, слегка жмурясь от слепящего солнца. Я неуверенно улыбнулся и продолжал стоять, не зная что делать. Так мы играли в гляделки, пока из группы военных не вышел вперед, видимо, главный из генералов. Он был самый высокий, самый упитанный, и на погонах у него было не по одной звезде, как у других, а по две.

— Ну что ж вы, Виталий Никитич? — сказал он низким рокочущим голосом. — Спускайтесь, мы вас ждем.

Из этого обращения явствовало, что они не только осведомлены о моей профессии, но и имя мое для них не секрет.

Я начал свой осторожный спуск, а те, которые стояли внизу, вдруг зааплодировали. Я подумал, что они надо мной издеваются и разозлился. Злость придавала мне сил, и остаток пути я проделал уже гораздо увереннее.

Спускаясь, я не исключал, что буду немедленно арестован. Но ничего подобного не случилось. Главный генерал подошел ко мне первым, подал мне свою пухлую руку и сказал с улыбкой:

— Слаген.

Затем ко мне приблизился другой генерал, протянул руку и тоже сказал "Слаген". Полагая, что второй Слаген приходится братом первому, я представился и ему. К моему удивлению, обе женщины и священник тоже оказались Слагенами.

— Ну что ж, Виталий Никитич, — сказал генерал, по-прежнему улыбаясь. — Позвольте от имени нашей небольшой комиссовской делегации сердечно поздравить вас с возвращением. Как говорилось в старину, добро пожаловать на родную землю!

Он широко раскинул руки, как будто хотел меня обнять, но тут же опустил их.

Я не успел ответить, как заговорила женщина-капитан:

— Виталий Никитич, комсор Смерчев сердечно поздравляет вас с прибытием и говорит: "Добро пожаловать на родную землю!"

— Я понял, — сказал я, — я не глухой.

— Он говорит, что он не глухой, — сказала капитан генералу.

— Скажи ему, — передал генерал, — что я восхищен тем, что он в его возрасте так прекрасно выглядит и даже не утратил слуха.

Пока женщина непонятно зачем повторяла его слова, я смотрел на них удивленно: почему они считают, что я в свои сорок неполных лет должен был оглохнуть?

Выразив свое восхищение моим состоянием, генерал попросил разрешения представить мне всех членов делегации.

— Меня, — сказал он, — зовут Смерчев Кому-Не-Иванович.

— Кому-Не-Иванович? — повторил я удивленно.

Капитан перевела мои слова генералу, тот засмеялся (другие генералы его поддержали) и объяснил, что некоторые подчиненные действительно зовут его за глаза Кому-Не-Иванович, хотя на самом деле он не Кому-Не, а Коммуний Иванович. А еще он сказал, что он генерал-лейтенант литературной службы, Главкомпис республики и председатель юбилейного Пятиугольника.

Тут же Коммуний Иванович представил мне других членов делегации, которых имена и должности я располагаю в порядке представления:

1. Сиромахин Дзержин Гаврилович, генерал-майор БЕЗО, первый заместитель Главкомписа по БЕЗО, Второй член юбилейного Пятиугольника.

2. Коровяк Пропаганда Парамоновна, генерал-майор политической службы, первый заместитель Главкомписа по политическому воспитанию и пропаганде, Третий член юбилейного Пятиугольника.

3. Отец Звездоний, генерал-майор религиозной службы, первый заместитель Главкомписа по духовному окормлению, Четвертый член юбилейного Пятиугольника.

4. Полякова Искрина Романовна, капитан литературной службы, Пятый член и секретарь юбилейного Пятиугольника.

Я не очень понял, что означают все эти звания и должности, почему у них такие странные имена, кто такой Главкомпис, о каком юбилейном Пятиугольнике идет речь и вообще, что это такое. Представив себя и своих спутников, Коммуний Иванович спросил (а капитан перевела), есть ли у меня какие-нибудь вопросы.

Вопросов у меня было так много, что я не знал, с какого начать. И спросил для начала, что такое юбилейный Пятиугольник и чей юбилей собирается он отмечать.

Коммуний Иванович разъяснил, что юбилейный Пятиугольник это специально назначенный творческим Пятиугольником комитет, которому поручено подготовить и провести на высоком идейном уровне мой юбилей.

— Мой юбилей? — переспросил я недоуменно. — А, ну да, мне же на днях исполнится сорок лет. Я совсем выпустил это из виду.

— Вы говорите, сорок лет? — переспросил Смерчев и переглянулся со своими спутниками. — Да нет, Виталий Никитич, — улыбнулся он снисходительно. — Вам не сорок. Вам сто лет исполняется.

Я сначала удивился, но тут же все понял.

— Ну да, — сказал я. — Ну конечно, сто лет. А мне это, честно говоря, почему-то даже и в голову не пришло, хотя, если бы я подумал, то мог бы и сам догадаться.

Я даже рассмеялся и весь Пятиугольник доброжелательно посмеялся вместе со мной.

— Скажите, — спросил я генерала, — а откуда вы меня вообще знаете?

Коммуний Иванович развел руками:

— Ну что вы, Виталий Никитич, ну как же мы вас можем не знать, когда мы ваши произведения тщательно изучали еще в предкомобах.

— А что это такое?

— Предкомоб это значит предприятие коммунистического обучения.

— Понятно, — сказал я. — И вы лично тоже изучали мои произведения в предкомобе?

— Ну как же, Виталий Никитич, у нас каждый предкомобовец в обязательном порядке изучает предварительную литературу.

Сведение о том, что существует, оказывается, какая-то предварительная литература, повергло меня в уныние.

— Ну хорошо, — сказал я. — Я очень рад, что вы в предкомобах так хорошо усвоили предварительную литературу, но я не могу понять, каким же все-таки образом вы узнали о моем приезде?

Члены делегации переглянулись между собой, а Коммуний Иванович улыбнулся и развел руками:

— Что ж вы, Виталий Никитич, так плохо о нас думаете? Мы не отрицаем, в работе нашей разведки есть еще некоторые недостатки, но неужели вы думаете, что за шестьдесят лет она не могла справиться с такой, прямо скажем, несложной задачей?

— Скажите, пожалуйста, — сказал я, ужасно волнуясь, — а какой политический строй существует сейчас в вашем государстве?

Смерчев переглянулся с остальными спутниками и, положив руку мне на плечо, торжественно сообщил:

— Никакого политического строя, Виталий Никитич, у нас не существует. Впервые в истории нашей страны и всего человечества у нас построено бесстроевое и бесклассовое коммунистическое общество.

— Что вы говорите! — всплеснул я руками. — Неужели вы построили самый настоящий коммунизм?

— Ну конечно же, самый настоящий, — подтвердил Смерчев.

— Не игрушечный же, — вставил свое слово Дзержин Гаврилович и посмотрел на меня как-то странно.

— Неужели, неужели, неужели это случилось? — бормотал я. — А я-то не верил. А я-то сомневался. И сколько я глупостей по этому поводу наговорил!

— Да уж наговорили, — строго заметила Пропаганда Парамоновна.

— Ну, наговорил, так наговорил, — защитил меня энергично Дзержин Гаврилович. — Это было давно и, возможно, в те времена Виталий Никитич находился под сильным посторонним влиянием.

Черт подери, подумал я, на что это они намекают? На то, что они про меня все знают? Ну да, ну правильно, у них было времени достаточно, чтобы собрать на меня большое досье. Но зачем они перебирают это давно прошедшее прошлое и что хотят из него извлечь?

— Значит, вы говорите, — вернулся я к прерванной теме, — что коммунизм все-таки построен? А я, признаться, этого не ожидал и не предвидел. Слава Богу, что я ошибся.

— Кому слава? — удивленно переспросила Пропаганда Парамоновна.

— Он сказал: "слава Богу", — повторила мои слова Искрина Романовна.

— А никакого Бога нет, — подскочил вдруг отец Звездоний и стукнул правой ногою в землю. — Совершенно никакого Бога нет, не было и не будет. А есть только Гениалиссимус, который там, наверху, — Звездоний ткнул пальцем в небо, — не спит, работает, смотрит на нас и думает о нас. Слава Гениалиссимусу, слава Гениалиссимусу, — забормотал он, как сумасшедший, и стал правой рукой производить какие-то странные движения. Вроде крестился, но как-то по-новому. Всей пятерней он тыкал себя по такой схеме: лоб—левое колено—правое плечо—левое плечо—правое колено—лоб.

Все другие тоже остановились и тоже стали, повторяя те же движения, бормотать: "Слава Гениалиссимусу, слава Гениалиссимусу".

— Надеюсь, вы поняли, — сказал Коммуний Иванович, — что Гениалиссимус это наш любимый, дорогой и единственный вождь?

— Да-да, — сказал я. — Я догадываюсь. Только я не очень понимаю, что означает это слово Гениалиссимус. Что это, имя, фамилия, звание или должность?

— Это все вместе, — сказал Смерчев. — Дело в том, что Гениалиссимус является одновременно генеральным секретарем нашей партии, имеет воинское звание Генералиссимус и кроме того отличается от других людей всесторонней такой гениальностью. Учитывая все эти его звания и особенности, люди называли его "наш гениальный генеральный секретарь и Генералиссимус". Но, как известно, кроме прочих достоинств, наш вождь отличается еще исключительной скромностью. И он много раз просил нас всех называть его как-нибудь попроще, покороче и поскромнее. Ну и в конце концов привилось такое вот простое и естественное имя — Гениалиссимус... Наш Гениалиссимус, будучи еще только простым генералом госбезопасности, часто задумывался, почему так хорошо и научно разработанное построение коммунизма все-таки не удается. В свое время даже великий Ленин полагал, что коммунизм можно построить сразу на всей планете, произведя для этого мировую революцию. Затем было выдвинуто положение, что первую стадию коммунизма — социализм — можно построить и в одной отдельно взятой стране. Так и было сделано. Однако все попытки построения в одной стране коммунизма оказались безуспешными. Тщательно проанализировав эти попытки и революционно развивая теорию, наш будущий Гениалиссимус пришел к единственно правильному выводу, что прежние строители, руководствуясь вульгаризаторскими идеями, проявляли поспешность, не учитывали ни масштабов страны, ни неблагоприятных погодных условий, ни отсталости значительной части многонационального населения. В конце концов наш будущий Гениалиссимус пришел к простому, но гениальному решению, что коммунизм можно и нужно для начала построить в одном отдельно взятом городе. И это свершилось! В сжатый исторический период коммунизм был построен в пределах Москвы, которая стала первой в мире отдельной коммунистической республикой, — Мос-ко-реп.

— Простите, — сказал я, — я не совсем понял. Москва больше не входит в состав Советского Союза?

— Не только входит, но по-прежнему является его географической, исторической, культурной и духовной столицей, — гордо сообщил Смерчев. — Но наш любимый Гениалиссимус со свойственной ему прозорливостью разработал теорию, по которой возможно мирное сосуществование двух общественных систем в пределах одного государства.

— Ага! — обрадовался я тому, что начал кое-что понимать. — Это значит, как в Китае. Они тоже в свое время разработали теорию двух систем.

— Что касается Китая, — снисходительно сказал Смерчев, — то сравнивать эту страну с великим Советским Союзом, право, никак не стоит. Китай включает в себя социалистические территории и такие зловердные очаги капиталистического разложения, как Гонконг, Тайвань и остров Хонсю. В то время, как Советский Союз, являясь в целом социалистическим континентом, имеет коммунистическую сердцевину, которая стала могучим и вдохновляющим примером для всех народов, еще пока этой стадии не достигших. Разница, согласитесь, принципиальная.

По мере нашего приближения к аэровокзалу я все пристальнее вглядывался в висевшие на фронтоне портреты.

— Кто этот человек, похожий на Иисуса Христа?

— Как кто? — удивился Смерчев. — Это и есть Иисус Христос.

— Но мы поклоняемся ему, — тут же завертелся отец Звездоний, — не как какому-то там сыну Божьему, а как первому коммунисту, великому предшественнику нашего Гениалиссимуса, о котором Христос правильно когда-то сказал: "Но идущий за мною сильнее меня!"

Я совершенно точно знал, что эти слова принадлежали не Христу, а Иоанну Крестителю, но на всякий случай возражать не стал.

На кирпичной стене аэропорта я увидел старую, полустертую надпись: "Внимание! Двери открываются автоматически!" Но никаких дверей вовсе не оказалось, проем в стене был ничем не закрыт.

Смерчев приостановился, пропуская меня вперед. Я шагнул в проем, и тут сразу грянула музыка и огромная толпа людей дружно стала размахивать красными флажками, транспаранта-

ми, портретами Гениалиссимуса и... я глазам своим не поверил... моими.

Дзержин сразу выскочил вперед и, выставив плечо, стал проламываться сквозь толпу, за ним, тоже отпихиваясь от народа, шел Смерчев, а за Смерчевым — я.

Лозунги на транспарантах были примерно такие:

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ГЕНИАЛИССИМУС! ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! МЫ ЛУЧШЕ ВСЕХ! НАША СИЛА В ПЯТИЕДИНСТВЕ! СЛАВА КПГБ! ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ЛИТЕРАТУРУ ВЫУЧИМ И ПЕРЕВЫУЧИМ!

Еще не успев ни в чем разобраться, я оказался на каком-то возвышении вроде сцены, за столом, покрытым красной бумагой. По обе стороны от меня расположились члены комписовской делегации. Искрина Романовна, устроившись за моим левым плечом, шепнула мне на ухо, что готова мне помочь, если чего непонятно.

Коммуний Иванович встал и поднял руку. Музыка смолкла. Раздались бурные аплодисменты. Смерчев знаками остановил и их.

— Дорогие комуняне и комунянки! — взволнованно начал Смерчев. — Гениалиссимус лично поручил мне представить вам нашего дорогого, уважаемого, запоздалого гостя. — Тут опять раздались дружные аплодисменты. — Шестьдесят лет, мужественно преодолевая исключительные трудности, добирался он сюда из своего отдаленного прошлого, чтобы увидеть своими глазами нас и наши свершения, и от имени ушедших поколений глубоко поклониться нашему любимому Гениалиссимусу за его неутомимую деятельность на благо нашего народа и всего человечества.

Речь Смерчева многократно прерывалась самыми бурными аплодисментами, и при этом публика каждый раз скандировала имена Гениалиссимуса и мое.

Среди выступавших были Дзержин Гаврилович и отец Звездоний. Первый, произнеся в мой адрес самые лестные комплименты, призвал москореповцев по случаю моего приезда к еще большей коммунистической бдительности.

— Мы, — сказал он, — нисколько не сомневаемся, что Виталий Никитич приехал к нам с чистыми намерениями. Но мы должны помнить, что таким же образом к нам могут проникнуть и скрытые враги.

Речь отца Звездония была пересыпана цитатами из Священного

писания, которое, если верить бабушке, было сочинено Гениалиссимусом.

Все, что я увидел и услышал на этом митинге, было ужасно интересно, но немного утомительно. Поэтому я обрадовался, когда Смерчев сказал, что основная часть митинга окончена и ему остается только огласить Указ Верховного Пятиугольника.

Вот что в нем было сказано: "Учитывая выдающиеся заслуги в деле создания предварительной (докоммунистической) литературы, отсутствия наличия в его действиях преступного умысла, отсталость его мировоззрения и за давностью лет Карцева Виталия Никитича:

1. Полностью реабилитировать и отныне считать его полноправным гражданином Московской ордена Ленина Краснознаменной Коммунистической республики;

2. Реабилитированного Карцева произвести в чин младшего лейтенанта литературной службы с присвоением ему имени Классик;

3. В связи с приближающимся столетием со дня рождения Классика Никитича Карцева объявить его Юбилей всенародным праздником;

4. Обязать Юбилейный Пятиугольник организовать подготовку к Юбилею на высоком идейно-политическом уровне, а во всех трудовых коллективах провести торжественные митинги, собрания, читательские конференции с обязательным повторным изучением основных трудов Юбилера".

Я вышел на трибуну. помолчал, всмотрелся в эти красивые, пытливые и одухотворенные лица.

— Здравствуй, племя младое незнакомое... — начал я и вдруг, не выдержав, разревелся.

Кабесот

Я очнулся от резкого запаха. Кто-то вливал мне в рот холодную воду, кто-то совал в нос клочок ваты, пропитанной нашатырным спиртом.

— Извините, — сказал я ужасно слабым голосом. — Кажется, я немного переволновался.

— Ничего, ничего, — сказал Смерчев. — Это бывает. Сейчас мы вас отвезем в гостиницу, в самую лучшую нашу гостиницу, там вы успокоитесь, отдохнете и придете в себя.

Кажется, они торопились. У меня же в результате всех волнений возникла потребность, вернее две потребности, и я, слегка в общем-то смущаясь, спросил, где у них тут уборная.

— Уборная? — Смерчев наморщил лоб и вопросительно посмотрел на Искрину Романовну.

— Классик Никитич имеет в виду КАБЕСОТ, — улыбнулась Искрина Романовна.

— Ах, кабесот, — вздохнул Смерчев. — Ну да, действительно кабесот. Как я срезку не догадался! Ну, это понятно, это естественно. Как говорит Гениалиссимус, ничто человеческое нам не чуждо, — сказал он и захихикал.

Искрина Романовна вызвала меня проводить. По дороге она объяснила мне, что КАБЕСОТ означает Кабинет Естественных Отправлений. Войдя вместе со мной внутрь кабесота, Искрина Романовна обратилась к сидевшей в углу интеллигентного вида даме в балом халате и в очках, привязанных к ушам шнурками от ботинок. Дама выдала мне какой-то бланк из серой бумаги, в котором я должен был указать фамилию, звездное имя, год и место рождения и цель посещения кабесота (в этой графе по указанию Искрины Романовны я написал: "сдача продукта вторичного"). Я расписался, поставил дату, после чего Искрина Романовна вышла, а мне было разрешено приступить к своему делу, для чего тут же, прямо перед глазами дамы, имелся длинный ряд необходимых отверстий.

Поставив чемоданчик прямо перед собой, я приступил к исполнению своего дела под наблюдением дежурной.

Прямо передо мной была давно некрашенная стена со всевозможными рисунками на ней. Там же был начертан химическим карандашом призыв: "Пролетарии всех стран, подтирайтесь!" Под надписью я разглядел еще одно слово из трех букв. Оно было написано неразборчиво или кто-то даже пытался его замазать, но не совсем успешно, потому что оно упрямо проступало сквозь замазку. Слово было "СИМ". Разобрав его, я даже засмеялся, чем вызвал удивленный взгляд дежурной.

— Мне смешно, — сказал я ей, — потому что здесь написано "Сим", а у меня был знакомый с таким именем.

Мне показалось, что мое высказывание ее испугало. Она посмотрела на меня как-то странно, оглянулась на дверь и приложила палец к губам.

"А есть ли у них бумага?" — подумал я с тревогой.

Во времена развитого социализма, насколько я помнил, в общественных уборных никакой бумаги никогда не бывало, и строителям светлого будущего приходилось преодолевать определенные затруднения.

Бумага была! Причем не какие-нибудь обрывки, а целый рулон, наматанный на специально прикрученную к полу вертушку. Вот что значит коммунизм! Правда, бумага была газетная. Я ухватил бумагу за конец и потянул к себе. И тут увидел такое, к чему, откровенно говоря, был не очень то подготовлен. Нет, этот рулон не был сделан из газеты. Это сама газета была напечатана в виде рулона.

Никогда не думал, что люди будущего найдут такой простой до гениальности выход из затруднений с туалетной бумагой.

Я стал нетерпеливо разматывать газету, чтобы почерпнуть из нее как можно больше сведений об обществе, в котором я оказался. Газета называлась, как и прежде — "Правда". Около полуметра занимали изображения орденов, которыми она была награждена за многолетнюю неутомимую деятельность по перевоспитанию трудящихся. Под названием было

написано, что она является органом Коммунистической партии государственной безопасности. Тек вот что означала виденная мною на одном из лозунгов аббревиатура: КПГБ!

Примерно полтора метра были посвящены Гениалиссимусу. Сначала его большой поясной портрет в полной форме с орденами, украшавшими всю его грудь от подбородка до живота. Под портретом — краткий медицинский бюллетень о состоянии здоровья Гениалиссимуса. Я сначала встретился, думая, что с Гениалиссимусом что-то случилось, но потом увидел, что бюллетень содержал положительные сведения, которые публикуются, видимо, каждый день. В бюллетене было сказано, что после плодотворной рабочей ночи Гениалиссимус чувствует себя хорошо. Сердце, желудок, почки, печень, легкие и другие органы функционируют отлично. После выполнения ряда рекомендованных физических упражнений и принятия скромной вегетарианской пищи Гениалиссимус вновь приступил к своему каждодневному титаническому труду на благо всего человечества.

Затем шли указы, подписанные Гениалиссимусом. О переименовании реки Клязьма в реку имени Карла Маркса. О награждении орденами и медалями исправительно-трудовых учреждений. Там было написано примерно так: "За большие заслуги в деле перевоспитания трудящихся и внедрение в их сознание коммунистических идеалов, наградить..." И дальше следовал длинный список каких-то лагерей общего, особого и строгого режимов, учреждений по надзору и всяких тюрем, среди которых оказалась и Лефортовская Краснознаменная Академическая тюрьма имени Ф. Э. Дзержинского. Печатались различные телеграммы, которые Гениалиссимус в большом количестве рассылал в адреса каких-то съездов, конференций и совещаний. Какая-то статья о пользе бережливости. Фельетон о молодых людях, которые носят длинные брюки и юбки и увлекаются буржуазными танцами. Карикатуры, басни, заметка фенолога. Для чтения всего этого у меня времени не было, поэтому я пытался ухватить главное. Например, из статьи "За что мы любим Гениалиссимуса" я узнал, что он занимает пять высших должностей: Генеральный секретарь ЦК КПГБ, Председатель Верховного Пятиугольника, Верховный Главнокомандующий, Председатель Комитета государственной безопасности и Патриарх Всея Руси.

Еще я узнал, что, находясь в каких-то трех кольцах враждебности, страна переживает временные трудности, а ограниченный контингент советских войск временно расположен на территории Афгано-Пакистанской народно-демократической республики. Узнал я и о том, как вся страна успешно заживает раны, нанесенные ей в результате недавно закончившейся Великой Бурят-Монгольской войны.

Больше я ничего прочесть не успел, потому что в кабесот вбежала Искрина Романовна.

— Классик Никитич, вы все еще сидите! Там вас люди ждут, а вы здесь газету читаете.

Я ужасно смутился.

— Искрина Романовна, — сказал я, — да что же это вы сюда входите без разрешения? Мне же неудобно с вами разговаривать, находясь в таком положении.

— Что значит неудобно? — сказала она. — У нас нет таких понятий удобно или неудобно. А вот вас люди ждут, и это действительно неудобно.

Москорея

В очищенном от публики помещении меня действительно дожидались и, кажется, нервничали Смерчев и его заместители.

— Все в порядке? — спросил Смерчев и, не выслушав ответа, сказал, что нам пора ехать в город, мол, и так слишком долго здесь задержались. Мы вышли наружу.

На площади, покрытой сильно растрескавшимся асфальтом, стояли несколько военных бронетранспортеров и десятка полтора легковых машин; частично паровых, а частично газогенераторных.

Смерчев объяснил, что на паровое и газогенераторное топливо пришлось перейти после того, как культисты, волюнтаристы, коррупционисты и реформисты в результате хищнической эксплуатации природных ресурсов окончательно истощили запасы бакинской и тюменской нефти. Теперь бензиновые двигатели используются только в военной технике и в транспортных средствах особого назначения.

Мы подошли к бронетранспортеру, у открытых дверей которого стоял молодой человек в коротком застиранном комбинезоне и танкистском шлеме.

Он был водителем этого неуклюжего транспорта и звали его, как ни странно, просто Вася.

Внутри было полутемно и жарко, как в сауне. Устроившись рядом с Васей, я сразу взмок. Смерчев и его спутники расположились сзади на длинных деревянных скамейках, протянутых вдоль борта. Вася задрал бронированную дверь и дал длинный гудок.

Шоссе с обеих сторон было огорожено сплошным железобетонным забором высотой метра, примерно, два с половиной, три ряда колючей проволоки были натянута поверху. Дорога в целом выглядела пустой и спокойной. Но время от времени из-за забора летели на дорогу довольно-таки приличные куски кирпича или булыжник. Один кирпич попал в крышу нашего бронетранспортера и разбился с таким грохотом, как будто это был артиллерийский снаряд.

— Семиты балуют, — сказал Вася без всяких эмоций.

— Семиты? — переспросил я. — То есть евреи?

— Кто? — удивился Вася.

— А это такой народ был в прошлые времена, — перегнулся через спинку сиденья и объяснил Васе отец Звездоний. — Очень плохие люди. Они Иисуса Христа распяли. Но у нас их, слава Гениалиссимусу, нет. А вот в Первом Кольце еще попадают.

Я спросил, что это — Первое Кольцо. Тут включился Смерчев и сказал, что коммунизм, построенный в пределах Большой Москвы, естественно, вызывает не только восхищение, но и зависть отдельных групп населения, живущего вовне. От этого, понятно, в отношениях комунян и людей, живущих за пределами Москорепа, возникают некоторая напряженность и

даже враждебность, имеющие, как точно заметил Гениалиссимус, кольцеобразную структуру. В Первое Кольцо враждебности входят советские республики, которые комуняне называют сыновними, во Второе — братские социалистические страны и в Третье — вражеские капиталистические.

— А вот насчет этих семитов, — спросил я, — если они не евреи, то кто же?

— Ну, во-первых, — улыбнулся Смерчев, — не се, а симиты, а во-вторых, это такие люди, что о них даже не стоит и говорить.

— Ну, кому стоит, кому не стоит, — с сомнением заметил Дзержин, но дальше мысль свою не развил.

Наш транспортер двигался медленно. То ли дорога была забита, то ли что-то еще, но мы довольно часто останавливались, а потом со скрежетом катили дальше. Смотровая щель не давала возможности широкого обзора. Я видел бесчисленные портреты Гениалиссимуса, чаще даже не целиком, а отдельные части, то бороду, то сапоги, то лампасы, и много всяких лозунгов, призывов и здравий, вроде:

СОСТАВНЫЕ НАШЕГО ПЯТИЕДИНСТВА: НАРОДНОСТЬ, ПАРТИЙНОСТЬ, РЕЛИГИОЗНОСТЬ, БДИТЕЛЬНОСТЬ И ГОСБЕЗОПАСНОСТЬ!

Я спросил Смерчева, с каких это пор религиозность считается совместимой с коммунистической идеологией. Тут вмешался отец Звездоний и сказал, что привлечение к строительству коммунизма религии было одной из задач, поставленных Гениалиссимусом во время Августовской революции. Теперь церковь считается младшей сестрой партии, ей даны огромные права и возможности с одним только условием: церковь проповедует веру не в Бога, которого, как известно, нет, а в коммунистические идеалы и лично в Гениалиссимуса.

Сейчас, вспоминая этот свой первый день в Москореппе, я думаю, что хотя на меня сразу обрушилось столько противоречивых и совершенно неожиданных сведений, я довольно скоро начал кое в чем разбираться. Я, например, сам без посторонней помощи догадался, что “комсор” означает “коммунистический соратник”, “компис” — “коммунистический писатель”, приветствие “слаген” расшифровывается как “Слава Гениалиссимусу”, ну, а почему они вместо “О, Боже!” говорят: “О, Гена!” это, по-моему, и объяснять нечего. Но один вопрос для меня был существенным: каким образом соблюдается в Москореппе основной принцип коммунизма: от каждого по способности, каждому по потребности. Я спросил об этом Смерчева, и он сказал, что конечно, именно этот принцип самым непосредственным образом и соблюдается.

— Значит, — спросил я, — каждый человек может войти в любой магазин и совершенно бесплатно взять там все, что хочет?

— Да, — подтвердил Коммуний Иванович, — каждый человек все, что ему дают, получает совершенно бесплатно. Но берет он не все, что попало, а только то, в чем имеет потребность в пределах полного удовлетворения.

— Понятно, — сказал я. — А кто определяет его потребности? Он сам?

— Чистойшей воды метафизика, гегельянство и кантианство! — радостно воскликнула Пропаганда Парамоновна.

Но Смерчев бросаться ярлыками не стал, хотя и сказал, что вопрос мой ему кажется просто странным.

— Ну зачем же самому человеку определять свои потребности? Для этого он, может быть, недостаточно подготовлен. Может быть, у него какие-нибудь, так сказать, несбыточные желания, которые он считает потребностями. Может, он Луну с неба захочет взять. Нет, так нельзя. Для определения потребностей каждого у нас повсюду существуют Пятиугольники, как Верховный, так и местные. В них входят наши партийные, религиозные активисты, работники БЕЗО и другие. Прежде, чем определить, какие у того или иного человека потребности, надо выяснить его индивидуальные физические и моральные особенности, его вес, рост, идейные взгляды, отношение к труду, степень участия в общественной жизни. Естественно, что у человека, который хорошо трудится, выполняет производственные задания, ведет общественную работу, прилежно изучает труды Гениалиссимуса, у такого человека, понятно, потребности гораздо выше, чем у какого-нибудь лентяя или нарушителя общественной дисциплины.

— Ну, нарушителей у нас, в Москорепе, практически не бывает, — сказал Дзержин Гаврилович.

— Нарушителей не бывает, — согласился Смерчев. — Но все-таки трудятся не все одинаково. Одни выполняют план на двести процентов, а другие только на сто пятьдесят, и считать, что у них одинаковые потребности было бы просто, я бы сказал, даже несправедливо.

Пункт вторичной проверки

Вскоре мы остановились, и Смерчев сказал, что придется выйти для исполнения неких формальностей.

Я вылез из этой душегубки, обливаясь потом и еле живой. Утираюсь платком, я увидел, что мы находимся перед не очень высоким, но длинным зданием; небольшие окна плотно занавешены, а у железной двери стоят два автоматчика. Тут же была и вывеска:

ПУНКТ ВТОРИЧНОЙ ПРОВЕРКИ

Дзержин подошел к автоматчикам. Один при виде его взял "на караул", а другой открыл дверь.

Просторное помещение за дверью напоминало холл какой-то большой гостиницы, где ожидается важная, может быть, даже международная конференция. Справа располагался ряд столиков с выставленными на них буквами русского алфавита.

Мы со Смерчевым подошли к столику с буквой "К".

Женщина-подполковник, не глядя на меня, записала фамилию, звездное имя, отчество и спросила год рождения.

— Тысяча девятьсот сорок второй, — сказал я.

— Тысяча девятьсот сорок... — стала она писать и тут же взорвалась. — Вы что тут дурака валяете? Вы думаете, нам тут делать нечего? Я из-за вас целый лист бумаги испортила. Я напишу по месту вашего служения, чтобы с вас за эту бумагу взыскали.

Она уже собралась выкинуть лист в корзину, но Смерчев остановил ее и что-то шепнул ей на ухо.

Она слушала хмуро, затем на лице ее отразилось крайнее изумление, она посмотрела на меня и всплеснула руками.

— О, Гена! Неужели это вы! То-то я смотрю, лицо вроде знакомое. Да я же вас только что по телевизору видела. Надо же! А как вы выглядите! Неужели сто лет! На вид больше шестидесяти никак не дашь. Небось, в Третьем Кольце одними витаминчиками питаетесь.

— В Третьем Кольце, — заметила, подойдя, Пропаганда Парамоновна, — трудящиеся питаются исключительно вторичным продуктом.

— Ну да, да, конечно, — поспешила согласиться с ней регистраторша. — Конечно, вторичным. Но у них он, я слышала, витаминизирован.

После того, как я заполнил короткую анкету, мне было предложено пройти в дальний угол, где стоял длинный оцинкованный стол, на таких, по моим представлениям, патологоанатомы разделяют покойников. На этом столе в роли покойника находился мой чемодан, уже раскрытый и отчасти даже распотрошенный. Вскрытие производил крупный и довольно-таки упитанный майор таможенной, как я понял, службы.

Майор узнал меня сразу. Говорил он со мной очень заискивая и многократно извиняясь.

— Прошу прощения, виноват, очень извиняюсь за беспокойство, в принципе мы вас ни в коем случае не стали бы проверять, но исключительно по незнанию вы можете провезти что-нибудь такое, что понимаете, извините.

И еще несколько раз извинившись, сообщил, что в моем багаже обнаружены некоторые предметы, к ввозу в Москореп не разрешенные.

— Например? — спросил я, стараясь держаться невозмутимо.

— Например, вот это, — сказал таможенник и, взяв мой фотоаппарат "Никон", тут же его раскрыл.

— Что вы делаете! — закричал я. — Вы же засветили пленку! Разве у вас нельзя фотографировать?

— Что вы! Что вы! — испугался майор. — Ну конечно же, можно. Особенно вам. Вам можно делать все, кроме того, что нельзя. Пожалуйста. — Он пододвинул ко мне аппарат. — Фотографируйте на здоровье. Я только вот это вынул, а этим вы можете пользоваться сколько угодно.

— Вы что, ненормальный? — спросил я. — Что я буду делать этим без этого? Гвозди забивать? Или колотить орехи?

— Ради Гениалиссимуса! — Он приложил руки к груди. — Вы с этой вещью можете делать все, что вам угодно в пределах ваших потребностей. Но у нас, извиняюсь почтительно, фотографическими аппаратами пользоваться разрешается, а светочувствительными элементами — нет.

С этими словами он тут же выкинул на стол еще шесть комплектов пленки, которые я перед отъездом купил в Кауфхофе.

— Интересно, — сказал я, — что за глупые правила. У вас что же в Москорепе вашем вообще ничего нельзя фотографировать?

Таможенник недоуменно посмотрел на Смерчева и опять на меня.

— Извините, не понял, — сказал он. — У нас в Москорепе можно фотографировать что угодно, где угодно и кого угодно. Но только без пленки.

— Ну как же так, — сказал я растерянно. — Я видел вашу газету. И там фотографии. Они же делались не без пленки.

— Совершенно справедливое замечание! — захихикал таможенник. — Но снимки в газетах делаются для государственных потребностей, а у вас

потребности личные. Они знают, что можно заснять на пленку, а вы, ужасно извиняюсь, можете и не знать. И по незнанию можете отобразить какие-нибудь такие, понимаете ли, теневые стороны нашей действительности и тем самым привлечь внимание службы БЕЗО. Зачем же вам это нужно?

При упоминании службы БЕЗО я оглянулся на Сиромахина. Он стоял как раз позади меня.

— Уступите ему, дорогуша, — сказал мне Дзержин Гаврилович. — Лучше уступить часть и сохранить целое, чем потерять все.

Считая спор оконченным, таможенник отодвинул пленки в сторону и продолжил свою работу. Мне пришлось тут же узнать, что я могу сколько угодно пользоваться своим магнитофоном, но не кассетами и не батарейками. Батарейки были вынуты и из моего портативного приемника фирмы "Грюндиг". Насчет имевшихся у меня блокнотов и шариковых ручек таможенник совещался с кем-то по телефону, и мне эти предметы были великодушно оставлены.

После этого дошло до моих книг. Они были у меня уложены на самом дне чемодана. Таможенник поинтересовался, что это, и я не без гордости сказал, что это мои собственные книги.

— Ваши собственные? — переспросил он.

— Ну да, — сказал я. — Мои собственные. А что вас удивляет?

— Видите ли, — стал помогать мне Коммуни Иванovich, — Классик Никитич, в нашем обществе нет частной собственности. У нас все принадлежит всем. И эти книги тоже не могут считаться вашими собственными.

Я был ужасно измучен. У меня болела голова. От усталости, от жары, от того, что я не выспался и целую вечность не похмелялся. И от всех впечатлений этого дня.

— Вы понимаете, — сказал я Смерчеву, — что бы вы ни говорили, эти книги — мои собственные. Не только потому, что они принадлежат мне как вещи. Но и потому что я их сам собственной своей вот этой рукой написал. — Для убедительности я даже потряс рукой у самого смерчевского носа. — Надеюсь, вы согласны, что эта рука моя собственная и принадлежит мне, а не всем.

— А вы, оказывается, собственник! — кокетливо заметила Пропаганда Парамоновна.

— Да и вообще, — сказал Смерчев, — вы должны понять, дорогой наш Классик, что за тот исторический промежуток, который отделяет наше время от вашего, наша литература настолько выросла, что по сравнению с ней все писания ваши и ваших современников выглядят просто жалкими и беспомощными.

— Да, да, да, да, — сказал Звездоний, и все они грустно закивали головами.

— Ну все-таки не все, — опять защитил меня Сиромахин. — У него есть одна замечательная книга, которая по своему уровню приближается даже, я бы сказал, к ранним образцам комреализма. К сожалению, — повернулся он ко мне, — вы ее с собой почему-то не привезли. Но мы ее найдем...

— И поправим, — подсказал Смерчев.

— Ну да, немножко поправим и, может быть, даже переиздадим.

О какой книге шла речь, я не понял. Но спрашивать мне уже ничего не

хотелось. И бороться не хотелось. Поэтому, когда у меня изымали планы Москвы, майки с надписью "Мюнхен" и жвачки, я даже не стал спрашивать почему, мне все надоело до чертиков.

И когда мне дали расписаться под списком изъятых вещей, я подмахнул его, не глядя.

Баня

Но это было не последнее мое испытание.

После таможенного досмотра мы двинулись дальше и вскоре приблизились к двери с вывеской: ПУНКТ САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКИ.

Смерчев извинился и сказал, что санитарная обработка совершенно мне необходима, поскольку в Москорепе принимаются самые строгие меры против завоза из колец враждебности эпидемических заболеваний.

Комписы остались за дверью, а я вошел в помещение, которое оказалось предбанником с длинными деревянными скамейками.

Я стал раздеваться. Как ни странно, несмотря на невыносимую жару снаружи, здесь было просто холодно, мое тело сразу стало синеть и покрываться гусиной кожей.

Женщина в белом халате скучала за деревянной перегородкой.

Я подошел к ней, сдал белье и получил шайку. Шайка была мокрая, скользкая и без ручки.

Я проследовал дальше и вскоре оказался перед дверью с вывеской: ЗАЛ ПОВЕРХНОСТНОГО ПОМЫВА.

Сбоку от вывески был помещен документ, который назывался "ПРОЧТИ И ЗАПОМНИ". Это были правила поведения для моющихся. Они были составлены в возвышенных выражениях и сопровождаемы эпитафией из Гениалиссимуса: "В человеке все должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и тело".

Правила начинались с сообщения об огромной и неустанной заботе, которую Гениалиссимус и руководимая им партия изо дня в день проявляют по отношению к гражданам коммунистической республики. Благодаря этой заботе, практически каждый комунянин получил возможность полностью и регулярно удовлетворять свои потребности в поверхностном мытье.

Однако, как постоянно учит Гениалиссимус, бережливость должна войти в привычку, должна стать второй, а то и первой натурой каждого комунянина. Приступая к мытью, следует избегать расточительности и расходовать воду лишь в пределах естественной потребности, которую вычислить совсем нетрудно. Для этого надо умножить свой вес в килограммах на рост в сантиметрах и полученное произведение разделить на коэффициент 2145. В результате получим соответствующее реальным потребностям индивидуума количество шайкообъемов воды горяче-холодной. Я несколько обеспокоился, что прежде, чем приступить к поверхностному мытью, мне придется произвести непосильные для меня математические вычисления, но приведенная тут же таблица меня успокоила, там было все подсчитано заранее. При моем росте 165 сантиметров и весе 78 килограммов моя потребность удовлетворялась ровно шестью шайкообъемами.

Правила также указывали, что потребителям пунктов помыва запрещено: 1. Мыться в верхней одежде; 2. Играть на музыкальных инструментах; 3. Отправлять естественные надобности; 4. Портить коммунистическое имущество; 5. Разрешать возникающие конфликты с помощью шаек и других орудий помыва.

Изнутри зал поверхностного помыва ничего особенно интересного собою не представлял. Баня как баня. Длинные каменные лавки, краны вдоль стен, пар, гул голосов. Мужчины и женщины мылись вместе, но меня это удивляло только потому, что происходило в Москве. Вообще же такое свободное смешение полов мне приходилось видеть и за шестьдесят лет до этого еще в третьем кольце враждебности.

Везде на стенах и на колоннах были несмывающиеся надписи такого примерно рода: ВОДА — ИСТОЧНИК ЖИЗНИ, ВОДА — НАРОДНОЕ ДОСТОЯНИЕ, КТО РАСТОЧАЕТ ВОДУ, ТОТ ВРАГ НАРОДА, ОДНИМ ШАЙКОБЪЕМОМ МОЖНО НАПОИТЬ ЛОШАДЬ.

Приблизившись к стенке с кранами, я увидел плакат, с которого кто-то, похожий на красноармейца времен Гражданской войны, наставил на меня палец со словами: "Ты израсходовал лишнюю шайку!"

— Не я, — сказал я. — Я вообще еще ни одной шайки не брал.

Конечно, красноармеец был всего-навсего нарисован, но выглядел так натурально, что под его взглядом я невольно ежился.

Потребность свою я удовлетворил лишь на треть, то есть из положенных мне шести шаек использовал только две. Я подумал, что за такую экономию мне, может быть, даже полагается какой-нибудь орден. Впрочем, ордена я требовать не стал и пошел к выходу.

На выходе мне вернули мою одежду. Она была горячая после прожарки. Пуговицы пиджака расплавились. Но молния на брюках осталась цела, она у меня металлическая.

В просторном и светлом зале Дзержин Гаврилович Сиромахин поздравил меня с легким паром. Он был один, остальные, сказал он мне, уехали.

— Ну, а теперь, дорогуша, едем отдыхать...

Пробуждение

Проснувшись и придя немного в себя, я огляделся. Вокруг меня было темно и тихо, тихо и темно. Темно, хоть глаз выколи.

Я подошел к окну, отдернул штору и увидел перед собой площадь Революции и памятник Карлу Марксу. Правда, узнать Маркса было довольно трудно. За шестьдесят лет моего отсутствия голуби его голову так обработали, что она казалась совсем седой.

Прямо через дорогу от Маркса, в скверике у Большого театра, стоял во весь рост другой бородач в военной форме и с перчатками в руках. Это был, конечно, Гениалиссимус.

Солнце стояло уже высоко. По проспекту Маркса, окутанные клубами дыма и пара катили разных размеров машины, а по тротуарам плыла толпа людей в укороченных военных одеждах. Мало кто из них шел с пустыми ру-

ками. Почти все они несли в руках или на плечах или волокли по земле какие-то предметы.

Кажется, я неплохо выспался и отдохнул. Теперь можно было выйти, прогуляться и посмотреть, что же собой представляет этот город через шестьдесят лет после моего отъезда.

Я быстро оделся, заскочил в ванную. К горячему крану была привязана табличка: "Потребности в горячей воде временно не удовлетворяются". Я ополоснулся холодной водой и выглянул в коридор. Пожилая дежурная спала, положив голову на тумбочку. На полу валялась уроненная ею книга. Я поднял книгу и посмотрел название. Книга называлась: "Вопросы любви и пола". Автором этого сочинения был сам Гениалиссимус. Я осторожно положил книгу на тумбочку и, стараясь ступать как можно мягче, пошел к лифту.

Лифт однако был закрыт на большой висячий замок. Рядом с замком к сетке лифта была привязана шпагатом картонная табличка: "Спуско-подъемные потребности временно не удовлетворяются".

Я нашел лестницу и с ее помощью удовлетворил свою спускную потребность. Очевидно, лестница была неглавная, потому что я попал не на улицу, а во двор.

Длинноштанный

Я предвкушал глоток свежего воздуха, но в нос мне шибанул запах, от которого я чуть не свалился с ног. Не буду описывать подробно, но пахло, как в давно нечищенном, но часто употребляемом нужнике.

Во дворе змеей вилась длинная очередь к земно-зеленому киоску, и военные обоего пола, в основном нижние чины, дышали друг другу в затылки, держа в руках пластмассовые бидончики, старые кастрюли и ночные горшки.

Над крышей киоска был водружен плакат в грубо сколоченной раме. Плакат изображал рабочего с лицом, выразившим уверенный оптимизм. В мускулистой руке рабочий держал огромный горшок. Текст под плакатом гласил:

ТОТ, КТО СДАЕТ ПРОДУКТ ВТОРИЧНЫЙ, ТОТ И СНАБЖАЕТСЯ ОТЛИЧНО.

— Что дают? — спросил я у коротконогой тетеньки, только что отошедшей с бидончиком от киоска. В ушах у нее висели большие пластмассовые кольца.

— Не дают, а сдают, — сказала она, оглядев меня с ног до головы слишком подробно.

— А что сдают? — спросил я.

— Как это чего сдают? — удивилась она моему непониманию. — Говно сдают, чего же еще?

— А для чего это сдают? — спросил я неосмотрительно.

— Как это для чего сдают? — закричала она дурным голосом. — Ты что, дядя, тронулся, что ли? Не знает, для чего сдают? А еще штаны надел длинные. Надо ж распуство какое! А еще про молодежь говорят, что они, мол, такие-сякие. Какими ж им быть, когда старшие им такой пример подають!

— Точно! — приблизился сутуловатый мужчина лет примерно пятидесяти. — Я тоже смотрю, он вроде как-то одет не по-нашему.

Тут еще освободившийся народ подвалил, а некоторые и с хвоста очереди тоже приблизились. Все выражали недовольство моим любопытством и длинными штанами и даже склонялись к тому, чтобы по шее наkostenять. Но тетка выразила мнение, что хотя по шее наkostenять и стоит, но все же лучше свести меня просто в БЕЗО.

— Да что вы, граждане! — закричал я громко. — Причем тут БЕЗО и зачем БЕЗО? Ну не понимаю я в вашей жизни чего-то, так я же в этом не виноват. Я только что приехал и вообще вроде как иностранец.

Из толпы кто-то выкрикнул, что если иностранец, тем более надо в БЕЗО, но другими призыв поддержан не был, и толпа вокруг меня при слове "иностранец" стала рассасываться.

Только тетка с кольцами успокоиться не могла и пыталась вернуть народ, уверяя, что я вовсе не иностранец.

— Я по-иностранному понимаю! — обращалась она к примолкшей очереди. — Иностранцы говорят "битте-дритте", а он точно по-нашему говорит.

Пока очередь обдумывала ее слова, я, не дожидаясь худшего, бочком-бочком оторвался и через проходной двор выкатился на улицу, которая когда-то называлась Никольской, и по ней вышел к площади Свердлова, которая теперь называлась площадью имени Четырех Подвигов Гениалиссимуса. Пластмассовое изваяние свершителя четырех подвигов возвышалось посреди площади. Это был памятник высотой метра, примерно, в три с половиной, не считая постамента. Гениалиссимус стоял в хорошо начищенных сапогах и шинели, распахнутой скульптором, вероятно, для того, чтобы открыть зрителю многочисленные ордена, которыми была украшена широкая грудь монумента. Как бы похлопывая по правому голенищу перчатками, Гениалиссимус с доброй улыбкой смотрел на проспект, на движение паровиков и на застывшего на другой стороне Карла Маркса. Я обошел статую вокруг, попробовал сосчитать ордена на ее груди, досчитал до ста сорока с чем-то, а потом сбился, махнул рукой и пошел по улице, которая в мои времена называлась Пушкинской, а теперь — имени Предварительных Замыслов Гениалиссимуса.

Я уже заметил, что наряду с проспектами, улицами, переулками и проездами, сохранившими свои прежние названия, появилось много названий отражавших новейшие достижения комунян и очень много, посвященных тем или иным сторонам деятельности Гениалиссимуса. Поэтому я даже не очень удивился, обнаружив, что бывшая Пушкинская площадь теперь называется площадью имени Литературных Дарований Гениалиссимуса. И памятник на площади стоял, естественно, не Пушкину, а Гениалиссимусу. Здешний пластмассовый Гениалиссимус был, я думаю, такого же калибра, что и тот, что перед Большим театром, но в легкой форме и без перчаток. В левой руке он держал пластмассовую книгу, на которой можно было прочесть слово: "Избранное". Правая рука автора книги покоилась на курчавой голове юноши Пушкина, который был совершенно лилипутского роста, но другие лилипуты, составлявшие групповой портрет, были еще меньше. Среди этих представителей предварительной литературы несколько выделялись Гоголь, Лермонтов, Грибоедов, Толстой, Достоевский и

всякие другие из более поздних времен. Себя в этой группе я тоже нашел. Я стоял сзади Гениалиссимуса, держась одной рукой за его левое голенище. Не найдя среди лилипутов Карнавалова, я еще раз убедился, что в двадцать первом веке его никто уже даже не знает. Впрочем, одного бородача размером не больше полевой мыши я в группе предварительных писателей моего времени обнаружил, но это был явно не Карнавалов, а скорее всего профессор Синявский.

Обойдя памятник, я вновь оказался перед носками Гениалиссимуса и на пьедестале прочел давно знакомые мне слова: "Я лиру посвятил народу своему".

Свинина вегетарианская

Тут я почувствовал, что проголодался и стал смотреть вокруг себя, где бы можно было подзакусить.

Высоко, под крышей дома я увидел изображение уже знакомого мне рабочего, который в одной мускулистой руке держал ложку, а в другой вилку. На вилке даже было что-то насажено, но что именно я не разобрал. Рабочий приветливо улыбался, а слова под ним были такие:

ТОТ, КТО СДАЕТ ПРОДУКТ ВТОРИЧНЫЙ,
ТОТ И ПИТАЕТСЯ ОТЛИЧНО

Вывеска у входа была: ПРЕКОМПИТ "ЛАКОМКА". Немного подумав, я догадался (и потом оказалось, был прав), что слово Прекомпит означает Предприятие Коммунистического Питания.

Очередь была недлинная, человек шестьдесят, не больше.

Пожилой сержант в дырявой гимнастерке и с красной повязкой на рукаве стоял у входа и дырявил компостером протягиваемые ему бумажки серого цвета.

Стоя в очереди, я прочел вывешенное на стене объявление, в котором было сказано, что общие питательные потребности удовлетворяются только по предъявлении справки о сдаче вторпродукта.

Тут же были помещены и "Правила поведения в Предприятиях коммунистического питания". В них было сказано, что благодаря неустанной заботе партии КПГБ и лично Гениалиссимуса о регулярном и качественном питании комунян, в этом деле достигнуто много знаменательных успехов. Пища становится все лучше, качественнее и диетичнее. В результате научной разработки рационального питания комунян достигнуты большие успехи по борьбе с тучностью.

Ниже говорилось, что в Прекомпите запрещено:

1. Поглощать пищу в верхней одежде;
2. Играть на музыкальных инструментах;
3. Становиться ногами на столы и стулья;
4. Вываливать на столы, стулья и на пол недоеденную пищу;
5. Ковырять вилкой в зубах;
6. Обливать жидкой пищей соседей;
7. Разрешать возникающие конфликты с помощью остатков пищи, кастрюль, тарелок, ложек, вилок и другого государственного имущества.

Справедливости ради надо сказать, что очередь двигалась довольно быстро. Люди один за другим совали сержанту с повязкой свои бумажки, он делал дырку, люди входили внутрь.

Когда моя очередь приблизилась, я пошарил в кармане, но не нашел в нем ничего, кроме случайно завалявшегося обрывка газеты "Зюддойче цайтунг" шестидесятилетней давности. Я сложил этот обрывок вдвое и сунул сержанту, который, не глядя, его продырявил.

Довольный тем, что мои социалистическо-капиталистические уловки все еще успешно действуют, я вошел внутрь.

Мне показалось, что первичный продукт пахнет примерно так же, как и вторичный.

На противоположной от входа стене висел большой портрет Гениалиссимуса и его изречение: "Мы живем не для того, чтобы есть, а едим для того, чтобы жить".

Я встал в очередь к прилавку и, двигаясь вместе со всеми, достиг вскоре вывешенного на стенке меню, которое прочел с большим любопытством. Оно состояло из четырех блюд, перечисленных в таком порядке:

1. Щи питательные "Лебедушка" на рисовом бульоне;
2. Свинина вегетарианская витаминизированная "Прогресс" с гарниром из тушеной капусты;
3. Кисель овсяный заварной "Гвардейский";
4. Вода натуральная "Свежесть".

Две молодые комсорки в не очень чистых халатах обслуживали клиентов быстро, без задержки. Мне, как и другим, был выдан пластмассовый поднос с набором всех перечисленных блюд. Две тарелки, две чашки и ложка (все это тоже пластмассовое) были прикованы к подносу стальными цепочками. Еще две цепочки (может быть для вилок и ножей) были оборваны.

Я нашел столик, за которым одна только дама медленно поглощала овсяный кисель. Я попросил разрешения стать рядом и, когда она что-то невнятно пробормотала, узнал в ней ту самую тетку, которая понимала по-иностранному. Судя по ее неприязненному взгляду, она меня, кажется, тоже узнала.

Отведав щей, я сразу догадался, что их гордое имя произведено не от длинношейей птицы, а от лебеды, которую в период расцвета колхозной системы мне приходилось вкушать и раньше. В состоянии сильного голода пару ложек я кое-как осилил, а вот вегетарианская свинина "Прогресс", изготовленная из чего-то вроде прессованной брюквы, откровенно говоря, не пошла. То есть сначала немного пошла, но потом тут же стала рваться обратно, так что я еле-еле донес ее до кабесота и там мой капризный организм безжалостно исторг ее из себя.

Дворец любви

Выйдя из кабесота, я нос к носу столкнулся с теткой, которая понимала по-иностранному. Похоже, что она дожидалась меня здесь специально. Потому что как только меня увидела, так закричала на весь зал визгливо и недружелюбно:

— Что, не нравится наша пища?

Я, ничего не ответив, вышел на улицу. Она выкатилась следом. Я пошел вниз по бывшей улице Горького, которая теперь называлась проспектом имени Первого Тома Собрания Сочинений Гениалиссимуса.

Тетка увязалась за мной.

— Ишь ты какой! — бормотала она, плетясь сзади. — Штаны длинные носит, говно сдавать не хочет, пищей нашей брезгует.

— Слушай, тетенька, — сказал я, к ней повернувшись, — оставь меня ради Бога. И без тебя тошно.

Кажется, ей только этого было и надо.

— Ого-го-го! — закричала она, пытаюсь привлечь внимание прохожих. — Штаны длинные носит, говно сдавать не хочет, пищей брезгует, да еще бога какого-то поминает! Тошно ему! От свинины от нашей тошно!

— А иди-ка ты в ж..! — сказал я не выдержав и перешел на другую сторону.

Прошу меня простить за столь грубое выражение. В прежней жизни я никогда ничего подобного дамам не говорил. Но эта гримза меня просто вывела из себя.

Я шел вниз по проспекту Первого тома в несколько расстроенных чувствах. Как-то мне в этом коммунистическом царстве было неуютно.

Но тут мое внимание переключилось на здание, в котором раньше был ресторан "Арагви". Теперь никакого "Арагви" там, разумеется не было, но на фронтоне здания под самой крышей аршинными буквами было написано:

ДВОРЕЦ ЛЮБВИ

Откровенно говоря, я не сразу понял, что это значит. Но приблизившись к зданию, увидел справа от массивных дверей вывеску, на которой прочел буквально следующее:

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА ПУБЛИЧНЫЙ ДОМ имени Н. К. КРУПСКОЙ

— Ого! — сказал я себе самому. — Вот это, я понимаю, коммунизм!

Настроение мое заметно улучшилось.

Я думал, что это заведение работает только по вечерам, но тут же прочел, что сексуальное обслуживание населения производится с 8.30 до 17.30, перерыв на обед с 13 до 14 часов.

Я посмотрел на часы. Было точно 9 часов сорок две минуты утра. Время для таких дел не самое подходящее, но, впрочем, почему бы и нет?

На уровне второго этажа висел плакат, изображавший рабочего с поднятым вверх кулаком. Надпись под плакатом была мне почти знакома:

ТОТ, КТО СДАЕТ ПРОДУКТ ВТОРИЧНЫЙ, ТОТ И СЕКСУЕТСЯ ОТЛИЧНО

Ниже были вывешены и правила поведения. В них было сказано, что сексуальное обслуживание посетителей производится как по коллективным заявкам предприятий, учреждений и общественных организаций, так и в индивидуальном порядке, только по предъявлении справки о сдаче вторичного продукта, а также что в ГЭОЛПДИК запрещено:

1. Приводить с собой и обслуживать партнеров со стороны;
2. Обслуживаться в верхней одежде;

3. Обслуживаться в коридорах, на лестницах, под лестницами, в кабелоте и других местах, кроме специально отведенных;

4. Пользоваться самодельными противозачаточными средствами, а также орудиями садизма и мазохизма;

5. Играть на музыкальных инструментах;

6. Портить коммунистическое имущество;

7. Разрешать возникающие конфликты с помощью сексооборудования. Здесь, так же, как и в прекомпите, стоял дядя с повязкой на рукаве и с компостером. Я сунул ему тот же клочок газеты, но с другой стороны и он, как и прекомпитский страж, проткнул газету не глядя.

Внутри это было что-то вроде поликлиники. Широкий коридор с линолеумным полом и стенами, покрытыми темно-синей масляной краской. С каждой стороны на равном расстоянии располагались бежевые двери кабинетов, а слева от входа, сразу за выщербленной лестницей, была деревянная загородка и стеклянное окошечко с надписью: РЕГИСТРАТУРА, где сидела пожилая тетя в очках с оправой, вырезанной из картона. Она что-то вязала. Мне было немного неловко, но преодолев смущение, я обратился к ней и сказал, что хотелось бы как-нибудь обслужиться.

Ничего не говоря, она мне сунула какой-то клочок бумаги. Это была, конечно, анкета, впрочем, довольно скромная. Отвечая на вопросы, я указал свои фамилию, звездное имя и отчество. Чтобы не привлекать внимания, возраст свой я убавил ровно на шестьдесят лет. В графе "венерические болезни" я написал, естественно, "нет".

Я вернул тете анкету. Она насадила ее на длинный ржавый штырь с заостренным концом, отложила свое вязание, вышла из-за загородки и без слов пошла по коридору, гремя связкой ключей.

Она открыла мне дверь № 6, пропустила внутрь и ушла, так ничего и не сказав.

Я прикрыл за собой дверь и огляделся. Это была небольшая комната с одним окном без занавесок. В углу стоял узкий топчан, покрытый клеенкой, а рядом пластмассовое ведро. Никаких подушек или одеял видно не было. Над изголовьем в рамке висел портрет Гениалиссимуса со слегка распахнутой волосатой грудью, а под портретом изречение Гениалиссимуса:

ЛЮБОВЬ — ЭТО БУРНОЕ МОРЕ!

Кроме портрета Гениалиссимуса на всех стенах были развешаны разные плакаты. А у двери в деревянной рамке был помещен какой-то текст. Это были коммунистические обязательства коллектива тружениц ГЭОЛПДИКа.

Было сказано, что, встав на трудовую вахту в честь 67 съезда КПГБ, коллектив берет на себя следующие обязательства:

1. Повысить трудовую дисциплину и культуру удовлетворения возросших потребностей клиентов;

2. Увеличить ежесуточную пропускаемость каждого койко-места не менее, чем на 13 процентов;

3. Увеличить сбор генетического материала на 6 процентов;

4. Работать на сэкономленных материалах;

5. Проработать и законспектировать книгу Гениалиссимуса "Сексуальная революция и коммунизм". Сдать по ней экзамены с оценкой не ниже, чем на 4;

6. Регулярно выпускать стенную газету;

7. Всем девушкам сдать нормы на значок "Готов к труду и обороне Москорепа";

8. Проявлять высокую бдительность и своевременно информировать органы БЕЗО о подозрительных клиентах.

Рассмотрев все плакаты, я присел на краешек топчана и стал ждать. Никто не шел.

Я уже хотел пойти узнать, в чем дело, как дверь отворилась и в комнату заглянула регистраторша.

— Вы уже закончили? — спросила она, глядя на меня поверх очков.

— Что закончил? — спросил я.

— Что значит что? — сказала она строго. — То, для чего вы сюда пришли.

— Мамаша, вы что, смеетесь? — схватил я ее за локоть. — Как я мог закончить, если ко мне никто не пришел?

По-моему, она опять ничего не поняла. Она долго и внимательно смотрела на меня, словно на какого-то психа, а потом сказала:

— Комсор клиент, вы что, с Луны свалились? Вы разве не знаете, что у нас для клиентов с общими потребностями самообслуживание?

— Вот он! Вот он! — услышал я дикий вопль и увидел ворвавшуюся в заведение тетку, которая понимала по-иностранному.

За спиной ее маячили два милиционера.

Внубез

— Вот он! Вот он! — кричала тетка. — Шапиен! Как есть, чистый шапиен. Штаны длинные носит, говно не сдает, пищей брезгует, а по-нашему говорит, как мы.

— Ладно, ладно, любезная, — сказал милиционер, который был поздравнее и скошенным лбом смахивал на питекантропа. — Сами как-нибудь разберемся. У вас потребкарта есть? — спросил он, обратившись ко мне.

— Есть, — сказал я и вытащил уже проколотый с двух сторон обрывок "Зюддойче цайтунг".

Надеяться, что здесь этот номер пройдет еще раз, было, конечно, наивно и глупо, но я часто поступаю по наитию, и оно меня обычно не обманывает.

На этот раз обмануло.

Питекантроп взял обрывок, повертел в руках, приблизил к глазам, отдалил и, изобразив на лице своем крайнее недоумение, протянул бумагу своему товарищу, который тоже был здоров, но все-таки пощуплее. Тот посмотрел бумажку и даже для чего-то подул на нее.

— Это по-каковски же здесь начикано? — спросил он вежливо.

Изобразив на своем лице удивление, я сказал, что по-моему и дураку ясно, что здесь начикано исключительно по-китайски.

— И вы понимаете по-китайски? — спросил он, как мне показалось, с почтением.

— Ну да, конечно, понимаю. Кто ж по-китайски не понимает?

— Придется пройтись, — сказал тот, здоровый.

— Это куда же? — поинтересовался я.

— Известно куда. Во внубез.

Догадавшись, что внубез означает внутреннюю безопасность, я подчинился.

Местное отделение внубеза находилось в другом крыле того же здания.

У дежурного за деревянной перегородкой было три звездочки на погонах. Четверо нижних чинов в дальнем углу комнаты забивали козла.

— Вот, — сказал питекантроп, — так что, комсор дежурный, китайца пымали.

— Что еще за китаец? — посмотрел удивленно дежурный.

— Обыкновенный китаец, — сказал питекантроп. — В длинных штанах ходит, говно не сдает, говорит по-нашему, а читает по-китайскому. Вот. — Он протянул дежурному кусок газеты.

Дежурный долго разглядывал этот странный клочок и стал вертеть его так и сяк, напрягаясь, шевеля губами, и даже посмотрел бумажку на свет, видимо, надеясь обнаружить в ней водяные знаки.

— А что это здесь написано тысяча девятьсот восемьдесят два? — сказал он. — Это что, старая газета?

— Ну да, — говорю, — старая, из музея.

— Ну ладно, — сказал дежурный и раскрыл толстую тетрадь, на которой было написано: "Книга регистрации нарушителей компорядка". Затем он взял деревянную ручку (последний раз я видел такую семьдесят пять лет назад в Бескудникове), обмакнул ее в стеклянную чернильницу. — Ваше фамилие?

— Карцев, — сказал я.

— Чудно, — сказал дежурный. — Фамилие китайское, а звучит вроде как наше. А вы к нам со шпионскими целями или же просто так?

Тут я, честно говоря, немного струхнул. Начнут шить шпионаж, потом не отобьешься.

— Ладно, — сказал я, — ребята. Хватит валять дурака, я не китаец, я пошутил.

— Пошутил? — переспросил дежурный и переглянулся с питекантропом. — Что значит, пошутил? Значит, вы не китаец?

— Ну конечно же, не китаец. Вы когда-нибудь видели китайцев? У них глаза узкие и черные, а у меня выпуклые и голубые.

— Ах, так ты не китаец! — взбеленился вдруг дежурный. — Если ты не китаец, то мы с тобой сейчас иначе поговорим. Тимчук! А ну-ка врежь-ка ему по-нашему, по-коммунистски!

У этого Тимчука кулак был, как пудовая гиря. Мне показалось, что я ослеп не только от удара, но и от гнева. Плююсь кровью и ничего не вижу перед собой, я ринулс я на Тимчука и, если б достал, разодрал бы ему, наверное, всю морду. Но тут в дело вступили доминошники. Все вместе они скрутили меня, завернули руки за спину и повалили меня на пол.

— Стойте! Стойте! — услышал я звонкий голос и, очнувшись, увидел Искрину Романовну, которая буквально висела на занесенном кулаке Тимчука. — Да вы знаете, кто он такой? Да ведь это же...

Она наклонилась к дежурному и сказала ему что-то на ухо.

Ситуация резко переменялась. Дежурный выскочил из-за перегородки и чуть ли не в ногах валялся, прося пощадить его и его детей. Рядом с ним трясся от страха Тимчук, который сразу же стал маленьким и плюгавым.

- Пойдемте! — потянула меня за руку Искрина Романовна.
— Сейчас, — сказал я и, вырвав у нее руку, прямо локтем заехал дежурному в рыло, отчего у него из носа кровь брызнула в разные стороны.
— Вот, — сказал я, — тебе по-социлисски. А тебе, сука, — повернулся я к Тимчуку, — по-китайски.
Я дал ему кулаком по сопатке и сам же завыл нечеловеческим голосом — морда у Тимчука была изготовлена из кирпича.

(окончание следует)

КНИГОТОВАРИЩЕСТВО "МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"

ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА

АЛЕКСАНДР ВОРОНЕЛЬ

"ПО ТУ СТОРОНУ УСПЕХА"

Новая книга известного ученого и публициста, автора "Трепета иудейских забот", посвящена возрождению еврейского национального сознания в России, встрече с политической действительностью современного Израиля, осмыслению сегодняшних еврейских проблем. Статьи разных лет, собранные в этой книге — от аутентичных самиздатских материалов до последних публикаций в израильской печати, — объединены стремлением понять скрытый смысл еврейского существования и предназначения в истории и дают читателю со вкусом к этим вопросам бесценный материал для раздумий.
300 стр. 16 долларов

Часть вторая

Чего мы от нее хотим. Мы. Старый черт, мародер проклятый, думал Привалов. Что-то я упустил, думал он. Где-то я вовремя не поставил его на место. Теперь присосется. Ну ладно, допустим, что присосался. Как присосался, так и отсосется. На худой конец помрет. Ведь старый же. И чего старому неймется? Сидел бы уж. Отгулял свое, пора и в тираж выходить. Тоже мне геронтократ нашелся.

Привалов стариков не любил. Они ему поперек горла стояли. От стариков пахло мочой и пылью. Старики были носителями старого. Тогда как на дворе было новое. Особенно неприятны были ему старики, которые свою молодость с большевиками по ветру пустили, потратили на никчемные и теперь ставшие непопулярными роли, и вот они сейчас лезут из кожи вон, пытаясь наверстать упущенное и выступить на старости лет в тех ролях, о которых только мечтали, а то и не подозревали даже, что такие роли существуют.

Однако все хорошо в свое время. Привалов совершенно правильно думал, что нельзя одной ногой принадлежать к культурному наследию, а другой ногой прибираться это наследие к рукам в виде капитала. Одно из двух, либо ты помер, либо ты жив. Копытман, как и Ненагля-

О. Кустарев

РАЗНОГЛАСИЯ

И

БОРЬБА

(повесть, окончание, начало в №47)

дов, как и Свистунов, — все они были в прошлом. У них не было исторического права научно управлять этим прошлым. Что бы мы сказали, если бы мумия начала навязываться в соавторы к археологу, который ее откопал? Сказали бы, что это бред.

Копытман и Ненаглядов этого не понимали. Свистунов понимал, потому что был мертвый. Смерть очень помогает разобраться в происходящем и выбрать правильную линию поведения. Хороший предок — мертвый предок. Предок не должен быть конкурентом в жестокой, но справедливой борьбе за кусок хлеба. Предок должен быть сам куском хлеба.

И то сказать — что они нам оставили, кроме самих себя? Денег они нам не оставили, потому что сами, гады, без денег сидели, с хлеба на воду перебивались. Ни фабрик, ни заводов, ни паровозов, ни пароходов. Где накопления, я вас спрашиваю, где ресурсы? Как жизнь вести, если в кармане шансы играют романы? Привалов был против геронтократии.

Тем более неприятной оказалась для него предстоящая работа — найти хорошую дверцу к старухе-графине.

Большинству старухиных конфидентов перевалило за шестьдесят, были среди них и на восьмом десятке, в том числе одна, которой только что стукнуло 90, пренеприятная особа, лысая, как Котовский и худая, как Фернандель, в чем только душа держалась, но у ней был собственный салон, куда, говорят, сам Андронников на поклон ездил. Привалову не составляло большого труда попасть в этот салон, как, впрочем, и во все остальные, но он не особенно стремился бегать по салонам, так как задачи у него были исключительно практические и надо было быстро дело делать, а не ласы про литературу точить и песни слушать.

Без песен там никак нельзя. Время было такое — все пели. Даже оперные певцы и те по гостиным петь навострились.

После беглого ознакомления с территорией маневров Привалов отсеял пять человек, которыми имело смысл заняться более капитально. Один из них был молодой искусствовед, лет пятидесяти, специализировавшийся на французских импрессионистах. Вообще-то он писал диссертацию по Шишкину, но в конце пятидесятых годов ловко переключился на отрасль, оказавшуюся впоследствии золотым дном. Импрессионизм к тому времени устарел уже ровно настолько, что его можно было подключить к основному фонду классического наследия. Драка за этот сектор рынка была страшная. Парень, о котором теперь речь, вырвался в число первых

благодаря тому, что знал французский язык: в те поры это было большое преимущество, так как позволяло тащить из французских источников прямо-таки тазами и возами. И главное, не то было хорошо, что он французский знал, а то, что вокруг никто не знал, кроме разве Эренбурга и старой кобылы Кончаловской, да еще, кажется, этого петрушки Образцова, но у тех у всех была собственная кормушка. Да, что ни говори, а периоды грюндерства, размышлял Привалов, во всех отношениях хороши. Любая мелочь может оказаться решающей. Теперь-то все "Юманите" читают, плюнуть некуда, а в те времена на одном миль пардоне можно было набрать неплохие очки.

Вторым номером в списке у Привалова числился неофициальный поэт не очень определенного возраста, позировавший под Цветаеву-Ахматову, на основании чего гаишники распустили слух, что он педераст, надеясь таким образом подпортить ему анкету, но попали, как всегда, пальцем в небо, потому что педерасты как раз начали входить в моду и поэт на этом только выиграл, во всяком случае его даже пригласили в гости к одному ленинградскому балетмейстеру, который до этого его и на выстрел не подпускал, хотя поэт почему-то особенно к нему рвался, черт его знает, что ему там было надо, может, он и вправду был педераст, теперь народ так себя ведет, что и в упор не различишь, а, впрочем, какая в самом деле разница, педераст не педераст, лишь бы свой человек был. Так в сущности все и думали, и Привалов тоже. Гаишники же в этих тонкостях не разбираются, вот и дали маху, сами они, недоноски, педерасты, вот они кто и никто больше.

Третий, на кого Привалов положил глаз, был православный активист, тоже, доложу вам, хорошая штучка, пришел откуда-то из Сибири, говорят, умел лечить мигрени поглаживаниями, но с другой стороны ходил слух, что он гаишник. Правда, считалось, что этот слух про него опять гаишники раструбили. Во всяком случае, так утверждал один таксист-живописец, про которого уж точно было известно, что он гаишник, он некоторым сам по пьянке признавался, так что знал, наверное, что говорит. Особую пикантность сибирскому пророку придавало то, что фамилия у него, как нарочно, была Беспутин, ей богу, захочешь придумать — такого не придумаешь. Что там жидовская графиня Кувалдина нашла в этом буйволе, еще не было точно известно, не иначе, как страдала мигренями, хотя Привалов подозревал на этот счет кое-что иное, в частности, ему казалось, что старуха тут вовсе ни при чем, и

ветерок тут, скорее, через другую форточку тянет. Это еще предстояло выяснить.

Четвертый деятель был всем другим не чета и не компания. Это был академик, хотя еще и не полный, но страшно влиятельный. Это был большой специалист, смешно сказать, по исламу, известный во всей загранице. Ему бы тихо сидеть да свой коран почитать, но он свихнулся на подпольных поэтах и заискивал перед ними, как его же собственные аспиранты перед ним не заискивали. Привалов этого не одобрял. Ходили слухи, что академик-исламист начинал стукачом в Ташкенте, специализировался на муллах, а потом уже в Москве приложил руку к искоренению всех переводчиков с фарси, один из которых, как оказалось впоследствии, был гениальным поэтом-абсурдистом, и теперь академик замаливал грехи молодости, подкармливал битников и коллекционировал самиздат, а последнее время стал еще и скупать письма погибших в лагере литераторов, причем только погибших, просто отсидевших какой-нибудь вшивый срок он не брал — одних погибших.

Когда Привалову об этом рассказали, он только криво усмехнулся. Грехи, вишь, старый козел замаливает. Чует свинья, где требуха зарыта, вот и весь секрет. Знаем мы этих негоциантов. А вообще-то, когда выяснилось, что почетный член финляндской и монгольской ассоциаций по изучению Ислама зачастил к старухе Кувалдиной-Гвоздецкой только всего пол-года, Привалов почуял недоброе и быстро смекнул, что его нынешний друг-приятель Копытман не один разнюхал про сокровища старой графини и что придется ему потягаться, как видно, со стервятником высокого полета.

Пятый был известный клоун-комик, слышший в хорошем обществе за большого поклонника Шекспира и Шопенгауэра, тоже до некоторой степени коллекционер, хотя в основном по части женского пола. Этот у старухи появился давно, как говорили злые языки, чисто в связи со своим невинным хобби, и на старости лет таскался к ней уже по инерции.

Привалов отсеял их по-одиночке, а когда процедура отбора закончилась, и он мысленно разложил перед собой эти пять карт, то он обнаружил, что все они были, так сказать, короли, четыре короля и поклонник Шопенгауэра в качестве джокера. Покер на руках, подумал Привалов, хорошее предзнаменование. Одни мальчишки — тоже, должно быть, предзнаменование, неясно только какое, но совершенно точно фрейдического свойства.

Эти два наблюдения заставили Привалова задуматься и проанализировать комбинацию заново. Он отметил своих королей абсолютно по наитию. Предстояло теперь объяснить самому себе, в чем они могли быть полезны.

Импрессионист, по расчетам Привалова, мог стать союзником. Оперирова в сфере зарубежного искусства, он не был Привалову прямым конкурентом. Знакомство с Приваловым было бы для него выгодно, так как через это знакомство он превращался в поклонника полуофициальной литературы, отчего его светский облик приобретал необходимую разносторонность. Обоюдная выгода была налицо. Нет более прочной дружбы, чем дружба, основанная на взаимном укреплении репутации.

Педераст очень годился в качестве шпиона и сплетника. Привалову нужен был хороший информатор. Привалов не собирался дневать и ночевать у графини.

Поп по причине сексуального магнетизма мог быть использован как инструмент влияния. Идеология идеологией, но бывает кое-что и повыше. Когда говорит либидо, сам Пушкин молчит.

Академика надлежало использовать в качестве рекомендатора. В дома графинь следует проникать через академиков, а не горничных и приживалок. Впрочем, и выбора у Привалова не было. При этой графине ничего такого не водилось, так что академик был вне конкуренции на роль Троянского коня, тем более, что и фамилия у него была лошадиная.

Клоун вроде бы оказывался не при деле, но если сплетни насчет его бывших шашней с графиней имели какие-то основания, то и его можно было использовать как орудие влияния. Семейный шут неплохое подспорье. Тем более, что поп мог и не клюнуть. Сексуальные магнетисты народ привередливый, эгоистичный и подозрительный. Бабники в этом смысле лучше, особенно старые. Поп был, конечно, сильнее, но доверия не внушал. С попами да с клопами держи ухо остро — вспомнил Привалов чью-то глупую инструкцию.

Продумав все таким чертом, Привалов на некоторое время успокоился. Если действовать умно и хладнокровно, то вполне можно свои позиции отстоять. Вряд ли Кувалдины ждут, что я постараюсь наложить на них руку. Вряд ли они этого ждут. Собранный Приваловым информация вроде бы показывала на то, что опора семьи Кувалдин по горло занят своими аспирантами, конференциями и консультированием ЦК и хотя как нормальный

интеллигент безусловно заинтересован в литературной репутации, тратить силы на это не будет.

Что же касается женского подразделения кувалдинского гарнизона, то оно, судя по всему, было достаточно легкомысленно и хотя жадно до успеха, но, видимо, не понимало, что успех успеху рознь и что один успех хорошо капитализируется, а другой лишь приносит моральное удовлетворение наподобие вкусной жратвы и не может, точно так же как и, пардон, однажды съеденная жратва, накапливаться. Короче говоря, дамы любили поклонников и собеседников за ча-ча-чашечкой крепкого кофе или там за рю-рю-рюмочкой крепкого коньячка. Знаем мы эту публику. Да мы таких до Москвы раком-бараком ставили, хихикнул не без скрытой иронии Привалов. Привалов любил иронию. Да и сатиру тоже. Ну, и гротеск.

Звонок к академику с лошадиной фамилией оказался на редкость удачным. Бодрым голосом Привалов представился в качестве родственника, наследника и комментатора Свистунова и выразил сожаление, что по молодости лет все еще не познакомился со столь авторитетным просвещенным любителем, но ведь рано или поздно это должно было произойти, не правда ли? круг наш, к сожалению, довольно тесен, вы ведь, конечно, знаете профессора Тарараева и Фелицию Фелициановну Трататаеву, племянницу покойного Мумумуева, только вчера я у нее был, и она как раз вспоминала, что именно у вас сохранилась уникальная копия никому неизвестного перевода Ключева с провансальского, и кажется, письмо Райнера Марии Рильке Феликсу Эдмундовичу Пешехонову, влиятельному толстовцу, работавшему до 1938-го в обществе защиты животных. Это правда? Так я как раз теперь готовлю статью о связях русских модернистов с ЧК, нельзя ли мне взглянуть на эти документы. Есть основания подозревать...

Лошадиная фамилия, конечно, заржала от удовольствия. День и час приваловского визита были назначены тут же без церемоний, и сам визит прошел гладко как по маслу, причем обе стороны нашли общие интересы и, разумеется, еще больше — общих знакомых, пол-Москвы плюс хороший кусок Ленинграда, то бишь Петербурга, ах ты господи боже мой. Годились также Ташкент и Пярну.

Конечно, я познакомлю вас с Гвоздецкой, сказала в заключение лошадиная фамилия, какие могут быть разговоры, мы все принадлежим к узкому кругу, я как раз собираюсь к ней в следующий

четверг, она всегда по четвергам принимает, там вы увидите интереснейших людей, между прочим, много молодежи. А с ее внучкой вы знакомы, любезнейший?

С внучкой? С какой внучкой? Ах да, у нее есть внучка, я слышал. Кажется, она совсем еще девочка?

Лошадиная фамилия скривилась и исполнила рукой в воздухе некоторый ту-степ. Ну что значит девочка, сказала лошадиная фамилия, она, конечно, помоложе вас будет, но, я думаю, не намного. При этих словах академик ласково попридержал Привалова за плечо, как бы давая ему слегка понять, что он думает про приваловский возраст, и как бы слегка извиняясь за это перед ним как перед человеком своего (узкого) круга.

На том и расстались, а в следующий четверг лошадиная фамилия прискакала на собственном моторе за Приваловым, и они вместе покатали в гости.

Театр, как говорится, был уже наполовину полон, хотя наполовину пуст. Явно преобладала мужская половина, что Привалов тут же взял на заметку. Хотя театр и был полон только на половину, но повернуться было негде, потому что квартира была невелика. Собственно, и квартиры-то никакой не было. Курица, говорят, не птица, однокомнатная квартира не квартира. Потому что оказалось, что Бэлла Моисеевна Гвоздецкая гнездится одна. В уме у Привалова она как-то очень плотно слилась со всем своим семейством, и он грешным делом думал, что живут они вместе, и хотя ехал с визитом к графине, предполагал тут же увидеть и внучку, с которой рано или поздно ему все равно пришлось бы иметь дело.

К тому же его представление о графинях ассоциировалось со всякими будуарами и кулуарами, и он как-то забыл, в каком столетии проживает. Слабость, простительная гуманитарам-историкам. Сверх всего был тут и момент самовнушения. Дело в том, что Привалову хотелось поговорить с графиней наедине, и когда он мысленно репетировал предстоящий разговор, он заодно присочинял к нему соответствующие декорации. Правильные декорации: воображение у Привалова было с хорошим литературным вкусом. Но, ах, черт возьми, у эпохи вкуса не было ни вот на столечко. Привалов поморщился. В этой чертовой эпохе все было сикось накось и вверх тормашками. Эпоха распахала население по ячейкам, не взирая ни на какие лица, поселив графинь в хижины, а извозчиков во дворцы. Привалов покачал головой, отвечая

собственным мимолетным мыслям. Что ни говори, подумал он, а мы, интеллигенция, заслуживаем большего и не только в смысле зарплаты. Ну ничего, ничего, смеется тот, кто смеется последний. Привалов засмеялся.

Вы совершенно правы, вполголоса сказал державший его под локоток академик. Просто возмутительно. Такую женщину запихать в эту келью. Варвары, варвары. Да ведь у нее пол-Москвы на четвергах появляется. Где же ей развернуться? Сами-то себе небось такие дачи отхватили, что будь здоров.

А внучка не тут разве живет, между делом спросил Привалов. Я почему-то думал.

Внучка здесь прописана, но не живет, отвечал академик. Но мало ли что не живет. Для начальства-то она тут живет, раз она тут вписана. На двоих такую камеру, а? Ведь повернуться же негде, сказал академик, пытаясь повернуться вокруг себя и поздороваться с обступавшими его со всех сторон гостями.

Привалов тоже оглядывался. Мелькнуло два-три знакомых лица. Кто-то поздоровался, похлопав сзади по плечу, кто-то кивнул головой из другого угла комнаты. Привалов поймал на себе несколько любопытных настороженных взглядов. Двое так вообще смотрели на него в упор целую, считай, минуту. Старались, чудачки, понять, видно, как себя вести с новеньким — свысока или на брюхе ползать. В их стеклянных глазах и деревянных позах просматривались зачатки того и другого. Незнакомец — враг.

Привалову на глаза попался один юродивый с длинными седыми волосами, провалившимися от беззубья щеками, острым, как у ведьмы, подбородком, худой, совсем без живота. Он нервно мигал через каждые тридцать секунд, так что весь его чердак сотрясался по вертикали, и после каждой такой гримасы начинал двигать челюстями по горизонтали, так что подбородок съезжал на сторону совсем как на картинах у этих... Привалов забыл название, пусть хоть импрессионистов что ли, в общем у каких-то таких. Кто же он таков, пытался угадать Привалов, чучело чучелом, нахамишь ему из осторожности, а потом окажется, что это какой-нибудь принц богемы или секретарь ВАКа — и то, и другое худо. Привалов вздохнул.

Вы правы, сказал академик, будьте осторожны с этим человеком. Его лучше не сердить. Он писатель. Давно ничего не публикует, но зато пишет в стол. Авторитета невероятного. Если завтра у него будут спрашивать, видел ли он вас на этой площадке, и он

скажет, что не заметил, то все — вас будут держать за серость до тех пор, пока он же не соизволит кому-нибудь сообщить, что обедал с вами у старой графини, если вспомнит или если со второго раза приметит. И что публика вокруг него вьется, ума не приложу. По-моему, пустое место.

Привалов умело перехватил взгляд, которым академик попутно награждал старого демагога, и понял, что академик не был замечен дистрофиком-патриархом с первого раза, и если дать сейчас академику хорошо намыленную веревку и на минуточку отвернуться, то от духовного лидера останутся один скелет и гримаса. О люди, люди, порождение крокодилов, мелькнула в голове у Привалова где-то напечатанная горькая строчка. Оба вы хороши, заключил Привалов и внутренне собрался, окончательно поняв, что попал в довольно-таки плотоядную среду.

Между тем народу прибывло, в тяжеловатый гул прокуренных мужских голосов вплелось девическое щебетанье и повизгивание. В то же время стало как-то попросторнее, потому что народ разбивался на мелкие группы, в основном на пары. Возникали приватные фракции, пары распались и строились в новых составах, нужно было пространство для перемещений. Народ знал, как себя вести в однокомнатных условиях, можно сказать, собаку уж люди съели на этих делах и двигались, черти, прямо как артист Барышников.

Возле Привалова и академика очутилась старая дама, и Привалов сразу же понял, что это и есть графиня Бэлла Моисеевна Кувалдина. Во мгновение ока он согнулся пополам и склонил голову, потянувшись отчасти шутовски, а отчасти стихийно губами к повисшей перед ним веснушчатой ручке в каких-то алюминиевых кольцах.

Академик расплылся от удовольствия и сказал, что, дескать, прошу любить и жаловать восходящую звезду гуманитарной науки, Мишу Привалова, а с другой стороны Бэлле Моисеевну, о которой вы, конечно, много слышали. Я думаю, завел академик опять свою песню, вы должны, аб-солют-но должны познакомиться, мы все должны знать друг друга, в нашей узкой среде мы должны, ей богу, как бы держаться за руки.

Привалов исподтишка разглядывал графиню, пытаясь на ходу выцарапать из ее внешнего вида хотя бы какую-то информацию. В первую же секунду он был озадачен. В желтых глазах графини

мелькнул панический страх. Что это, подумал Привалов, она боится?

Гвоздецкая однако тут же совладала с собой и поглядела на Привалова ласково и шуточно. Ну конечно, конечно, сказала она, я вас очень хорошо знаю. Ведь вы ведущий специалист по Свистунову. Мы все многим вам обязаны. В нашей семье очень почитают Свистунова.

Академик закашлялся. Привалов глянул на него и понял, что академик принадлежит к числу посвященных. Посвятили или разнюхал, подумал Привалов, но тут академик раскрыл рот и доложил сам, что Бэлла Моисеевна, видите ли, находится со Свистуновым некоторым образом в родстве и располагает несметным количеством свистуновских документов, которым, кажется, цены нет.

Привалов не знал, стоит ли ему показывать, что он знает про архив Гвоздецкого. В душе он проклинал себя за то, что поторопился и не попытался сперва разведать, насколько широкой огласке семейство Кувалдиных предало исторические факты, оказавшиеся в его собственности. Привалов молчал и ждал, что последует.

Графиня между тем покровительственно улыбулась и вежливо сказала, что молодой человек и сам ведь, кажется, родственник Свистунова и тоже владелец недурного архива. Словечко "недурного" вышло из графининых уст медленно, как змея.

О да, небрежно согласился Привалов, мой архив действительно недурен, практически необозрим и до конца еще не использован. Как раз сейчас я собираюсь опубликовать некоторые материалы с чрезвычайно интересным подтекстом. Надо сказать, что свистуновские архивы очень трудны для обработки и вряд ли могут быть использованы непрофессионалом. Один почерк, например, требует долгой и терпеливой расшифровки. Свистунов писал очень неразборчиво.

Да? — поинтересовалась графиня, одновременно поворачивая голову то в одну, то в другую сторону, как бы давая понять, что эта деталь представляется ей второстепенной. Увидев кого-то, она сделала приветственный жест рукой и вновь повернулась к Привалову. А вы кто Свистунову, собственно, будете, спросила она.

Привалов мысленно поморщился. Грамматика графини резанула его своей простоватостью и бесцеремонностью. Он чуть было не съязвил, но во-время удержался. Вместо этого он вежливо и аккуратно доложил, что имеет честь происходить прямо от родной сестры покойного классика и является его внучатым племянни-

ком, родство не самое непосредственное, но и нельзя сказать чтобы дальше. Но если и вы с ним в родстве, то мы с вами должны быть тоже родственниками, хотя бы номинально, с энтузиазмом добавил он.

Номинально, символически, ласково сказала графиня, и было никак невозможно понять, то ли она считает, что это символическое родство льстит ей, то ли думает, что оно должно льстить Привалову.

Графиня между тем продолжала. Да, символически и притом с неожиданной стороны. Не знаю, известно ли вам, а, впрочем, Солон Израилевич Копытман...

Да, да, обрадованно сказал Привалов, довольный, что не нужно больше скрывать свою связь с Копытманом и вместе с тем несколько удивленный тем, что Гвоздецкая в курсе его переговоров со старым шелкопером. Да, да, он мне рассказывал.

Вы ничего раньше не знали о Гвоздецком, спросила осторожно Гвоздецкая.

Очень, очень неопределенно, решил подпустить туману Привалов. Среди моих документов есть такие, в которых содержатся некоторые указания. Но вы знаете — это чрезвычайно темная история. Ваш покойный муж, я имею в виду графа, был как будто бы братом Свистунова по отцу. Это можно заключить из некоторых моих документов.

Из моих документов, твердо сказала Гвоздецкая, это вытекает с полной ясностью.

Конечно, конечно, заторопился Привалов, однако, знаете ли, все это достаточно темно тем не менее. Необходима тщательная проверка.

Оба собеседника, не сговариваясь, посмотрели на третьего. Академик стоял, вытянув шею и раскрыв рот. Он ловил каждое слово, и было ясно, что ему тут нечего делать. Все это его не касалось. Пока что отношение Свистунова к Гвоздецкому было чисто семейным делом и обсуждать его при посторонних не надлежало ни в коем случае. Родственники поняли это одновременно и, не сговариваясь, прекратили разговор.

Молчание неприлично затягивалось. Академик умирал от любопытства и не хотел уходить. Привалов же решил, что разговор кончать рано. Он использовал возникшую паузу, чтобы обдумать дальнейшую стратегию хотя бы на сегодняшний вечер. Стихийно возникшая у него идея набросить тень на плетень и дать понять

старухе, что участие Гвоздецких в биографии Свистунова, быть может, окажется мифом, понравилась ему самому. В конце концов, думал он, все это ни к чему меня не обязывает. Он вспомнил, что в первый момент знакомства Гвоздецкая посмотрела на него с каким-то неожиданным страхом, и мысль его увлеченно заработала. Может быть, и в самом деле? — подумал он, чем черт не шутит. Хотя вряд ли, конечно, судя по всему, дело верное. Но если есть хоть малейшая возможность, подвергнуть сомнению подлинность факта, то надо это использовать. Даже если это не так, надо их пугать, пугать. Они должны понять, что без меня им все равно с этим делом не справиться. Сегодня я должен заронить в нее сомнения. Бьюсь об заклад, в архивах она ничего не смыслит.

Графиня, вероятно, не думала ни о чем. Она стояла как ни в чем ни бывало и улыбалась с наглым любопытством, всем видом изображая, что просто интересуется, который из двух мужчин дрогнет и ретируется первым. Первым не выдержал академик. Завидев в прихожей какую-то юбку, он сделал вид, что очень, очень заинтригован и, извинившись кивком головы, поспешил удалиться. Привалов и графиня остались вдвоем.

Нам плохо здесь разговаривать, сказала Гвоздецкая, народу много. Квартиры такие тесные. Идемте со мной. Она повернулась и пошла. Привалов пошел за ней.

Сюда, сказала графиня, и они вошли в ванную. Привалову не в первый раз приходилось беседовать в ванной. Даже и выпивать приходилось. Все квартирный голод. В каких только помещениях не ютится теперь интеллигенция. Что поделаешь: любишь гостей — умей крутиться. Народ не очень по поводу тесноты переживал. Неудобно, конечно, но зато сколько шутить по этому поводу можно. Конечно, будет совсем не плохо, когда всем интеллигентным людям добавят по комнате, но что мы будем делать без великой легенды о тесноте. Интеллектуальная жизнь потускнеет. Интеллигентным людям не о чем будет поговорить. Пропадут они в своих апартаментах.

Такой речью встретил их в ванной разбитной молодой человек с капитанской трубкой в зубах. Прошу вас обратить внимание, что квартира Бэллы Моисеевны может считаться образцовым салоном, потому что ванная здесь отдельная. Мой салон не может конкурировать, не может. Но я вас покидаю, продолжал молодой сатирик, в этой будке двум парам не уместиться. Идем, Светланочка. И он

энергично удалился, увлекая хихикавшую Светланочку за собой. Теперь-то уж Привалов и графиня остались совершенно одни.

Не скрою, начал мягким голосом Привалов, обнаружение второй половины свистуновской семьи — во всех отношениях вызовет страшную бурю. Мы, я имею в виду себя и вас, должны эту бурю контролировать. Ни в коем случае нельзя гнаться за дешевой сенсацией. Ваш архив нужно исследовать квалифицированно и капитально. Прежде всего я хотел бы знать, есть ли письменные свидетельства родства Гвоздецкого и Свистунова, то есть, проще говоря, того факта, что старший граф был отцом поэта.

Мой покойный муж и Свистунов, спокойно отвечала графиня, упоминают этот факт неоднократно.

Что значит упоминают, начал входить в раж Привалов, что значит упоминают. Они что, прямо говорят об этом?

Прежде всего они часто называют друг друга братьями. В одном письме мой муж подробно рассказывает Свистунову о его настоящем отце. Вся историю его отношений с этой Ойзерман. Графиня произнесла "этой Ойзерман", как и полагается настоящей графине. Привалова это потешило так, что он чуть было не засмеялся, но взял себя в руки и только подумал: сама ты Ойзерман, хотя и Герцог.

Вслух же он продолжал наседать. Вы поймите, Бэлла Моисеевна, эта Ойзерман не состояла в браке с Гвоздецким. Свистунов, если и был сыном Гвоздецкого, то незаконным. Как вы понимаете, документальные свидетельства в таких случаях невозможны. В конце концов, мы никогда не сможем добыть на этот счет документального доказательства в буквальном смысле. То, что мы знаем, навсегда останется для нас информацией с чьих-то слов. Разумеется, больше всего доверия вызвали бы слова матери.

Старуха молча смотрела на него и, казалось, не понимала его. Матери? — наконец спросила она. Какой матери?

Ну как какой, Бэлла Моисеевна, ну как какой. Привалов чувствовал, что взял правильный тон. Дави, дави сильнее, посоветовал он сам себе. Я имею в виду, разумеется, мать поэта Свистунова. Ведь она, только она может знать, кто на самом деле отец ее сына.

Тут Привалову в голову пришла совершенно шальная и, как ему казалось, гениальная мысль. Строго говоря, продолжал лепить он, даже она может ошибиться. Бывают случаи, ведь бывают же случаи, вы понимаете, что я имею в виду? Вы сами и ваш архив

позволяют нам по-новому взглянуть, так сказать, на добрачное поведение девицы Ойзерман.

Графиня встrepенулась. Что вы такое говорите, сказала она. Ведь это же ваша бабушка!

Прабабка, нетерпеливо перебил Привалов. Впрочем, какое это теперь имеет значение. Эти люди для нас уже не люди, а документы, материал, капитал, как хотите. Да и вообще, подумаешь, дело. Кстати, вы знаете, к какой среде принадлежала эта Ойзерман. Она же была, так сказать, революционерка. А там свободная любовь...

Нет, нет, нет, всполошилась Гвоздецкая. Это невозможно. Она была нормальная, порядочная девушка. Что же касается графа...

Вы твердо знаете, что граф был у нее единственный, не унимался Привалов, у вас есть доказательства? Документы?

А у вас есть доказательства обратного, ощерилась Гвоздецкая, вы что-нибудь знаете?

А что если есть, выпалил, не помня себя Привалов, и тотчас же подумал, старая ведьма, я заставлю тебя отвечать.

Графиня стояла перед ним столбом и явно не знала, какую карту теперь выложить перед Приваловым. Лоб ее наморщился, глаза остановились. Наконец она открыла рот и, казалось, что-то надумала ответить, но вместо слов из ее горла раздался негромкий протяжный стон, желтые глаза вспыхнули горячим и тоскливым блеском, ее худое изящное тело вдруг обвисло, и Привалов с ужасом увидел, что она медленно падает.

Он поспешно подхватил падающую графиню, не дав ей рухнуть на кафельный пол, и осторожно посадил безвольное, ставшее грузным, тело, прислонив спиной к ванне. Графиня, сказал он сдавленным шепотом, что с вами, графиня. Не бойтесь, я не сделаю вам никакого вреда.

Графиня не отвечала. Губы ее медленно сомкнулись и сквозь них едва показался кончик языка. Привалов понял, что с графиней случился инсульт.

Привалов вышел из ванной, тихо притворив за собой дверь, и стал искать глазами академика. Академик явился тут же. Глаза его горели от любопытства. У нее инсульт, промямлил Привалов деревянным голосом. Прямо сию минуту, и он указал большим пальцем через плечо. Академик только свистнул. Серьезно? — спросил он, стрельнув глазами на дверь ванной комнаты. Как вы знаете?

Ну, сказал Привалов, может, инфаркт, почему я знаю. Только она того, и он показал рукой, что именно.

Что же делать, заерзал бледный академик, что же делать. И дом полон народу. Вот, ей богу, незадача какая. Вы уверены, что это по-настоящему? Может, просто обморок? Привалов покачал головой. Нет, не обморок. Хорошо, если жива. Впрочем, по-моему, жива. Во всяком случае, была только что.

Тут есть врач, сообразил вдруг академик, я сейчас его позову. Вы только стойте тут и никого не пускайте. Академик стал проталкиваться через толпу гостей.

Привалов стал соображать. Вот те на, соображал он, вот после этого и планируй, и рассчитывай. Черт знает, что такое. Что же мне теперь делать? Ведь я же ее прикончил, между нами говоря. Просто напросто прикончил. Впрочем, это не важно. В конце концов, в этом возрасте с каждым такое может случиться в любую секунду. А что при гостях, так нечего на восьмом десятке четверги устраивать. Тоже мне салонщица. В чем душа только держится, а туда же, вспомнил он худые графинины руки и синяки под желтыми глазами.

Показался академик со смешным толстеньким бородачом. Академик глядел мрачней тучи, бородач почему-то иронически ухмылялся. Дилетанты, как бы говорил он, паникеры. Дайте-ка я посмотрю. Сейчас, сейчас, успокоительно сказал он, показал вопросительно на дверь, будто бы спрашивая, здесь ли, и не дожидаясь ответа юркнул внутрь.

Он вышел обратно через минуту и развел руками. От его иронического настроения и следа не осталось. Факт, сказал он. Ну, вы даете.

Причем здесь мы, встрепенулся Привалов и начал объяснять, как все произошло, опустив, разумеется, содержание имевшего место разговора.

Да нет, нет, сказал доктор. Я ведь только так сказал. Никто не виноват, конечно. Сколько ей было лет? Семьдесят два? Что ж тут поделаешь. Природа, дело житейское. Значит, так. Она еще жива, но, думаю, долго не протянет. Стукнуло ее капитально, такое впечатление. Где телефон? Я позвоню в скорую, а вы подготовьте народ. Четверги кончились. Все когда-нибудь кончается.

Врач пошел к телефону, а академик подозвал кого-то и на ухо сообщил о случившемся. Тот ахнул и подозвал еще кого-то. Новость поползла по квартире, и через две минуты все замолкли и

неловко застыли, где стояли, глядя на врача, объяснявшего по телефону, что случилось и куда надо ехать. Повесив трубку, врач вздохнул, погладил бороду и сказал, что надобности в гостях больше нет и все могут удалиться. Кроме вас и вас, показал он пальцем на каких-то двух немолодых женщин. Ее надо перенести на диван и, кроме того, надо позвонить родным. Пусть едут немедленно. Надо спешить.

Народ не заставил напоминать дважды. Один за другим люди подвигались к выходу и исчезали. Все были напуганы и удивлены.

Я хотел бы остаться, сказал Привалов академику, мы можем остаться? Я хотел бы дождаться родственников и выразить им соболезнование. Или, может быть, вы думаете, что это лишнее?

Как хотите, как хотите. Обстоятельства таковы, что вам с ними, как я понимаю, познакомиться надо. Лучшего случая не придумаешь. Я тоже, пожалуй, останусь. Мы сделаем вот что. Пока тут без нас обойдутся. А мы выйдем и погуляем немного, тут рядом неплохая липовая аллея, редкость, знаете ли, для новых районов. Там мы и погуляем, пока придет скорая и соберутся родственники. Потом вернемся. Сейчас я договорюсь с доктором.

Он подошел к доктору. Доктор выслушал рассеянно и кивнул головой. Академик вернулся к Привалову и сообщил, что скорая, вероятно, будет через полчаса, около часа им понадобится, чтобы принять меры. Часа через полтора можно будет вернуться, и тогда поглядим. Кувалдины как будто в городе, вечером сегодня они, скорее всего, дома, так что через часик и они будут здесь.

Липовая аллея оказалась на славу. Привалов и академик медленным шагом прошли ее в обе стороны раз двадцать. За интеллигентным разговором можно было и дольше ходить, но Привалов все время украдкой поглядывал на часы и через полтора часа ровно оборвал академика на полуслове, сказав, что пора. Пора возвращаться.

Они подошли к дому как раз в тот момент, когда бригада скорой помощи устраивалась в машину. Ну что, спросил академик, вы ее оставили дома?

Мы сделали все, что могли, отвечал молодой врач. Ее никуда везти не надо.

Есть какая-нибудь надежда, спросил Привалов, сам не замечая, как сжимается его сердце при этом вопросе. Сердцем он чувствовал, что здоровье графини будет теперь важным фактором в борьбе за свистуновское наследство.

Надежда на что, спросил врач, что-то такое про себя соображая. Какая надежда?

Она еще может отойти? — спросил академик и пояснил, что они друзья и для них было бы страшной потерей...

Она что, была еще жива, что ли? — спросил врач. А, вы уходили, она еще жива была. Нет, нет, какая там надежда. Это смерть.

Привалов с академиком помялись, развели руками, посмотрели друг на друга и поплелись наверх. Врачи сели в свой мотор и укатили.

Дверь в квартиру Гвоздецкой была открыта, в дверях стоял хорошо одетый молодой человек лет двадцати пяти и дымил сигаретой. Из квартиры раздавалось всхлипывание и неразборчивый мужской голос, бубнивший что-то, как видно, по телефону. Курящий молодой человек посмотрел на подошедших вопросительно. Академик объяснил, кто они и что здесь делают. Молодой человек указал на открытую дверь подбородком, разрешая войти. Они вошли.

На диване лежала Гвоздецкая. Она была мертва. Рядом с ней на стуле сидела красивая дама, задумчиво смотревшая в стенку. Еще две женщины, те, которых врач оставил помогать, стояли в сторонке и еле слышно о чем-то беседовали. Врач стоял в дверях кухни, прислонившись к косяку, и от нечего делать почесывал бороду. На телефоне висел лысоватый субъект лет пятидесяти в тренировочных штанах и хорошем клетчатом пиджаке. Он отдавал какие-то распоряжения.

Академик кашлянул. Красивая дама на стуле подняла голову, приветливо улыбнулась и встала. Познакомьтесь, сказал академик, Анна Николаевна Кочергина.

Ага, вспомнил Привалов. Жена самого Кувалдина. Про нее-то я совсем забыл думать. Посмотрим, что за штучка. Вслух он произнес, что ему очень приятно, хотя обстоятельства для знакомства, конечно, крайне неподходящие. Кто бы мог подумать, что именно сегодня такое случится.

Ах, что вы такое говорите, отвечала Анна Николаевна неожиданно тонким и, как показалось Привалову, сделанным голосом. Все в руках Божьих. Все мы когда-нибудь. А, впрочем, ужасно, ужасно, ужасно. Смерть всегда приходит слишком рано. Бедная Бэлла, такая жизнелюбивая, энергичная, такую трудную жизнь прожила, столько было всего тяжелого, и вот теперь, когда, казалось бы, можно по-настоящему жизнь начинать... Анна Николаевна провела

рукой по глазам и полезла в сумочку. Привалов думал, за платком, но оказалось, что за сигаретой.

А вы, значит, Привалов, спросила Анна Николаевна, закуривая и пуская носом чудовищную струю дыма. Ну что ж, следовало ожидать, что вы в нашем доме появитесь.

О да, о да, в нашем узком кругу, завел опять свое академик, но Анна Николаевна не дала ему продолжать. Замолчите же, так прямо и сказала она, так что академик вздрогнул и отступил на шаг в сторону. Вздрогнул и Привалов. Замолчите, повторила Кочергина, нашли время философствовать. А вы еще совсем молоды, повернулась она опять к Привалову, совсем молоды, неприлично молоды, я думала, вы старше, ваши работы выглядят очень зрелыми, очень зрелыми. Я никак не предполагала, что вы так молоды. Кочергина, казалось, что-то обдумывала.

Далась тебе моя молодость, чуть не поморщился Привалов, но вместо этого смущенно развел руками, как бы давая понять, что чем богаты, тем и рады, а, впрочем, уж лучше быть молодым, чем покойником.

Ну что ж, будем знакомы, сказала Кочергина, звоните и заходите, мы всегда рады вас видеть в нашем доме, Юле полезно с вами познакомиться, а сейчас, ради бога, извините, мне надо говорить с мужем, вот Боря вас займет. Она смотрела мимо Привалова, и Привалов обернулся. За спиной стоял тот молодой человек с сигаретой. Он тоже хотел познакомиться.

Борис, сказал он, по-мужски выбрасывая ладонь лопатой, Кочергин, Анин племянник, сирота и фотограф. Значит, Привалов? Неплохо.

Михаил, представился в ответ Привалов, рад познакомиться. Ты еще кто такой, племянничек, что ты тут, интересно, означаешь, думал он, представляясь.

Я, собственно, у Кувалдиных нечасто бываю, говорил Борис, как будто продолжая давно уже начавшийся душевный разговор. Сегодня случайно заскочил денег перехватить, и бамс. Надо же такое. А так я их не жалую. Надоела мне, знаешь, эта партийная атмосфера. Тетка моя еще ничего, но хозяин просто мразь. Юлька неплохая девка, но дура.

Привалов все это внимательно выслушал с совершенно безразличным видом и спросил, чтобы поддержать разговор, на каких фотографиях Борис специализируется.

Для денег или для себя, спросил Борис. Для денег я занимаюсь

спортом, в смысле не самим спортом, а фотографирую спорт, в смысле спортсменов. А для себя я — музыкантов. У тетки связи с оркестрами, я там везде свой человек. Тоже и на этом иногда заработать удастся. Но в основном я это делаю для своего брата, интеллигента. А вы, значит, Привалов? Могу вам доложить, что популярны, как надо. Мой клиент вас очень даже уважает. Еще бы. Я вам доложу, с предками вам повезло. Такой капиталец в наследство получить, а? Позавидовать можно.

У Гвоздецких, как я слышал, есть кое-что не хуже, осторожно заметил Привалов.

Ха, сказал Борис. Вроде бы есть. Только они, шакалы, никому до сих пор ничего не показывали. Кувалдин боялся. Но, кажется, что сейчас и он считает выгодным начать высовываться. Во-время вы здесь появились. Признайся, почуял, что медом пахнет? Правильно. Я тебе советую, глаз с них не спускай. Свистунов этот — твой. Ты первый его освоил, тебе и карты в руки. Юлька дура, она ничего не понимает. Ей без толкового шефа не обойтись.

Но ведь есть еще папа и мама, они-то люди образованные, как бы нехотя заметил Привалов.

Фрр, сказал Борис. Они-то образованные. Но, во-первых, махра страшная, марксисты, как ни крути, хотя и американцы вроде бы с виду. Во-вторых, они по другой части, и у них уже свой кусок имеется. Но вот то, что они опытные, это уже со значением. Из семьи они своего добра не выпустят. Даже меня не подпускают, а я у них единственный родственник. Говорят, я шалопай, салага. А что такого? Тут все салаги, пока хорошее место к рукам не приберут. Человек без места, знаешь, как пирог без теста. Или даже лучше сказать без мяса. Я так думаю, они своему архиву хода не давали — ждали, когда Юлька подрастет. Новый кадр готовили. Они, шакалы, упорные, ох упорные, суровые люди, крутые. В полной тайне свой литературный музей держали, знаешь, сколько лет?

Надо думать, с самого тридцать седьмого года, с уважением сказал Привалов.

Да, так. До пятьдесят пятого они в подполье сидели понятно почему. Дураком надо было быть, чтобы высовываться. Лагерь был обеспечен. И так непонятно, за счет чего выжили. Но после-то, после-то, я бы не удержался, куда там. А они сидели задом на сундуках, считай, двадцать лет. Я даже думаю, что пересидели. Десять лет назад был лучший момент. А сейчас, я думаю, на запад

надо все это перефутболивать. Я вообще западник. Я так думаю, что на нашу здешнюю лошадь ставить уже не имеет смысла. Самиздат теперь главнее, это дело выгоднее. Тут одна шваль осталась. Все стоящие люди туда подаются.

Привалов молчал. Этот Борис был еще то трепло, и обсуждать с ним подобные вещи не имело смысла, да и сказать Привалову, пожалуй, было нечего. Из речей фотографа ему стало ясно, что сырье на руках у Кувалдиных трудное и доводить его до рынка будет не легко. Собственно, Копытман предупреждал. Надо бы, конечно, в эти сундуки заглянуть, ох как надо бы, думал Привалов, пока Борис продолжал что-то такое плести про знакомых лабухов-диссидентов, про порнографию и про историческую миссию России и как это все смешно.

Видно, Привалов молчал слишком долго и красноречиво. Фотограф стал повторяться, делать паузы, наконец помычал немного и замолк.

Привалов спохватился. Разговор надо было поддерживать. Хочешь из другого чего-нибудь вытянуть — говори сам. Вы ничего из архива не видели, спросил он на всякий случай.

Недавно Юлия сделала две копии, мне показывала. Вы только им (он незаметно ткнул пальцем в сторону Кувалдина и жены) не проболтайте. Она это воровским манером. Одно большое стихотворение и одно длиннейшее письмо Гвоздецкому. Страшная полива. Если пустить по самиздату, отличный шум будет. Я ее просил дать мне на денек. Уж я бы... Но не дает, дура. Боится. Попроси ты у нее. Она тебе даст.

Я с ней даже не знаком, пожал плечами Привалов. Кроме того, надо еще как следует подумать.

Познакомиться с ней — это раз плюнуть. Это и я могу устроить. Да ты и сам можешь, через мамашу. Ты ей понравился. Она теперь вокруг тебя ходить будет. Я ее знаю. А насчет подумать, так тут думать нечего. Товар первосортный. Народ на части рвать будет. Слушай, чего мы здесь торчим? Тут сейчас ничего интересного не предвидится. Старуха дала дуба, у них теперь домашние заботы, Юльки нет и не будет сегодня. Пошли в кабак, а? Я знаю тут рядом отличный гадюшничек, мой знакомый лабух на ударных играет. Правда, сегодня четверг, может, они сегодня не играют, так тем лучше. Потолкуем без музыки. Пошли.

Привалов решил, что, пожалуй, фотограф прав. После сегодняшних треволнений и вышить было можно. Когда еще в ресторан

выберешься. И знакомство с фотографом имело смысл, во всяком случае на этом этапе, а там видно будет.

Они вдвоем подошли к Кочергиной, спросили, нет ли в них сегодня вечером нужды, и удостоверившись, что на них никто особо не рассчитывает, спиной ретировались к двери, вприпрыжку по лестнице и энергичным шагом направились в ресторан. Молодежь.

Разговор не получился. Слишком много пили. Привалов был и подавлен, и возбужден. Фотограф же был в своем элементе. Поругали советскую власть, повосторгались очередным перебежчиком, поудивлялись на Евтушенко, поискали и нашли, как водится, общих знакомых, один другого важнее, рассказали друг другу, как ездили в Тбилиси и в Ташкент, обменялись адресами и разъехались. Утром болела голова и хотелось пить, а пива как всегда не было на версту в округе, будь оно все проклято, не такой жизни хотелось бы, ох не такой.

К вечеру Привалов отошел и позвонил Копытману. Копытман уже знал, что старуха Гвоздецкая умерла на собственном четверге при стечении народу, и даже знал, что похороны назначены на воскресенье. Вы там видели всю семейку, спросил он.

Кроме Юлии, сказал Привалов, вы, кстати, не знаете, где она? Зато я познакомился с ее кузенком, Борис зовут, не знаете?

Понятия не имею, ответил Копытман. Где Юлия, тоже не знаю. Но думаю, у гроба появится. Вы лучше скажите, со старухой говорили?

Говорил, протянул Привалов, чувствуя, что момент ответственный и отчитываться перед Копытманом нужно не все равно как. Интересный был разговор, продолжал он все еще нерешительно, но уже с некоторым намеком на важное содержание разговора. Копытман замолк, и Привалов почувствовал, что он насторожился. Идея вспыхнула в голове Привалова мгновенно, хотя, как видно, именно эта идея подспудно подготавливалась все это время — так она была ясна и отчетлива. Смешно сказать, начал издали Привалов, смешно сказать, никто не поверит, конечно, но старуха просила меня взять ответственность и за архив, и за Юлию.

Предсмертная воля, усмехнулся Копытман, как в романах, это интересно. Думаете, никто не поверит? Я, пожалуй, поверю. Хотите, чтобы я поверил?

Надо поверить, осмелел Привалов. Я-то старуху очень хорошо понимаю. Юлия неопытная девчонка. Папа с мамой заняты своим

делом. Нужен солидный специалист, имеющий позиции. Это только разумно. Старуха Гвоздецкая не так глупа, как можно было подумать.

Никто так и не думал, отвечал Копытман. И решение она приняла правильное. Но и вы не должны маху дать. Вот что. Вы о последних словах Гвоздецкой никому не говорите. А слух этот распушу я. Если же вас будут спрашивать, жмитесь и мнитесь, опускайте глаза и разводите руками. Особенно, если вас будут спрашивать об этом Кувалдины. Особенно. Им эту мысль надо подсунуть со стороны общественного мнения. Вы тут как бы ни при чем. Ведите себя, как статист. В воскресенье, значит, похороны. Там все и увидимся. То-то будет фестиваль.

Весь конец недели Привалов потирал руки и думал, как удачно все получилось и какой умный этот еврей Копытман. Господи, даже подумал он, что бы мы без этих евреев делали, и слегка гордился тем, что его прабабушка тоже была еврейка. Все русские, говорят, антисемиты. Может и да. За исключением тех, которые сами евреи.

Привалов только собирался позвонить Кувалдиным, как мадам позвонила сама. Голос у нее был бодрый. Хлопоты позади, объяснила она. В этой стране, сказала она, организовать похороны не легче, чем в Америку съездить. Если бы умирающие люди знали, какую мороку они взваливают на плечи остающихся, они сто раз подумали бы, прежде чем умирать. Но на этот раз, благодаря нашим связям, удалось все оформить как нельзя лучше. Пожалуйста, приходите на похороны, если, конечно, это зрелище вас не угнетает. Для меня, например, это прямо нож в сердце. Могла бы, не пошла бы. Но мое положение безвыходное. А вы можете выбирать. Хотя я хотела бы, чтобы вы пришли. Вы ведь в некотором смысле родственник.

Господь с вами, искренне, но деликатно возмущился Привалов, конечно же, я приду. Даже если бы я не был знаком с покойной Бэлой Моисеевной, все равно пришел бы. Ну, а после того, что произошло, какие могут быть разговоры. Ведь страшно подумать, что я, вероятно, был последним человеком, который с ней разговаривал. Я долго буду помнить теперь этот разговор. Как жаль, как жаль.

Да, последний, задумчиво согласилась Кочергина. В этом есть что-то символическое.

Звучало обнадеживающе, размышлял несколько после Прива-

лов. Чем дальше, тем больше ему казалось, что эта странная дама скажет-таки ему то, что он так хотел услышать от старухи графини. Возможно, что как раз в ее намекающем поведении он верно унюхал фактические основания для своей версии разговора с графиней, предсмертного разговора. Протяни графиня на пять минут дольше, может быть, она это и сказала бы. А, может быть, она сказала? Хорошо ли я помню, о чем мы тогда говорили? Привалов морщил лоб, чесал за ухом и вспоминал, вспоминал. Получалось неплохо. Он вспомнил даже голос Гвоздецкой, ее интеллигентное прищептывание, он видел ее желтые глаза, и в них кое-что можно было прочесть. Не сказала, так подумала. Хотела сказать. Сказала. Почти сказала. Можно считать, что сказала. Можно. Так и будем считать. Так и будем. На том и стоять будем. Воля покойника — закон. Надо уважать покойников. Привалов хорошо относился к покойникам. Покойники капитал. Покойники помогают жить. В конце концов, что из себя представляло бы общество без покойников? Стадо баранов. Сборище жлобов. Великая вещь — традиция. Великая вещь — культура. Культура должна принадлежать людям, кому-то из людей, нам. Она ни в коем случае не должна доставаться им. Они никто. Они самозванцы. Мы носители.

Так прошла суббота, а в воскресенье Привалов взял ноги в руки и отправился на похороны. Народу пришло много. Один гаишник в форме с мохнатыми седыми бровями, похожий на артиста Яншина, все время стоял у гроба и шевелил губами. Молится, что ли, подумал Привалов. Вампир этакий. Сидел бы дома.

Много еще было таких, которым лучше бы дома сидеть, не шляться по чужим похоронам, а тихо ждать своих собственных. Они медленно ходили по-одному, ни с кем не здороваясь, и только время от времени поглядывая, поглядывая, ну чего не видели, старые калоши? Но были и молодые растущие силы, какие-то с виду экскурсоводы, гитаристы и полу-евреи любой профессии, все одинаково смышленные и как-то нагло вежливые. Мелькнули несколько знакомых лиц, знаменитый диссидентский писатель, дочка министра не то сельского хозяйства, не то путей сообщения, кинорежиссер второго ряда и интеллигенция, интеллигенция, интеллигенция.

А этот профессор что тут делает? Привалов прямо налетел на живот жирного литературоведа, вечного своего друга-неприятеля Зосимова, крупнейшего специалиста по русскому модернизму, отчасти делившего с Приваловым свистуновские уголья. Зосимов

был акула. Привалов понял, что второй свистуновский архив не совсем уж тайна.

Пронюхал Зосимыч, пронюхал, услышал Привалов ехидный шепот у себя за спиной. Это был академик, при всем параде, в шляпе и с тростью. Рядом с ним стоял толстячок с изможденной физиономией и умоляющими глазами. Э, подумал Привалов, это наверное, клоун-шопенгауэрианец, тьфу, ну и специальность у него, не выговоришь. Взглядом он попросил академика познакомиться.

Миша Привалов, представил его академик, прошу любить и жаловать, а это Валериан Федосеевич Беспутин, тоже неплохой человек.

Поп-магнетист, ахнул Привалов, надо же так промахнуться. Вот и верь после этого людям. Чего только на внешность не напустят.

Наверное, вы меня иначе себе представляли, проворковал сибирский знахарь, причем Привалов заметил, что мольба в его мутноватых глазах мгновенно заменилась другим выражением, от которого Привалову стало не по себе. Привалов поежился.

Беспутин стрельнул глазами на академика, и того как не бывало. Ну и ну, подумал Привалов, действительно специалист, а говорят, что таких не бывает. Беспутин же не зря прогнал академика. Он хотел поговорить. Привалов насторожился.

А вы, говорят, последним с Бэллой беседовали, начал Беспутин, и, говорят, она имела до вас серьезный, серьезный разговор. Я понимаю Бэллу, очень понимаю. Когда речь идет о таком деле, к кому же обратиться, как не к вам. Признаться, и я хотел с вами проконсультироваться. У нас с вами общие интересы. Ведь вы, как нам известно, самый большой специалист по Свистунову.

Беспокойство Привалова возросло. Беспутин, между тем, продолжал. Знаете ли, Бэлла мне кое-что рассказывала про свой архив. Я, конечно, не специалист, хотя как сказать. Сдается мне, в этом архиве больше материалов по моей части.

А вы по какой, собственно, части, спросил Привалов. Вопросик прозвучал ехидно, и Привалов тут же спохватился. Беспутина дразнить было нельзя. Беспутин был порядочный гусь.

Но было поздно. Гусь ловил налету. И невольное ехидство Привалова мимо ушей не пропустил. Я по церковной части, сказал он задумчиво, что, не нравится?

Привалов чуть-чуть засмеялся. Ну почему же, часть неплохая, как можно более серьезным тоном согласился он. Сейчас сильно идет в гору.

Беспутин махнул рукой. Не так быстро, как хотелось бы, деловито оценил он, но в определенных кругах не медленно. Однако масла в огонь подлить всегда не мешает. Бэллин архив подоспел очень кстати. Теперь надо думать, что можно из него извлечь.

Мы извлечем из него то, что из него извлекается, в тон Беспутину сказал Привалов. Ничего не могу сказать, пока не увижу документы. А вы, как я понимаю, в архив уже заглянули.

Было немного, не стал скрываться Беспутин. Даже кое-что с графиней обсуждал, и мы, правду сказать, уже имели некоторые планы. Надо заметить, молодой человек, ее мировоззрение за последнее время существенно изменилось.

Мне трудно судить, поскольку я не знал, какое у нее было раньше. Привалов старался не грубить, но держался сухо, потому что магнетизер с его намеками Привалову не нравился. С ним у меня будут порядочные разногласия, прикидывал он в уме, а, может быть, даже и борьба. По всему видать, хочет моего Свистунова к попам утянуть.

Привалов не любил попов. Во-первых, он был убежден, что они все были гаишники. Во-вторых, в Привалове, как это ни странно, глубоко гнездилась классовая ненависть, принятая как наследство от тех еще отщепенцев церковного сословия, копавших под собственное гнездо, почитай, аж с середины XIX века, хорошего века, доброго! Его беспокоило и раздражало, что великая тяжба сословия материократов и сословия духократов, казалось уже закончившаяся полным торжеством первых, вдруг опять начала вспыхивать то там, то тут. Многие приваловские коллеги уже баловались церковщиной и вносили в уже вроде бы навечно сформированный рынок неприятный привкус хаоса, запутывая отношения между продавцами и покупателями. Появилась новая лазейка из покупателя стать продавцом. Идеальный порядок монополистической структуры не то, чтобы разрушался, но явно переставал быть идеальным. И что было хуже всего, некоторые вполне уважаемые продавцы старого товара поддались панике, сбились с толку и начали приторговывать новым товаром. Пахло реконструкцией. Слабо, но пахло. Конкурентов надо было давить. Привалов нутром чуял, что опасность может возрасти.

О, он не боялся, что попы возьмут реванш. Поздно спохватились, бродяги. Но Привалов очень правильно боялся, что поповские интриги могут испортить некоторый очень неплохой товар. Так уже было совсем недавно. Вытащили из сундука одного поэта-

космиста, пятьдесят лет о нем не было ни слуху, ни духу. Огромные архивы. На одной только подготовке переизданий можно было лет двадцать урожаем собирать. Но в ряды бригады затесался, невесть как, один слишком уж шустрый оригинал. Пустил по рукам мистический трактат и даже ухитрился тиснуть в толстый журнал биографическую статью, после которой было бы очень затруднительно изображать покойного гения в качестве стихийного материократа. Ну и чем все дело кончилось? Заморозили все производство! Могли заморозить и Свистунова. Вот чего боялся Привалов.

Привалов не любил реформаторов. Они были гады. Сами товар испортят, а потом к диссидентам перебегут. Привалов никуда не хотел перебегать. Не то чтобы ему нравилось очень в красной профессуре. Никаких сантиментов, господь с вами, ребята. И не то чтобы ему страх как не нравилось среди диссидентов. Никаких предрассудков, товарищи, тоже. В общем, ему было все равно. Главное, думал он, быть при капитале. И еще контролировать рынок. Если попы развратят рынок, к примеру, со Свистуновым, то Привалов может разделить судьбу какого-нибудь там Кочетова. Публика окатит его презрением. Привалов даже передернулся весь от этой мысли. Он этого не хотел. Время от времени мысль о такой перспективе уже приходила ему в голову. Наплевать, угваривал он себя, пусть думают, что хотят, ну что мне аутсайдеры. Но он чувствовал, что неискренен сам с собой. Как он ни уверял себя, что деньги и служебное положение важнее, он все же чувствовал, что не в одних деньгах счастье. Если хорошо вдуматься, то и деньги-то нужны нам только для того, чтобы покупать на них кое-что более существенное, а именно любовь. Без любви Привалов жизни себе не представлял. Он относился очень неодобрительно к западной формуле "товар-деньги-товар". Он считал более правильной формулу "деньги-любовь-деньги" или же "любовь-деньги-любовь". В этом смысле он, пожалуй, был поближе к славянофилам.

Так что если Свистунова объявят попом и публика поверит, надо будет решать, подаваться ли вслед за своим товаром или начать войну с узурпаторами. Перспектива не радовала. Мало того, что появился новый архив, а стало быть и новый потенциальный хозяин. Это бы еще пол-беды. Рыбак рыбака видит издалека, можно бы и договориться. В конце концов, Свистунов — глыба, он вынесет и двоих и троих хозяев. Но новый архив дурно пахивал. А это уже дело нешуточное. В борьбу могли вмешаться

гаишники, а эти ребята не будут разбираться, кто белый и кто красный, а могут подрубить сам товар. У них своя игра, своя выгода, свое отношение к любви и к капиталу.

Похоронный фестиваль шел своим чередом, и, наконец, пришло время везти гроб на кладбище. Стали рассаживаться по машинам. Привалов слишком увлекся наблюдением, примечая, кто с кем садится, и вдруг обнаружил, что сам-то остался без места. Он ткнулся к одной, к другой машине, но везде ему говорили "занято", и Привалов уже начал опасаться, не пришлось бы ему бежать за кортежем вприпрыжку. Как вдруг рядом с ним зафырчало, сбоку открылась дверца, из нее выкинулась чья-то рука и буквально втянула Привалова в автомобиль.

Привалов оглядел сидевших в салоне. Один из них был Копытман. Двух других Привалов не знал.

Познакомьтесь, сказал Копытман, за рулем мой сын. Через полтора месяца он уезжает в Израиль. А рядом с вами большой друг покойной, известный артист театра и кино. Он покупает у моего сына машину. А может, вы хотите купить? Может, больше дадите? Шучу.

Все засмеялись. Один Привалов не засмеялся. Он думал о поповских интригах. Беспутин основательно обеспокоил его.

Ехали молча. Перед самым кладбищем Копытман сказал, что скоро и его повезут туда же вперед ногами. Все поняли, что и это шутка, и засмеялись, включая Привалова. Настроение у всех было мрачное, хотя и неизвестно с чего.

Выйдя из машины, они смешались с толпой и потеряли друг друга. Впереди себя Привалов заметил Беспутина и попридержался, чтобы не поровняться с ним. Разговаривать с Беспутинным было бесполезно, да и опасно. Разговор мог перейти в колкости и даже в перебранку. Привалов хотел этого избежать по тактическим соображениям. Да и стыдно как-то браниться на чужих похоронах с незнакомым, считай, человеком.

Но тут Привалов заметил, что Беспутин держит под ручку молодую девушку, тянется снизу вверх к ее ушку и что-то там такое нашептывает. Аспид, подумал Привалов, магнетизер, аспид. И тут Привалова как ударило: да ведь это же никто иная как Юлия, с кем разговаривает сибирский ишак. Беспутин явно обхаживал Юлию.

Привалов прибавил шагу, твердо намереваясь встрять в этот разговор. Но не дойдя двух шагов до забавной пары, задумался и

решил все же подождать. Познакомлюсь я с ней так и так, подумал он, и лучше в отсутствие этого типа. Успеется.

Могила была уже готова. Выволокли гроб и водрузили с краю могилы. Прозвучала одна речь, затем другая и началось подхождение к родственникам. Родственники стояли рядышком сбоку от могилки и жали всем по очереди руки, с некоторыми целовались, с некоторыми подолгу. Между тем стали опускать гроб, замелькали лопаты, посыпалась земля, сперва с деревянным стуком, потом мягче и мягче, и новенький холмик, вырастая на глазах, поднялся на месте черной и неуютной ямы.

Привалов сосредоточился на родственниках. Кувалдин жал всем руки мужественно и кратко. Глаза его были прикрыты и опущены. Кочергина одной рукой здоровалась, а другой придерживала на щеке платочек. Юлия была девушка неземной красоты.

Привалов выждал свою очередь и подошел. Кочергина улыбнулась ему грустной и ласковой улыбкой и при этом толкнула локтем в бок своего мужа. Тот открыл глаза и показал Привалову, что знает, кого он тут сейчас видит, и пообещал не забыть. Юлия пожала ему руку, как и всем остальным, не делая никакой разницы. Привалов хотел было представиться и перекинуться парой слов, но сзади и сбоку напирали, разговор затевать оказалось неловко, пришлось отвалить потихоньку. Привалов сделал шаг в толпу и стал глазами выискивать Копытмана, рассчитывая уехать обратно, как приехал.

Юлию он повидал, и слава богу. На большее рассчитывать теперь не приходилось. Обернувшись пару раз назад, он удостоверился, что толпа помаленьку с кладбища утекает, а родственники покойной, как и надо было ожидать, попали в руки ближайшего окружения, которое теперь будет их тискать и жалеть до завтрашнего утра.

Сзади Привалова зацепил академик. Не торопитесь, дружок, сказал он, не торопитесь уходить, будут поминки. Сейчас мы едем к Кувалдиным на дом.

Привалов пожал плечами и сказал, что его никто не приглашал. Глупости, отвечал на это академик, всех пригласили. Было объявлено, вы, наверное, просто не слышали. Как вам понравилась Юлия?

Очень красивая девушка, сказал Привалов, как видно, богатый генофонд. Она где учится?

Филолог, сказал академик. Богатая семья, положение в обществе обеспечено. Филология — самый естественный род занятий

для красивой девушки из хорошей семьи. Если не спутается с диссидентами, человеком будет. Советую...

Что хотел посоветовать академик, осталось при нем, так как приблизился Копытман, и академик угрюмо замолчал. То есть он сказал: здравствуйте, Соломон Израилевич, ну, как дела у вашего сына, я слышал, что он получил разрешение, слава богу, другим меньше везет. У моей двоюродной сестры племянница получила третий отказ.

Копытман ничего не ответил. Копытман вовсе не был рад, что его сын уезжает. Или делал вид. Черт его разберет. Я, сказал Копытман, собственно, только хотел сказать, что мы можем, Миша, взять вас с собою обратно. Мой сын на поминки не поедет, но нас подвезет. А вам (к академику) есть на чем ехать? А то мы и вас можем. Место есть. Академик согласился, и Копытман остался недоволен. Черт его разберет, подумал Привалов, все-таки странный этот Копытман, сам же пригласил, сам же и недоволен.

Академик ухватился за предложение Копытмана не зря. Ему страсть как хотелось поговорить. Всю дорогу он болтал безумолку про всякую ерунду, а в основном тянул все ту же резину: дескать, в нашем, таком узком, таком замкнутом кругу... Слушать было противно. Привалов не удивился бы, если бы на эту тему распространялся, например, Борис, фотограф. Тому действительно надо. Тот на краю общества, так у него есть настоящая необходимость все время вспоминать, какая он на самом деле интеллигенция-аристократия-демократия. Но академик, академик! Ведь ты, старый леший, академик. А все мало. Он еще интеллигентом хочет быть, и чтоб никто, Боже упаси, не забыл, что он прежде всего интеллигент, а уж потом академик. Ну, что академик. Так, служба. До чего же рабочую публику довели, до чего замордовали. Привалов только покачал головой на это грустное зрелище. Вот, думал он, какую силу черный рынок взял. Скоро и в политбюро не выберут, если ты, Боже упаси, каким-нибудь Вячеславом Ивановым не балуешься. Неужели и Свистунова на черный рынок уволкут? Что же делать? Как бы не просчитаться.

Поминки были у Кувалдиных. Эта квартирка была не чета графининой. Четыре комнаты в центре, просто умопомрачительно. Какими такими путями эта квартирка им досталась, понять было трудно. Привалов даже догадываться не стал. Что есть, то есть. А как и почему, не нашего ума дело. По причине огромного нашествия гостей все комнаты были открыты. Так Привалов все обошел,

ни одной не пропустил. Барахло на него не произвело особенного впечатления. Хорошее, конечно, старье, но в глаза не бросается. Комплектовали, сразу видно, в прошлую эпоху, не гарнитурную, настоящую, чисто мебельную.

Юлька мелькала то там, то тут. Она была очаровательна в длинной плиссированной юбке и сафьяновых сапожках на высоком каблуке. У нее оказались роскошные шелковистые волосы до плеч и изумительной красоты очки с дымчатыми стеклами. Привалов поймал себя на том, что, глядя на нее, глупо ухмыляется и млеет.

Привалов забыл про все на свете. В конце концов специалист не специалист, ученый не ученый, воротила не воротила, но когда тебе немногим больше двадцати пяти, ты же в конце концов еще и просто парнишка. Так что ничего удивительного.

Как бы половчее с ней познакомиться? Привалов вспомнил, как лет десять назад он одно время ходил на танцы и попытался оживить в памяти, какие он там перед девушками выделывал позиции и фигуры. Но все забылось, да и не подошло бы к случаю. На танцах, когда тебе девятнадцать лет, ты как есть парнишка, так и есть парнишка. А тут — профессура кругом — не продохнуть, да еще поминки, да еще дело важное. При воспоминании о деле Привалова чуть не стошнило. Он даже испугался, но тотчас взял себя в руки.

Если с точки зрения дела, то нужно знакомиться через Копытмана или академика. Беспутина надо элиминировать. Он не должен отбрасывать на меня тень. Он будет в другом лагере, но она пока не должна это знать. А если мы подойдем к ней вместе, она сразу заметит, что между нами неприязнь. Женщины такие вещи видят отлично.

Привалов поискал глазами Копытмана, но тут ему не повезло. Копытман как будто нарочно о чем-то шептался с Беспутинным. Пара выглядела комично, но Привалову было не до смеха. Он поискал академика, но того что-то не было видно. И тут взгляд Привалова упал на фотографа. Привалов оживился. Ты мне и нужен, сказал он себе. В конце концов, знакомства молодых людей дело молодежное и надо его решать среди молодежи.

Фотограф тоже заметил Привалова, и они сошлись. Познакомьте-ка меня с Юлией, сразу сказал Привалов. Фотограф был уже сильно навеселе, широко ухмылялся, был готов ко всяческим услугам и, встав на цыпочки, помахал рукой над головами собра-

вшихся и довольно-таки громко для данной ситуации позвал Юлию.

Юлия подскочила, пожалала фотографа за локоток, чмокнула его в щеку и поворочилась к Привалову.

Привалов старался казаться как можно красивее и даже поклонился, чему, вообще говоря, был не обучен и чего, кажется, никогда не делал. Привалов, назвалса он и тихо добавил, Михаил.

Мишка, объяснил фотограф, а это Юлька, гусыня. Он взял из рук Юлии рюмку с вином и допил.

Противный, сказала Юлия и вновь обернулась к Привалову. Привалов, Привалов, подумала она вслух. Ага, вспомнила. Вы, значит, и есть тот самый знаменитый Привалов?

Я не знаменитый, сдавленным голосом отвечал Привалов, я совершенно еще не знаменитый.

Как же не знаменитый, когда знаменитый. Вы же крупнейший знаток Свистунова. А Свистунов знаменитый. Стало быть, и вы знаменитый.

Ну, если так, помялся Привалов. Так, так, перебила Юлия, как же еще? Но не вы один, не вы один, погрозила она пальцем смутившемуся Привалову, я тоже скоро знаменита буду.

Ты — будешь, загоготал фотограф. Оторва. Теперь-то уж никто тебе не помешает.

Дурак, отвечала Юлия. Я бабушку очень любила, я ее слушалась, я ее и сейчас слушаться буду, хотя она, бедняжка, и умерла так некстати. И я выполню ее последнюю волю. Вы, наверное, не понимаете, о чем наш разговор, обернулась она к Привалову.

Привалов молчал, опасаясь показать, что знает. Но и врать не хотел. Юлия была так прелестна, так прелестна, что ему не хотелось ее обманывать. Успеется еще, подумалось ему. Не надо пока ничего врать. Авось, и не понадобится.

Я вам сейчас все объясню, продолжала Юлия. Дело в том, что у нас огромный архив поэта Свистунова, ну да, того самого, вашего. Мы ведь его потомки. Не прямые, конечно, у него детей не было, он бедняжка в 37-м сгорел, не успел жениться. Но все-таки потомки и наследники. Я только недавно все это узнала. Представляете, они мне ничего не говорили. Они вообще никому ничего не говорили. Это была тайна. Ой, какая тайна! Мой прямой дед был братом Свистунова по отцу, а сам он в Чека служил. Ой, это было так романтично, так романтично. Трудно поверить, что все это произошло в нашем веке.

Я знаю, я знаю, решился Привалов. Соломон Израилевич мне об этом сообщил. Это чудо как интересно. Я надеюсь вы мне это все покажете? Вам нужна помощь? Привалову вдруг так захотелось помочь этой девушке: она была изумительно хороша, просто неподражаема. У Привалова взмокли виски.

Юлия хитро сощурилась. Вы думаете, что я не справлюсь сама, спросила она, надув губки. Нет, справлюсь.

Но вдвоем легче, стараясь быть убедительным сказал Привалов. Он чувствовал страшный прилив сил. Он должен был убедить ее во что бы то ни стало. Он открыл рот, чтобы продолжать, но в этот момент в толпе, наполнявшей кувалдинские комнаты, вдруг произошли какие-то движения, все люди вдруг стали как-то перемещаться, и молодые люди оказались оттерты друг от друга. С Приваловым кто-то заговорил, кто-то другой зацепил Юлию, и больше им в этот вечер беседовать не пришлось, хотя несколько раз они проходили близко друг от друга и весело смеялись, заглядывая на расстоянии друг другу в глаза. Однажды Юлия помахала рукой и, сняв свои невероятные очки, подмигнула Привалову.

Привалов переживал подъем. Желание во что бы то ни стало помочь Юлии в работе росло с каждой минутой и уже обжигало сердце. Он ходил сам не свой, заглядывая с замиранием в будущее, которое теперь преобразилось, утратило определенность, но зато сияло неземной красотой. Все было ясно.

Ночью он крепко и легко спал и долго бы не проснулся, но его разбудил телефон. Это был Копытман. Копытман долго хрипел и кашлял в трубку, так что трубка дрожала, и наконец сказал, что все: слух о последней воле графини пущен, причем настолько успешно, что в тот же вечер на поминках он дважды к нему, Копытману возвращался. Я, добавил Копытман, оба раза пустил его обратно, так что можете считать, что я пустил его трижды.

Не рано ли, промямлил Привалов, почесываясь и сладко зевая, подождали бы немного, все ж таки старушку только что закопали, а уже начинаются интриги над свежей могилкой. Привалов ласково сказал "старушка" и тут же поймал себя на этом. А поймав, тихо улыбнулся каким-то своим неопределенным мыслям.

Копытман усмехнулся и сказал, что нисколько это не рано. Имуущество делить будут очень скоро. Имуущество и так передержали. К тому же время сейчас бурное, столица кишит диссидентами, вот говорят, что какие-то несогласные художники опять бульдозер поломали, если так продолжаться будет. то и совсем без

бульдозеров останемся, как дороги-то строить будем, опять, что ли, народ под стражу загонять прикажете? Нет-нет, батенька, и нет. Надо торопиться. Вы видели, что за народ возле Юлии увивается? Вы думаете, я напрасно своего сына на похороны приволок? Чего он там не видал? А он мне публику обсмотрел и говорит, что видел двух отказников, двух вообще антисоветчиков и одного торговца картинками. Это ее компания. Мой-то только пальцем на них указал, а я уж посмотрел, как они с Юлией обращаются. Хуже некуда, вот что я скажу.

Значит, она точно собирается архив налево пустить, пришел несколько в себя Привалов. Ай-ай-ай, как нехорошо. Я со своей стороны тоже сделал одно наблюдение. Знаете Беспутина? Он явно зарится на архив. Намекает, что был со старушкой в интимнейших отношениях и даже что она будто бы в сторону православия подаваться начала и что у Свистунова тоже были какие-то искания по божественной части.

Копытман даже зарычал, так рассердился. Бэлла Моисеевна в православие? Вот ксендзы проклятые, что делают, а? Совсем обнаглели. Нет, не хотим таких союзников. Но если серьезно — то это очень плохо. Беспутин, черт, влиятельный. Он на женщин влияние имеет. На Юлию, конечно, вряд ли, но вот как насчет мамыши? Вы ничего не заметили?

Нет, не заметил. Вообще его позиции мне неясны, но что он настроен очень по-военному, я заметил. Ведет он себя уверенно.

Это ничего не значит, отмахнулся Копытман. Ну ладно, мы на него управу найдем. Кстати, хочу вас предупредить, что к вам зайдет один человек, вы с ним поговорите внимательно, это может оказаться важным. Он из компании моего сына. Его зовут Фрадкин. Он должен позвонить сегодня.

Этот новый Фрадкин, как будто подслушивал, позвонил через пять минут. Страшно картавя и заикаясь, он сообщил, что преподает русскую литературу в ШРМ и попросился в гости по важному делу. Привалов позвал его на сегодня на вечер.

Вечером Фрадкин явился и поставил Привалова в тупик. Из его сбивчивых объяснений Привалов понял, что Фрадкин сионист, что русской литературой он занимается просто потому, что его в университет не приняли. Но он не может жить без гуманитарных наук. Поэтому он кончил Московский областной пединститут. Теперь работает в ШРМ, лучшей работы для него не нашлось: в аспирантуру не берут, к архивам не допускают. Скоро он собира-

ется подать в Израиль, а пока изучает еврейских писателей на русском языке. Вот недавно написал для самиздата о сионистских мотивах у Вениамина Каверина.

Привалов внутренне поморщился. Тоже нашел еврея, подумал он, и, не удержавшись, даже спросил, где это Фрадкин отыскивал у Каверина сионизм.

У всех русских евреев есть в творчестве еврейские мотивы, непреклонно сказал Фрадкин. Надо только поискать. Половина русских писателей были евреи. В том числе и Свистунов. Вот по этому поводу я и пришел.

Вот псих, подумал Привалов и несколько оробел. Нерешительным голосом он сказал, что знает творчество Свистунова, наверное, лучше, чем кто-либо другой, и ничего такого не замечал. Свистунов был вполне русский писатель.

Мать Свистунова была еврейка, твердо сказал Фрадкин. Вообще, я удивляюсь, как можно игнорировать столь важный факт. И не вам бы это делать. Ведь вы и сам еврей, в том смысле, что ваша прабабушка была еврейка. Нельзя же до такой степени не помнить родства.

Привалов искренне возмутился. Ну знаете, сказал он, если покопаться, то московская интеллигенция, а тем более ленинградская вся не русская: там либо евреи, либо татары, либо немцы, либо поляки, в общем кого там только нет. Нельзя же так, в самом деле.

Мы говорим на разных языках, мрачно обобщил Фрадкин. Ну ладно, если вы считаете, что вы не еврей, то пусть будет так. В конце концов, это дело вашей совести. Но за Свистунова решать вам никто не дал права. Свистунов был еврей.

Привалов тяжело вздохнул. Нет, нельзя сдаваться, подумал он, это уж против всякого здравого смысла. Бесштанники совсем озверели. Только что, терпеливо начал он, меня один человек уверял, что Свистунов был православный философ. Теперь вы меня уверяете, что он был сионист. Говорю вам, он не был ни то, ни другое. Ей богу, он был просто русский модернист, а потом стал официальным писателем, ну ладно, я готов признать, что в конце концов он стал антисоветским писателем. Может, этого хватит? В конце концов, я наизусть все, что он написал, знаю. Я изучал его профессионально. К тому же я владелец свистуновского архива. Поверьте мне.

Но Фрадкин верить не хотел. У него были основания. Есть еще один свистуновский архив, сказал он.

А что вы про него знаете? Из него еще ничего не обнаружено. Уж я готов больше поверить, что он там православием баловался, хотя и это скорее всего чепуха. Но о чем вообще говорить, когда никто этих документов не видел. Дайте хоть сперва разобраться.

Разобраться можно по-разному, не унимался маленький сионист, если все это попадет в руки, например, Беспутину, то, конечно, творчество Свистунова будет окончательно извращено. Вот я и пришел с вами поговорить, как бы это сделать так, чтобы Беспутин до этого архива не добрался.

Привалов вспомнил, что ему говорил утром по телефону Копытман. Ах так, сказал он. Ну это совсем другое дело. Беспутина туда подпускать нельзя. У вас есть какие-то идеи?

Если вы мне обещаете, что не станете скрывать от общественности еврейских мотивов в творчестве Свистунова, то я готов вам помочь обезвредить Беспутину. Ну как, договоримся?

Обещать-то я могу, но если там еврейских мотивов не окажется? Привалову ничего не стоило пообещать. Выполнять обещания не было никакой необходимости. Он только хотел создать у Фрадкина впечатление, что относится к его интриге всерьез. Кроме того, самоуверенность Фрадкина слегка сбила его с толку. А вдруг и в самом деле Свистунов в минуту отчаяния и в предвидении близкого конца вспомнил, что он еврей? Это было бы очень некстати. Привалов быстро-быстро соображал. Получалось так. Если Свистунов в новом архиве обернется евреем, то это очень плохо. Очень несвоевременно. Но загнать эту версию в бутылку будет нетрудно. Православие — лучше, не так опасно в идеологическом плане, но гораздо хуже в личном плане. Придется иметь дело с гораздо более сильными конкурентами. Репутация православного не испортит или почти не испортит кондиции Свистунова как основного фонда, но бороться за контроль над этим фондом придется с очень сильными людьми. Если же новый Свистунов обернется евреем, то ему грозит ускоренный моральный износ. На черном рынке что православие, что еврейство — нет разницы. Там и то, и то капитал. Но Привалов всей душой инстинктивно отталкивался от черного рынка. У Привалова была простая доктрина: черный рынок исключительно для души, то есть только как приложение к официальному статусу. Государственное значение Свистунова должно быть сохранено во что бы то ни стало.

Пока он все это соображал, Фрадкин разорялся. Привалов только уловил общий смысл: Фрадкин твердо верит, что еврейские мотивы у Свистунова найдутся, если хорошо поискать, и хочет связать Привалова некоторым союзом, который потом обеспечит ему доступ к этим мотивам.

Хорошо, сказал Привалов. Отдам я вам эти еврейские мотивы, пользуйтесь. Может, между прочим, это поможет вам в Израиль уехать.

В Израиль я и так уеду. Тут другое. Не могу же я с пустыми руками ехать, согласился неожиданно легко Фрадкин. Знаете, физикам хорошо, они везде нужны. А гуманитариям гораздо хуже.

Логика Фрадкина показалась Привалову вполне естественной. Он, правда, плохо себе представлял, как долго сможет Фрадкин кормиться Свистуновым в Израиле, но черт их знает. Если там с этими делами, как у нас, то можно будет и в Израиле Свистуновым пробавляться. Его дело. Мне на это наплевать. Израиль далеко, и там они пусть шьют Свистунову сионизм сколько их душе угодно.

Я понимаю, я понимаю, задумчиво сказал Привалов. Хорошо. Вы правы, вы правы, надо устранить Беспутина. Вы случайно не знаете, его не собираются посадить?

Фрадкин хитро прищурился. Посадить его вряд ли возможно. Но дать ему хорошего пинка можно. У меня кое-что на него есть. Что вы, например, скажете на то, что он работал во время войны с немцами, а?

Привалов встрепнулся. Seriously? Скажи пожалуйста. Когда же это он успел? Сколько ему теперь лет? Пятьдесят? Да, в самом деле, мог вполне. А у вас что же, есть доказательства?

Есть, сказал Фрадкин. Моя родная тетя – живой свидетель. И у нее фотографии есть. Моя тетя из Чернигова.

Новость радовала. Служба немцам все еще почиталась за позор даже в богеме. И даже более того, богема особо настаивала, что не одобряет власовцев и полицаев, чтобы показать свою объективность и заодно чтобы выбить из рук у властей лишний козырь. Отличная новость, сказал Привалов. Вы давно это знаете?

Не так чтобы очень, но не со вчера, признался Фрадкин. Я сперва не хотел Беспутину анкету портить. Все ж таки он вроде как бы под государство копает. Но когда я узнал, что он подбирается к свистуновскому архиву, я решил, что щадить его не имеет смысла.

А вас не смущает, что вы, может, человеку в лагерь поможете

устроиться? Сейчас это, пожалуй, уже не так почтенно, а? Даже принимая во внимание, что на нем такой очевидно нехороший поступок висит. Привалов не любил пачкать руки. Он понимал, что эффективность доносов в новую эпоху резко понизилась, да и вообще был убежден, что донос – палка о двух концах. Одним концом подарит, а другим ударит.

Фрадкин радостно засмеялся. Весь фокус в том, сказал он, что для государства это, пожалуй, и не новость. Беспутин после войны уже отсидел. Правда, он отсидел ни за что, а просто за то, что был в оккупации. Но все ж таки отсидел. К тому же, работал он у немцев писарем и ничего другого за ним не числится. Так что мы нисколько ему не повредим, понимаете? Мы его просто из общества выкинем и все тут.

Привалов несказанно обрадовался, узнав, что предстоит вовсе не донос, а простая интрига. Ну отлично, отлично, сказал он, что же вы сразу все как следует не объяснили. Сам Бог велел в таком случае этого прохиндея высечь. Пускайте слух, а я буду подтверждать. Ссылайтесь на меня, дескать, что мне тоже это известно. И если мы таким образом отобьемся от попов, то все сионистские мотивы – ваши. Если найдете – берите. Но чур, из моих рук.

Из чьих же еще, уныло согласился Фрадкин, меня туда близко не подпустят. Значит, договорились?

Конечно, договорились, сказал Привалов. Они поговорили еще около часа о литературе и нежно попрощались. Привалов тут же позвонил Копытману, поблагодарил его, объяснил за что, и оба они долго смеялись. Выходило действительно-таки смешно.

На следующей неделе позвонила Кочергина-Кувалдина и попросила Привалова прийти в гости. В субботу, сказала она, покойной Бэлле исполнилось бы семьдесят два года. Будет наша семья и несколько близких людей. Мы надеемся, что и вы придете.

Неприменно приду, сказал даже с некоторой страстью Привалов, и тут же начал готовиться к предстоящему визиту. Интересно, думал он, дошел ли до них слух о последней воле графини. Он знал, что слух пущен основательно. Уже некоторые люди, встречая его, прямо говорили, что ничего другого и не ожидали, что желают ему удачи в освоении новой целины. Другие не говорили ничего, но по их улучшившемуся или ухудшившемуся отношению к себе чувствительный Привалов заметил, что и они в курсе последней литературной новости. Как-то отнесутся к этому у Кувалдиных,

думал он, и в глазах его при этом всплывал образ чудесной Юлии в отличных дымчатых очках.

Настала долгожданная пятница. Привалов прилетел в уже знакомую ему квартиру, где его на этот раз чинно и внимательно представили собравшимся, среди которых были и некоторые знакомые, академик с лошадиной фамилией, Копытман, фотограф, приглашенный для устройства бара, и Беспутин. Привалов расстроился. Либо еще не знают, либо наплевали, думал он. Скорее последнее. Должны вроде бы знать. Не в деревне, чай, живут. Вот проклятая широта кругозора. Все позабывают, шакалы. Ни стыда, ни совести.

Но то, что произошло в дальнейшем, показало, что Привалов на этот раз ошибся. Впрочем, сначала все показалось ему очень плохо. Беспутин вел себя развязно и самым опасным образом. Он подолгу и очень вольно разговаривал с самой хозяйкой, и было件нятно, что его главные позиции именно на этом участке семьи. Привалову даже померещилось, что Беспутин за Ниной Николаевной просто-напросто приволакивается, и ему стало обидно за честного Кувалдина. Кувалдин со всеми держался вежливо, но был какой-то сонный, и Привалов сообразил, что глава семьи относится к светской деятельности жены и дочери без всякого энтузиазма, душой он на работе, тут ему делать нечего и только семейное положение обязывает.

Беседа вилась в основном вокруг интеллигентных сюжетов и общих знакомых. Всем было в меру интересно и каждому было что сказать. Говорили по очереди и друг друга не слушали; разве что первую фразу. Много ели. Фотограф много пил. Беспутин делал вид, что не пьет, но Привалов заметил, что он просто выхлестывает свою водку незаметно для других. Кувалдин сходу выпил несколько больших рюмок, потом больше не пил и, казалось, заснул окончательно. Голова его ушла в плечи, и он замолк. Юлия с другой стороны поглядывала на Привалова и посмеивалась, по-юношески прикладывая два пальца к губам, когда смеялась. Смеялась же она неизвестно чему, может быть, своим собственным мыслям.

Привалов терпеливо ждал, когда кончится общее застолье и можно будет приятно поговорить со всеми членами семейства. Но в самый разгар разговора Кувалдин вдруг поднял голову и спросил, где же еще два приглашенных. Тут Привалов вдруг увидел, что два стула за столом свободны, причем один даже рядом с

ним. Кого-то ждут еще, подумал он, кто-то опаздывает. Интересно, кто.

Кувалдин спохватился как раз во-время, потому что тут же раздался звонок в дверь, Юлия побежала открыть и вернулась, сопровождаемая довольно-таки примечательной парой наподобие Пата и Паташона. Коротышку Привалов узнал сразу. Это был маленький сионист Фрадкин. Ему здесь быть не полагалось. Привалов украдкой глянул через стол на сидевшего напротив Копытмана, и тот глазами подтвердил возникшую у Привалова догадку. Было ясно, что для Фрадкина этот визит организовал Копытман. Привалов понял, что Копытман плетет интригу и что на сегодня, может быть, заготовлен маленький скандал. А, может быть, и не маленький.

Второй гость был худ и долговяз и представился как знаменитый специалист по Ван-Гогу. Это был импрессионист, которого Привалов отметил для себя в то время, когда только еще планировал проникновение в кувалдинскую семью. Импрессионист здорово набрался от французов за долгие годы специальных занятий и вел себя приблизительно средне между Фернанделем и Жераром Филипом, хотя усы у него были как у Бальзака. И одет он был во все французское. Казалось, вот-вот и заговорит по-французски, что отчасти и оправдалось впоследствии. Роль француза искусствовед выполнял честно.

Сперва Привалов подумал, что два новых гостя пришли врозь и столкнулись в дверях, но после нескольких фраз и телодвижений понял, что ошибся. Они пришли вместе. И, как видно, их связывало что-то весьма существенное. Все это показалось Привалову не совсем обычным, несколько даже искусственным, и Привалов стал ждать, куда эта ситуация повернется.

А Фрадкин как сел, так сразу уставился на Беспутину и ни на кого больше не глядел. Несколько раз он открывал рот что-то сказать, но француз делал ему знак, и Фрадкин закрывался. Привалов сгорал от нетерпения. Копытман хочет разоблачить Беспутину публично, мелькнула у него мысль. Вот дает! Зачем это? Привалову даже стало немного жалко Беспутину. В конце концов, думал он, можно было бы обойтись и без мелодрамы. Начитался старик Достоевского.

Между тем Копытман взял застольный разговор в свои руки. Жаль, что Бэлла Моисеевна умерла так неожиданно, сказал он с растяжкой. Насколько нам известно, она как раз готовилась к

тому, чтобы обнародовать некоторые документы из принадлежащего ей архива. Не будет преувеличением сказать, что мы накануне новой важной эпохи в области культуры. Все знают, о чем я говорю. Значение Свистунова для нашей духовной жизни огромно. Даже то, что мы уже знаем о нем, благодаря Мише Привалову, позволяет считать покойного поэта одной из ключевых фигур нашего времени. Новые же материалы будут в любом случае сенсационны.

Беспутин клюнул первым. Он оторвался от еды, поспешно проглотил то, что у него было во рту, допил рюмку, вытер салфеткой губы и сказал, что Копытман, разумеется, прав. Важно и поучительно, сказал Беспутин, что покойный поэт в последние годы жизни очень сильно тяготел к религиозной тематике. По традиции его ставят рядом с Маяковским, продолжал Беспутин, но теперь у нас будут все основания поместить его рядом с Волошиным и (он глянул на Копытмана, потом на расово несомненного Фрадкина) и добавил в их пользу: и Мандельштама.

Все смотрели с любопытством. Даже Кувалдин проснулся. Привалов решил, что должен подать голос. Вероятно, Бэлла Моисеевна вам что-то показывала из своего архива, сказал он, стараясь говорить как можно более безразличным голосом, значит у вас есть какие-то основания так утверждать. Но я позволю себе усомниться. Из того, что нам уже известно о Свистунове, скорее можно предположить... Он глянул приветливо на Фрадкина, но договаривать не стал. Я думаю, сказал он, что только специалисты могут правильно интерпретировать творчество Свистунова. Разумеется, он был человек многосторонний, чтобы не сказать противоречивый, и в его творчестве можно обнаружить разные тенденции, особенно если хотеть их обнаружить.

Мне известно гораздо больше, чем вы думаете, почти перебил его Беспутин. Например, я знаю, что Свистунов в 1935 году крестился.

Над столом повисло тяжелое молчание. Ммммм... сказал неожиданно, казалось, безразличный ко всему Кувалдин, ммм, а какое, простите, это имеет значение? И он пожал плечами, давая этим понять, что для него крестился не крестился — один черт. Подумаешь, дело.

Все ждали, что ответит Беспутин. Привалов быстро пробежал взглядом по лицам. Академик идиотски ухмылялся. Ему на все было наплевать, ему было просто любопытно. Копытман прикрыл

глаза и слегка даже отодвинулся от стола, давая понять, что его все это не касается. В подтверждение этого он постукивал вилкой по столу. Фотограф во все глаза уставился на свою тетушку. Как видно, ему интереснее всего было, что она скажет. Импрессионист смотрел на Беспутина тяжело и угрюмо, как будто хотел его сплющить в лепешку. Фрадкин, наоборот, смотрел на того же Беспутина так, будто хотел его испепелить. Двое неизвестных смотрели на Кувалдина скорее неодобрительно, как бы ожидая от него более серьезного отпора. Юлия же смотрела на Привалова, закусив губу и едва сдерживаясь от смеха. Все молчали и с каждой секундой молчание делалось все более неловким. Никто не знал, что сказать, и этим воспользовался маленький Фрадкин.

У вас нет морального права вообще касаться русской литературы, дрожащим голосом сказал он.

Беспутин повернул к нему голову и глянул на него так, что Фрадкин чуть не упал со стула. Беспутин был силен. Но в две секунды Фрадкин оправился. Он вскочил на ноги и выбросил указательный палец левой руки в сторону своего врага. Вы, сказал он, вы, который в годы войны сотрудничал с немцами, должны вообще...

Юлия икнула, Копытман вовсе закрыл глаза, фотограф вскочил из-за стола и схватился за бутылку коньяка, стоявшую рядом на журнальном столике, француз вытянул шею в сторону Беспутина, как будто хотел того ужалить, Привалов замер и окаменел. Академик сказал "огого" и глаза у него загорелись пуще прежнего.

Беспутин весь потемнел. Что за брехня? — спросил он, пожирая Фрадкина глазами. Кто это вам сказал? Вы что, спятили?

Нет, твердо отвечал Фрадкин, я ни в коем случае не спятил. Вас видели. И свидетели есть.

Какие еще свидетели? Нет, он положительно сошел с ума, театральным басом сказал Беспутин. Нина Николаевна, вы должны сказать ему выйти отсюда. Он хочет скандала. Я готов, я готов, но это, Нина Николаевна, никуда не годится. Это что же такое будет, а? Это будет прямое надругательство над памятью покойной, да и нашего великого поэта в придачу. Как хотите, а это надо прекратить.

Кочергина сидела, как жердь, и каменно улыбалась. Она явно не знала, что делать. Все молчали. Господа, наконец сказала Кочергина почти хрипло, в самом деле, перестаньте ссориться. Не время, господа.

Нет время, нет время, возразил Фрадкин. Самое время объясниться. Не думайте, господа, что я пришел сюда просто водку пить. Я пришел сюда с тайной и важной целью разоблачить человека, который обманывает всех нас, скрывая свое прошлое. Не верьте ему, господа, прошу вас, не верьте. О, я знаю, многие среди вас искренне верят, что он диссидент, ну и все такое прочее в этом роде, но ничего нет более далекого от истины.

Заставьте замолчать этого жиденка, угрюмо сказал побагровевший Беспутин. Все остолбенели. Даже Юлия перестала смеяться и закусила нижнюю губу так, что побледнела. У Кувалдина дернулся и закрылся один глаз. На лице Нины Николаевны появилась растерянная улыбка.

Беспутин вскочил. Нет, нет, не думайте, я знаю, о чем вы все сейчас думаете, неожиданно визгливым голосом заговорил он. Я знаю, вы теперь полагаете, что я антисемит, жидофоб. Но это не правда. Я люблю евреев, я сам некоторым образом еврей, во всяком случае у меня лучшие друзья евреи, профессор Воскобойников, например, я и еще кое-кого мог бы назвать. Наконец, покойная Бэлла Моисеевна, она кто, по-вашему, была, а?

Мы очень рады и счастливы, заговорил вдруг молчавший до сих пор Копытман, что вы, Валериан Федосеевич, нас любите. Это почти ко всем нам относится. Мы ведь тут, повел Копытман рукой, все немножко евреи. Или уж во всяком случае юдофилы, а я так даже и то, и другое, а Гриша Фрадкин еще дальше пошел, он даже сионист. Но, Валериан Федосеевич, повысил голос Копытман, не надо говорить, что вы сами еврей, не надо, господин Беспутин, это нехорошо.

Я докажу, дрожащим голосом сказал Беспутин, у меня есть доказательства, я из Черниговской области, например. Ну что? Мало? Я и еще могу представить. Не сейчас, позже, но представлю и даже непременно. Вы все еще увидите.

Совсем спятил, сочувственно подумал Привалов. А нервы-то у тебя того. Значит, Фрадкин прав. Вот как отлично получается. Привалову с каждой минутой становилось яснее, что Беспутину сейчас из игры вышибут. Привалову даже на минуту стало стыдно, что он принимал такого противника всерьез. Нет, подумал он, рано еще черному рынку с нами тягаться. Пуд соли, голубчики, съедите, пока у нас наше отобрать сумеете, да и сумеете ли когда-нибудь.

А вот мы сейчас посмотрим, что мы увидим, раздался спокой-

ный и иронический баритон. Все слегка вздрогнули и поворотились в сторону этого голоса, включая и самого Беспутина. Позвольте мне, продолжал француз-импрессионист, предоставить вам некоторую интересную информацию, касающуюся до этого человека. Только что, милостивый государь, кивнул француз головой в сторону Беспутина, вы изволили нам сообщить, что вы из Черниговской области. Это бы само по себе еще ничего было бы, да ведь, милостивый государь, раньше всегда считалось, что вы из Сибири пришли.

Произнося это, баритон встал и отошел в угол гостиной, как видно, затем, чтобы все могли его лучше видеть. Стало быть, продолжал баритон, вы из Сибири, не так ли? Чудесный край – Сибирь, нетронутый, первозданный. И это, уважаемый господин Беспутин, было бы само по себе не так уж плохо. Но согласитесь сами, получается некоторое расхождение фактов. С одной стороны, вы из Черниговской области, но с другой стороны, из Сибири. Как же так?

Баритон перестал глядеть специально на Беспутина и обращался уже ко всем присутствующим. А все объясняется очень просто, господа. Господин Беспутин и там, и там побывал. Родился-то он в Черниговской области и был там во время войны, а потом вдруг оказался в Сибири. Как так, спросите, почему? Проще пареной репы. Господин Беспутин служил немцам, вот в чем дело, за что и проследовал до Сибири, а уж там он начал новую жизнь.

Но это не все. Имеются и более детальные материалы. Вот, товарищ Фрадкин располагает живым свидетелем, его собственной тетей. Тетя узнала господина Беспутина в прошлом году. Она узнала его в очереди за бананами. Она обратила внимание на этого господина, потому что он бананы без очереди взять хотел. Так ведь было, Григорий Ильич?

Но и это не все. Мы имеем еще одного свидетеля. Этот свидетель – гражданин французской республики, мой личный друг по имени де Кюстин. С этим товарищем произошла странная история. Долгие годы он был советским агентом во Франции. В этой роли он проник во французское посольство в Польше. После завоевания немцами Польши он растворился в местном населении и перешел на положение партизана. Был взят в плен, откуда его вызволила влюбившаяся в него немка. Ей понадобился работник, и она его выкупила или там взяла на поруки, это я забыл, де Кюстин говорил мне, но я забыл. Впрочем, это не важно. Так или иначе де Кюстин

оказался на свободе, относительной, конечно. Ему однако это показалось мало. Ему хотелось абсолютной свободы, и он убежал. Лесами и перелесками, от одной партизанской группы к другой, так или иначе он добрался до Черниговской области. Ему повезло: он знал все необходимые языки — и польский, и немецкий, и русский. Вообще, это очень увлекательная история, полная всяких приключений. Теперь де Кюстин как раз написал мемуары. Читается с огромным увлечением, оторваться невозможно. Рокамболь. Кстати, будет в следующем месяце опубликовано в журнале "Октябрь".

Француз прокашлялся и сделал паузу. Никто не вставил ни слова. Отпив из фужера пива, француз продолжал. И вот де Кюстин в Черниговской области. Сначала партизаны отнесли к нему с недоверием, но он сказал командиру свою агентурную кличку "маркиз", командир запросил центр, оттуда поступил недвусмысленный сигнал, и де Кюстин был принят в сообщество партизан с распростертыми объятиями. Он оказался ценным приобретением, ведь он знал немецкий язык, что в то время на нашей стороне было редкостью. Де Кюстина использовали для всяких тонких партизанских интриг. Как раз во время одной такой интриги и произошло интересующее нас событие. В то утро де Кюстин был одет в немецкую форму и отправлен в немецкий штаб спросить, когда через станцию Сакраментовка пройдет гитлеровский состав с боеприпасами до Орла. Спросить нужно было по-немецки, так как иначе противник мог бы заподозрить неладное. Де Кюстин вошел в штаб. Там не было никого, кроме писаря в форме полиция, который, вероятно, дежурил у телефона. Де Кюстин задал свой вопрос. К несчастью, писарь был только что нанят на работу и плохо знал немецкий, то есть не отличал его от некоторых других языков. Ему показалось, что де Кюстин говорит по-французски. Он просил де Кюстина минуточку подождать, а сам побежал за немцами. Приведя двух дюжих немцев, он указал пальцем на де Кюстина и, глядя на него с ненавистью, сказал: арестуйте его, это француз.

Импрессионист отпил еще пива и продолжал. Так де Кюстин второй раз попал в плен. И произошло это по милости вот этого товарища.

Все головы повернулись к Беспутину. Беспутин зарычал, как зверь, и кинулся на искусствоведа с кулаками, но на нем повис

фотограф. Это клевета, кричал Беспутин, я вам этого не прощу, вы хотите погубить мою репутацию.

Вы сами погубили свою репутацию, строго сказал Фрадкин. Мы здесь, как говорится, совершенно не при чем.

После этого все заахали, встали со своих мест и стали ходить вокруг стола, не зная куда деваться. Беспутин наконец скинул с себя фотографа. Да отвяжитесь вы ради бога, сказал он, не буду я его трогать, хрен с ним, с собакой, пусть живет.

Кувалдин повернулся к Беспутину. Валериан Федосеевич, тихо сказал он, вы можете что-нибудь сказать в свое оправдание?

Я могу сказать то, отвечал Беспутин, что пожили бы сами в моей шкуре. Кому подышать-то охота? Небось сами-то не то что писарем пошли бы работать, а и в зондеркоманду записались бы. Теперь легко говорить. Вам что — вы в теплом доме родились, да еще небось и с ванной комнатой. А я всю жизнь за свой живот боролся: только бы не подохнуть. Вы только родились и уже интеллигент, а мне, чтобы в интеллигенцию пробиться, семь потов спустить пришлось. Да разве сквозь вашего брата пробьешься. Креста на вас нет, бумажные вы души.

Достаточно, достаточно, схватилась за голову Нина Николаевна Кочергина, замолчите же вы наконец, я не могу, не хочу, наконец, я не желаю все это слушать. Валериан Федосеевич, покойная Бэлла Моисеевна ввела вас в дом как культурного человека, она вам доверяла, через нее и я вам поверила. Боже, как мы все ошибались. Прошу вас, покиньте наш дом по-хорошему.

Беспутин побледнел. Он все еще надеялся, что его полицейское прошлое сойдет ему с рук. В конце концов, что было, то сплыло, Кувалдины люди культурные, широких взглядов, пошумят, побранят, да и забудут. Все это в принципе можно было бы и как свое же несчастье изобразить. Еще и жалеть потом будут.

Но Беспутин просчитался, думал Привалов. Кувалдиным, может, на все это наплевать, но не могут же они допустить, чтобы публика разнюхала про их дружбу с бывшим полицейским. Капут тебе, Беспутин, решил Привалов. Ну и хорошо, туда тебе и дорога. Нечего с кувшинным рылом. Ступай, откуда пришел. Хошь в Сибирь, хошь в Черниговскую.

Но Беспутин еще не хотел уходить. Он повернулся к Кувалдину. Ваша матушка, сказал он, была мне истинной благодетельницей. Она была истинная христианка, даром что лицо еврейской национальности. Так неужели же вы допустите, чтобы авантюристы с

сионистским душком выжили бы из вашего дома честного русского человека.

Я не еврей, поспешил заметить импрессионист, это вы уж бог знает что такое загибаете.

Да я и не про вас, поморщился Беспутин, а вот про этого. Он свирепо поглядел на Фрадкина, так что Фрадкин опять чуть не упал. Но он опять взял себя в руки и, ощерившись как сердитый шенок-фокстерьер, сжал кулаки и принял боксерскую стойку. Беспутин неожиданно потерял самообладание и бросился на него. Но Фрадкин оказался не промах. Он ловко засадил два раза Беспутину в глаз прежде, чем тот успел его захватить в клинч. Но все же захватил, несмотря на сноровку оказавшегося неплохим боксером сиониста. Началась настоящая рукопашная. Борцы навалились на стол, сметая телами посуду. Зазвенели упавшие столовые приборы, поползла набок скатерть, с хрустальным звоном разбилась пара фужеров, народ кинулся в разные стороны. Начался настоящий кавардак.

В моем доме, в моем доме, причитала Нина Николаевна Кочергина, академик крикнул несколько раз во все легкие, чтобы немедленно прекратили, Кувалдин высунулся один раз и сказал, что сейчас милицию позовет, фотограф суетился возле дерущихся, пытаясь их как-нибудь разнять и приговаривая хватит, ребята, хватит, ребята. Суматоха была страшная. Фрадкин оказался сильнее и ловчее. Он повалил Беспутину и схватил его за волосы, намереваясь, очевидно, стукнуть его головой об пол, но тут Беспутин его укусил. Ах, так ты кусаться, собака, не своим голосом взревел сионист и в свою очередь обнажил зубы.

Привалов сам не заметил, как оказался рядом с Юлией. Смешливая Юлия продолжала хихикать и тут, но уже несколько истерически. Стараясь ее успокоить, Привалов тихонько прижал ее к себе, и она оказалась в его объятиях.

Между тем борцы как-то сообразили, что дело зашло слишком далеко, раз уж и зубы в ход пошли. Они вдруг успокоились и медленно поднялись с пола. При этом Беспутин слегка подзадержался и когда Фрадкин уже стоял на ногах, Беспутин был еще на четвереньках, и сионист, не удержавшись, толкнул его ногой под зад, отчего Беспутин опять чуть не растянулся влужку. Но отвечать на выпад соперника ему уже не хотелось. Он встал, поправил пиджак, и сказав, что все о нем еще услышат, ушел, даже не попрощавшись.

Но через неделю у Привалова появился новый посетитель с неприятной фамилией Головлев. Пришел он под тем предлогом, что будто бы имеет книгу с автографом Свистунова и хочет спросить, подлинный ли это автограф. На толчке один прохиндей сказал ему, что это липа, но он сам так не думает. Может, Привалов ему подтвердит.

Ладно, приходите, сказал Привалов, и почесал в затылке. Надо было придумать какой-то способ отваживать гостей. Слава — дорогое удовольствие. Собственность делает жизнь нервной и утомительной. Н-да, думал Привалов, что бы там ни говорил наш марксист, капиталист заслужил свой процент. Беспокойство должно быть оплачено.

Автограф оказался подлинный, разговор об этом занял ровно три минуты. Но когда уже Привалов встал, собираясь показать гостю дорогу до вешалки, Головлев развалился в кресле и сказал, что знает Копытмана, Фрадкина и всю семейку.

Что значит семейку, машинально поинтересовался Привалов. И спросив, разволновался, сам не зная почему.

А то и значит, отвечал Головлев, что это все одна семейка. Вы разве не знаете, что сын Копытмана женат на сестре Фрадкина.

Откуда же мне знать, заволновался еще больше Привалов. Я одного Копытмана знаю, и то чисто по делу и случайно.

Ээээ, протянул Головлев, так вы ничего в этой интриге не понимаете.

Какой такой интриге, поинтересовался Привалов довольно-таки живо. Против кого? За какой надобностью?

Надобность тут очень простая, охотно пояснил Головлев. Вы, вероятно, знаете, что молодой Копытман собрался уезжать. Фрадкин едет вместе с ним. Фрадкин филолог, а его старшая сестренка тоже филолог. Им нужен будет за границей стартовый капитал.

Головлев сделал паузу. Привалов прищурился. Головлев потянул паузу. Привалов закрыл глаза вовсе. Головлев сказал.

Все очень просто, сказал он. Вы-то уж знаете, что существует филиал свистуновского архива за границей. Вот на него Копытман и положил глаз. Он знает, что тут ему капут. Но он не о себе думает. Это такая сволочь — он никогда о себе не думает. Собственное благополучие здесь ему нужно только для детей. Такая сволочь. Головлев покачал головой.

Так так, подумал Привалов. Мило, очень мило. Копытман-то никак не альтруист. А я-то, а я-то. Ах я свиное рыло, ах я идиотина,

ах я раззява иерусалимская, уж кажется повидал людей, знаю, чем пахнет, а проворонил. Проспал, прозевал, продул, Ан нет, господа, ан нет, Копытман, ан нет, еще поглядим, чья возьмет. Я не я, а я тебя объегорю, бестия продувная. Ишь, старый еврей. На еврея и напал. Еще жопу мне лизать будешь, падла.

Но вслух он промолчал, Сказал только: ммммм. И больше ничего говорить не стал.

Головлев подождал, подождал и опять заикнулся. Так что видите сами, что за публика, сказал он. Я думаю, что вам надо их как-то приструнить.

Привалов сделал головой вопросительный знак. Он был непрочь узнать, что предложит неожиданный моралист с книжной барачки.

Я и сам, сказал, нахмурившись, Головлев, намылился сами знаете куда. Так что могу предложить свои услуги.

На каком основании, нашел, обалдев, что спросить, Привалов. Что он имел в виду, неясно. Но Головлев понял вопрос по-своему. Моя двоюродная тетя — еврейка, сказал Головлев, показывая почему-то большим пальцем правой руки через левое плечо.

Нет, кашлянув, уточнил Привалов. Я спрашиваю, на каком основании вы, я подчеркиваю вы-вы, претендуете на архив Свистунова за границей.

Головлев опять ничего не понял. Как на каком, спросил он. Я же буду за границей.

От того, что вы будете за границей, сказал Привалов, нам со Свистуновым ни жарко, ни холодно. Я спрашиваю, у вас есть, ну, как бы это сказать, я, право, не знаю как выразиться, я хочу спросить, у вас есть какие-то, ну, скажем, моральные что ли, права владеть этой собственностью?

Я кончил тот же пединститут, что и Фрадкин. Я думаю, что я уж никак не хуже. А литературные способности у меня даже выше. Я и стихи пишу.

Пишите себе на здоровье, поморщился Привалов. Но это ведь, как бы поточнее сказать, я, ей богу, не знаю как лучше произнести, такая для меня неясная сфера, ну да ладно, скажем: есть ли у вас права человека на это право?

Головлев тоже обалдел от проблемы. Он помотал головой, стряхнул неуместные мысли, собрался с уместными и рассудительно сказал. Ну как же вы не понимаете, черт вас дери. Ведь я же буду там. Значит, у меня руки дойдут.

Это что ли и есть ваши основания, почти взорвался Привалов. А если я здесь, и у меня руки не дойдут, то я, значит, права лишен? Вы соображаете, что говорите?

Головлев явно не соображал, но сказал, что соображает. На это Привалову ответить было нечего, и он по-стариковски повалился в кресло. Что прикажете делать, спросил после некоторой паузы он.

Головлев смутился. Я ничего вам приказать не могу, я и не приказываю, я предлагаю. Давайте-ка заключим союз против Копытмана.

Привалов долго чесал нос, прежде чем ответить. Наконец, он сказал, мы подумаем, и на этом сцена закончилась.

На следующий день Привалов вызвал Копытмана. Копытман явился, как штык. То ли что-то разнюхал, то ли интуиция, то ли приперло.

Я вам чрезвычайно признателен за помощь, сказал Привалов, вежливо, но со значением. Как дела у вашего сына? Когда отъезд?

Копытман все понял. Отъезд скоро, сказал он, ничего не успели толком подготовить. Все это проклятущее КЭГЭБЭ. Думаешь уехать — отказ. Готовишься к отказу — вышибают. Черти.

Вы прошлый раз мне говорили, взял быка за рога Привалов, что за границей есть какие-то там поляки, у которых тоже имеются документы, представляющие взаимный интерес.

Как же-с, живо откликнулся Копытман, как же им не быть. Есть-с. Имеют место. И поляки, и документы.

Хм, сказал Привалов, не зная, с какого боку атаковать. Готовился, готовился, подумал он, а теперь и слова вымолвить не могу.

Копытман понял затруднения товарища. Э, сказал он, что вернуть вокруг да около. Я и сам завтра собирался к вам приехать по этому делу. Сами понимаете.

К сожалению, понимаю, сказал Привалов, делая суровый вид. Ему казалось, что Копытмана надо пугать.

Не пугайте, сказал Копытман, я пуганый. Стар я, чтобы меня пугать, добавил он, почесывая правой рукой левое ухо. Вы ж понимаете, уважаемый, что эти польско-французско-американские документы я через посредство моей же мешпухи таки да достану. Мне и ваше согласие не нужно. Мои ребята туда придут, поплачут в рукав, пожалуются на Гулаг, расскажут про мясной дефицит, и владельцы выдадут им свой архив за милую душу. Им-то что?

По американским понятиям, это не капитал. Пять тысяч долларов, почтеннейший, не деньги. И десять не деньги. Это — для них.

А для моих ребят это очень даже деньги. Все ведь начинается с пустяков.

Привалов был готов старого еврея убить. Но сдержался. Хорошо, сказал он, мне все понятно, хотя морального понимания, товарищ, между нами быть не может. Мне все же непонятна одна вещь. Ладно, в конце концов, за границу едете вы, а не мы. Положить лапу на наш архивчик вы можете и без нас. Но зачем вы мне помогаете? Ей богу, я был бы больше готов поверить в то, что это вам на старости лет просто приятно. В конце концов получить с в о е удовольствие — это и есть получить удовольствие. Я даже представляю себе, как я сам на старости лет делаю кому-то конкретному материальную пользу и получаю от этого собственное, последнее и тем более сладкое удовольствие. Ваш альтруизм, господин Копытман, был мне понятен. Ваших расчетов, пардон, я понять не могу. Зачем вы хотите получить мое личное согласие на употребление того заграничного польско-французского архивчика?!?

Объяснения Копытмана были таковы. Десять тысяч долларов сразу или там доллар в час, говорил Копытман, это все сиюминутное дело. Они могут быть истрачены и будут истрачены, не сходя с места. Надо думать о будущем, которое, кровь из носу, должно быть для нас прекрасным. Или его просто нет. Мы должны думать о своем будущем, а значит делать его. А как мы можем его делать? Мы должны его купить. Это значит, что нам нужны не деньги, а товар, цена которого будет в будущем возрастать, а не падать. О том я и хлопочу. Я хлопочу о том, чтобы мои внуки в своих воспоминаниях могли бы ссылаться на вас, академик Привалов, чтобы они могли бы потом говорить, что вы, лично вы, поручили им следить за исправной торговлей капиталом человечества, которое человечество, я надеюсь, к тому времени торжественно объединится в общий рынок. Ваша подпись на любом чистом листе бумаги будет значить для наших внуков — а ведь в интеллектуальном смысле они наши с вами общие внуки — очень много. Я смотрю вперед. Я впередсмотрящий. Я вижу будущее и хочу его купить. Продайте.

Продайте же мне, академик, кусочек того будущего, которое вы завещаете через пятьдесят лет своим белобрысым потомкам, продолжал Копытман. Дайте и нашим черномазым. Тоже ведь

люди, не говоря уже о правах человека, которые мы все так уважаем.

Выгода моих внуков, рвал на себе волосы Копытман, моя выгода. Привалов задумался. Грубая и несколько юродивая форма, в которой Копытман излагал свои мысли, отчасти противоречила абстрактности его взгляда на будущее. Он думает, что я стану академиком, соображал Привалов. Ну допустим. Очень неплохо и весьма вероятно. И он хочет, чтобы его дети захватили свистуновский архив за границей. Но он хочет, чтобы это было законно. Им нужен не захват, а право. Господи, куда же мы идем?

Копытман между тем перестал корчить из себя старого еврея и деловито наблюдал за тяжелыми размышлениями Привалова. Чувствуя, что Привалов в затруднении, он вздохнул и сказал, что попробует объяснить еще раз. Я начну с конца, сказал Копытман. Нам нужна от вас бумажка, в которой было бы написано, что вы поручаете квалифицированным специалистам таким-то и таким-то работать с архивом Свистунова и делать соответствующие публикации.

Но зачем? Зачем вам мое согласие? Вы же сами говорите, что и без меня можете прихватить архив.

Копытман вздохнул. Как видно, у него не было никакого желания объяснить все Привалову начистоту. Он, наверное, не собирался его просвещать относительно таких вещей, в которых Привалов по молодости и профессиональной ограниченности ничего не смыслил. Но делать было нечего.

Вы, как видно, не все до конца правильно понимаете, сказал он тихо и все еще не очень решительно. Вы не имеете широкого взгляда на вещи. Во-первых, кто такой Фрадкин? Никто. А если он станет ученик и даже коллега Привалова? Совсем иначе звучит. Американцам это должно прийтись по вкусу. Вы, наверное, думаете, американцам достаточно, что Фрадкин покинул Советский Союз? Вы думаете, его за одно это пригреют? Может быть, вы хотите, чтобы его за красивые глаза взяли? Не-ет. Так не бывает. Даже на страпном суде и то с каждого будут спрашивать анкету.

Стоп-стоп-стоп, оживился Привалов. Во что вы хотите меня впутать? Вы хотите, чтобы мое имя эмигрировало, так сказать, в чемодане ваших родственников?

Копытман вздохнул. И еще одного вы не понимаете, грустно сказал он. Вы, почтеннейший, человек номенклатурный, клейменный. Да к тому же и владелец важного капитала. Никто вас не

тронет. Ваше имя не эмигрирует, а будет экспортировано. Вас здесь только больше уважать будут. Вы не первый. Я могу вам назвать десяток имен, которые благополучно экспортировались, тогда как их хозяева благополучно сидят в Москве. А при этом ходит слух, что они ходят по проволоке и не сегодня-завтра их сволокут на Лубянку. От этого их престиж только крепчает. То же будет и с вами.

Привалов призадумался. Выходит так, сказал наконец он, что мне же все это и выгодно. В чем же тогда смысл сделки. Вы предлагаете мне помогать мне же, чтобы опять-таки мне же было лучше. Это странно. Ведь так, как вы сами только что изволили заметить, не бывает.

Это только на поверхности, отвечал Копытман. Как видно из нашего разговора, вы-то сами не понимаете, в чем ваша выгода. Если бы вы понимали, мне пришлось бы интриговать и вас уговаривать. Да, на самом деле сделка больше выгодна вам, чем мне, но поскольку вы не отдаете себе в этом отчета, мне приходится делать вид, что предлагаю вам взаимовыгодную сделку.

Привалов не совсем понял, но решил, что теперь уже никак нельзя показать, что он чего-то не понимает. Привалов решил сыграть в умника и в совесть. Что же мы с вами делаем, Копытман, сказал он, мы же с вами некоторым образом мертвыми душами спекулируем.

Господь с вами, дражайший, воздел руки Копытман, нас спекулянтами никак назвать нельзя. Мы пускаем в оборот доставшийся нам капитал. Мы утилизируем ресурсы. Это оживляет экономическую активность. Создает основу жизни. Всякое занятие богоугодно, если люди с него кормятся, ай нет?

Копытман опять начинал выворачиваться. Привалов решил это дело прекратить. Ну ладно, ну ладно, черт с вами, я поручу вашим детям разрабатывать архив Свистунова за границей. Будем смотреть правде в глаза. Меня самого за границу не пустят. А если и пустят, так только лет через пятьсот. Не лежать же архиву втуне. Ведь капитал же, в самом деле. Тут вы меня, считайте, убедили. Все, что вы говорили, пахнет правдой. Но что этот Фрадкин? Он публикации делать умеет?

Копытман махнул рукой. Фрадкин пингпонгист. Чемпион Локомотива. Моя невестка — его сестра — неплохой текстолог. Скромная и аккуратная. Работу будет делать она, Фрадкин будет торговать результатами. Вместе они полноценная бригада.

Ладно, сказал, Привалов. Вам письмо сейчас написать или потом?

Чуть позже, сказал Копытман, я принесу вам текст. Надо еще обдумать кое-какие детали.

Привалов долго не мог заснуть. Он был взбудоражен и огорчен. Преподавательство с Копытманом чем-то его взволновало. Дело было обычное. Дело было как дело. Но слова, которыми они с Копытманом перебрисывались, казались какими-то новыми и гнали кровь в голову и обратно. В странное время мы живем, думал Привалов, засыпая и пожимая во сне плечами.

Напрасно я согласился, думал Привалов спростонку. Он ведь меня на понт брал. И зачем я поддался? Что за странная слабость такая? Ну а что, если бы я сказал, что ничего не дам?

Ну пусть Фрадкины приехали на остров Майорка, ну пусть они пошли к тем миллионерам, как их там, Поц-Потоцким, ну пусть они у них архивчик вытянули на бедность и на совесть, ну пусть пристроили на рынке.

Господи, да неужели же на это жить можно? Ан, говорят, что можно, поди проверь, сидя-то на Чистых прудах.

Чур меня, чур меня, я-то здесь при чем? Это ведь по ту сторону, там своя валюта, тут своя валюта, пропади они пропадом, вражья сила, что мне тот рынок?

Плюнуть на Копытмана, плюнуть и растереть. Прогнать его к чертовой матери. Никаких дел, никаких сделок. Разорвать договор. Что он, в самом деле, черт такой, навязался. Разорвать и все тут. Не было никакого договора между нами. Разговор — был, даже несколько. А договора не было. О чем договор? Как может быть духовная ценность предметом договора? Не те времена нынче.

Хотя, да, конечно, речь же не о душе свистуновской, а об архивчике. Душа — душой, а архивчику хозяин нужен.

Эх, заграничный архивчик, не дотянуться до тебя мне, грешному. Кто в эту землю пал, тому уж рук не вытянуть.

Однако в какую землю пали, в той прочно и сидим. И своего не отдадим.

Пусть семья Копытмана возьмет это дело на себя. Раз уж с моего разрешения, то пусть. Сближение народов идет своим чередом. То, что мы запустим сегодня туда, придет час и год — обратно вернется. Будем закладывать основы мирного культурного сосуществования предстоящих исторических периодов, не одного, не двух, я надеюсь, можно сказать, эпох.

А говоря проще, надо иметь своих людей в американских университетах. Сейчас это, может, ни к чему, а потом, может, и пригодится. Сколько мне лет, я вас спрашиваю. И сколько предстоит, если нормально. Если там меня уважать будут, то и здесь моя цена повысится. Репутация в Москве нынче куется в Вашингтоне. Кого там уважают, того здесь уважают вдвойне.

Нельзя допустить, чтобы диссиденты растащили свистуновское наследие. Пусть копытмановы потомки цивилизно его осваивают. Так-то лучше будет.

И по правде говоря, всем лучше будет, а не мне одному. Общественная польза тут налицо, а мы, интеллектуалы, должны думать прежде всего об общественной пользе, такая уж наша планида.

Начав, таким образом, с раздражения и паники, Привалов потихоньку помаленьку прибыл в отличное расположение духа и как-то даже лучше стал понимать, что происходит вокруг него. Душевное равновесие оказалось очень кстати, потому что через пару дней последовало приглашение в гости к Кувалдиным. И Привалов мог туда явиться не мрачный, а вполне жизнерадостный, то есть с чистой совестью, что было кстати, потому что, полюбив Юлию, он вовсе не хотел быть перед ней таким Чайлд Гарольдом или Печориным. В самом деле — не те времена.

Как Привалов надеялся, так и происходило. У Кувалдиных он постепенно стал своим человеком. Сперва новая дружба носила чисто интеллигентный характер, то есть вилась в основном вокруг Шостаковича, Шукшина и Кандинского, ну там еще некоторых. Потом и к делу перешли.

Однажды собрались как-то вечером, Привалов сидел в кресле, Юлия на ручке кресла, а Кувалдин вытянув ноги, у стола. Вошла Нина Николаевна и протянула Привалову лист бумаги. Вот, сказала она, что извлекла из нашего архива. Первый раз после смерти Бэллы заглянула и сразу наткнулась на интересное. Взгляните, не правда ли, интересно.

Привалов особенно заглядывать не стал, так только сделал вид. Он сразу же узнал почерк Свистунова, и сердце его радостно забилося. Все ж таки Привалов был исследователь и не из каких-нибудь. Но главное, он почувствовал, что еще немного, и он приберет Свистунова к рукам. Возникшее было напряжение рассосется и конкурентной борьбы, столь противной сущности просвещенного человека, не будет. Ну, зачем, в самом деле, соперничать, подсиживать друг друга, грызть друг другу глотку, топить друг друга и

рвать друг у друга добычу. Привалов вздохнул и улыбнулся своим мыслям. Он не любил конкуренции. При одной мысли о конкурентах он брезгливо морщился. Ему было ясно, что конкуренцию следует предотвращать в зародыше. Тем более конкуренцию между духовно своими, не так ли? Если мы будем спорить между собой, то непременно придет кто-нибудь третий и, пока мы деремся, утащит у нас из-под носа то, что по закону принадлежит нам.

Привалов рассылался в благодарностях. Из его слов выходило, что отечественная наука о литературе получает теперь новый толчок. Представление о Свистунове было однобоким. Теперь, кажется, он встанет перед нами во весь рост, объемно. Какое счастье, что рукописи не горят. По крайней мере те, которые не горят.

Вот видите, отвечала Кочергина, и вы так считаете. Нашей семье выпала огромная честь. И вашей семье вышла огромная честь. Всем выпала честь — правда замечательно? Я знаю, Бэлла мне говорила, что хочет привлечь вас к работе с нашим архивом. Я собиралась об этом сообщить вам раньше, но все как-то было недосуг. Юлия, сходи на кухню, посмотри, готов ли чай и достань малиновое варенье. Я думаю, пришло время заняться нашим архивом вплотную. Юлия скоро должна писать диплом. Как вы думаете, можно ее устроить с этими материалами в аспирантуру? Бедная девочка, у нее на руках такое богатство, но она еще не готова как следует им распорядиться. Мы с мужем считаем, что Бэлле пришла в голову отличная мысль. Мы люди одного круга, мы должны держаться вместе. Так ведь?

Привалов отвечал, что какие могут быть на этот счет разговоры. Он весь в полном распоряжении: весь его опыт и квалификация, ум и сердце.

Упоминание о сердце было очень кстати. Кочергина решительно кивнула, и Кувалдин улыбнулся. Все складывалось блестяще.

Впрочем, и без неприятностей не обошлось. Копытман-таки подсунул свинью. Даже две.

Дело было так. Однажды Привалов, как обычно, распивал чай у Кувалдиных, на этот раз в компании какого-то дирижера и его жены чтеца-дискламатора. Обсуждали всякую всячину, а в основном уехавших в Америку приятелей. Приятный и возбуждающий разговор привел, однако, к замечанию, сделанному дирижером совершенно безо всякой задней мысли, но поразившему Привалова.

Кстати, сказал дирижер, вы, кажется, в хороших отношениях с

этим — тут он пощелкал пальцами — как его, редактором, Копытманом. Ну что, он уже уехал?

Уезжает не он, а его сын, исправил Привалов. Сын должен уехать вот-вот.

Нет, нет, вы что-то путаете. Сын-то, наверное, уезжает, как вы и сказали, я про него ничего не знаю, он какой-то инженер, не из нашего круга. Но Копытман и сам уезжает. В Москве говорят, что он там получает какое-то наследство, не говорят, какое именно, но наследство. Копытман едет, едет, это точно. А вы что, не знали?

Привалов пожал плечами и даже покраснел. Вернувшись домой, он тут же схватил трубку, намереваясь устроить Копытману мордобой по телефону, но передумал и решил сперва обдумать ситуацию.

Ситуация возникла странная. Почему это я так разволновался, подумал Привалов. Что это меняет? В конце концов, у меня договор с семьей Копытмана, а не с самим Копытманом. Даже лучше, что он сам едет. Он человек надежный. Что невестка Копытмана? Так, писалка из пединститута, жена инженера. А Копытман — это Копытман. Человек. С большой буквы. Опыт и хватка. Боец.

Но было во всем этом все же что-то странное. А именно: почему этот боец забыл мне сказать, что сам уезжает? Чего он только мне не нашлеп, а про это сказать забыл. Что он задумал? А я — тоже хорош. Как же это вышло, что я прозевал. Ведь пол-Москвы же знаю. А что Копытман драпать собрался, узнаю, кажется, последний. Почему же он скрывает, что сам едет? И скрывает ли? Если не скрывает, то это, может быть, даже еще хуже. Если он не скрывает, а только мне постеснялся об этом прямо сказать, что тогда? Что он задумал, старый черт?

Привалов сделал несколько звонков разным людям и понял, что все, кому надо было, про отъезд Копытмана слышали, хотя все недавно. Одни говорили об этом посмеиваясь, другие деловито и с уважением, третьи с напряженной многозначительностью и завистью, четвертые безразлично. Привалов совсем упал духом. Он силился, но никак не мог сообразить, почему же все-таки Копытман ни разу с ним об этом не заговорил.

Привалов прямо-таки спать перестал — так его эта проблема занимала. Несколько раз он встречался с Копытманом и каждый раз искал удобный момент, чтобы спросить Копытмана в лоб, но удобного момента не находилось. Разговор, как нарочно, все время уходил в ненужную сторону. Привалову стало чудиться, что Ко-

пытман специально разговор уводит туда, где спросить про его отъезд будет неловко.

Привалов истерзался. До сих пор он Копытману спуску не давал — он мог собою гордиться. И он знал, что Копытман его за это уважает. Но тут произошел срыв. Привалов чувствовал, что между ним и Копытманом возникла запретная тема, которой он касаться не может.

Временами он возмущался. Почему не могу? Собственно, в чем проблема? Захотел и спросил.

Казалось бы — и правда. Но захотеть и спросить никак не получалось, словно кто-то его околдовал. Привалов совсем упал духом.

Однако дойдя до последней стадии упадка и истомившись уже окончательно, он все-таки встрепенулся, как будто душа его почувяла крайнюю опасность собственного упадка и решила побороться решительным образом. Чего я боюсь, спросил себя Привалов и с грустью должен был себе уже в который раз признаться, что сам не знает, чего боится.

Все, ударил Привалов рукой по столу. Хватит. Что я сам себе голову морочу. Надо Копытмана кончать. Я дотянул до последнего. Надо его спросить. Если за всем этим есть что-то подозрительное, то я договор расторгну. Мораль тут ни при чем. Сам сволочь. Чтоб ты сдох.

С этими словами Привалов слегка дрожащей рукой набрал номер афериста Копытмана. Ответил густой бас, которого раньше Привалов по копытмановскому номеру не слышал. Привалов спросил Копытмана. Его нет, ответил бас. То есть как нет, возмутился Привалов, хотя чего было возмущаться — ну, вышел человек на минуточку. С кем не бывает.

Бас даже засмеялся. Нет значит нет. Он что, обязан быть? Бас так не сказал, но имел в виду.

Ну ладно, примирительно отвечал на это Привалов: нет так нет. И спросил более вежливо, когда Копытман будет обратно.

Никогда не будет, отвечал бас все так же категорически. Помер Копытман.

Привалов так и сел. Господи, сказал он, неизвестно к кому обращаясь. А что — спросил бас. Дело было? Поздно, товарищ. Потом бас понизил голос и добавил: ну, вы не очень огорчайтесь, он так и так за границу собирался. А тот свет, знаете, некоторым образом всем за границам за граница.

Привалов промямлил что-то невразумительное, повесил трубку со всей мыслимой осторожностью смертельно напуганного человека и решил, что самое время теперь прилечь на диванчик.

Привалов прилег, закрыл глаза и попытался сосредоточиться. Ну, Копытман, сказал он почти вслух, какую свинью подложил. Это была вторая свинья Копытмана. Первую он подложил, зачем-то утаив от меня, что будет съезжать. А теперь так съехал, что я уже никогда не узнаю, что он имел в виду. Вывернулся, подонок. Вот ведь бестия, а? Привалов не любил таких уж крайних жуликов, которые на все были готовы, даже на самые дикие крайности, когда надо было обмануть ближнего и остаться безнаказанным. В любом экстремизме есть что-то неприятное. Всего можно было ожидать, но чтобы Копытман так уж крупно замахнулся, Привалову в голову даже не могло прийти.

Н-да, думал Привалов, лежа на диване и ковыряя в носу, кажется все я предусмотрел с этим проходимцем, так нет же. Хотя был у меня опыт. Тут Привалов поморщил лоб и пожал плечами, символически изображая некоторое сожаление по поводу своей нечаянной, но роковой роли в смерти графини. Был у меня опыт, но я пользы из него не извлек. А ведь Копытман был в солидном возрасте и теоретически покойник, хоть и ерепенился и лез участвовать в конкурентной борьбе за чужое добро. Добро-то он получил, усмехнулся Привалов, то есть как бы победил в борьбе за существование, но вот самого существования по пути лишился. Накося, выкуси.

Тут Привалов мысленно перекрестился и сказал сам себе: ладно, что уж я так его серебрю. В конце концов, его смерть не только мне ущерб, но и ему самому, пожалуй, хотя он об этом не знает. Но объективно — он пострадал в этом случае даже больше, чем я. Забудем об этом. Письмо Фрадкиным подписано и передано, требовать его назад бессмысленно, пуцай пользуются, может, и вправду все будет так, как предвещал Копытман. Ну а не будет, так поглядим. От своей подписи всегда можно отказаться. Если гаишники будут в этом заинтересованы, они и сами попросят меня отказаться и сделают вид, что я ничего и не подписывал. Ну, в конце-то концов, подумаешь, заботы. Не расстреляют же, даже не посадят, даже не уволят, ну, наорут раз-другой, что они мне еще сделают?

Привалов совсем успокоился и на следующий день рассказывал

одному другу из Института мировой литературы казус с Копытманом даже смеяь. Друг однако этого смеха не поддержал.

Эта история довольно-таки неприятная, сказал он, теребя ус. Ты давно знаешь, что Копытман драпать собрался? Совсем недавно? Ну и другие не намного раньше тебя. А когда Копытман подал заявление? Ты думаешь, вместе со своей семейкой? Как бы не так. Он подал отдельно, а если уж совсем в точности, то и вовсе не подавал. Иначе говоря, подавали разрешение молодежь-сволодежь, а получили разрешение все, включая старого батька. Смешно?

Выходило и вправду смешно, да только Привалову стало в момент не до смеха. Копытмановская интрига оказалась существенно сложнее, чем Привалов думал. Привалов почувствовал, что на него дохнуло холодным дыханием широко известных в Москве органов. Конечно, всякие бывают стечения обстоятельств. Но история с Копытмановским отъездом выглядела прямо-таки сказочно-чудесно, а кто тут организует чудеса и творит сказку, все всегда догадывались. Без леших и домовых тут не обошлось.

Догадка была правильная. Уже на следующий день Привалову было позвонено и сказано явиться.

Привалов явился. Его принял полковник. Полковник глядел на Привалова в упор целую минуту и сразу выложил карты. Товарищ Копытман посылался нами за границу с важным культурно-политическим заданием. Он должен был перехватить у диссидентов архив Свистунова.

Привалов только свистнул в ответ. Пронюхали, значит, сказал он. Ничего не скажешь, работаете как следует.

Полковник поморщился. Это пустяки, сказал он. Это было нетрудно. Трудности возникают теперь, поскольку товарищ Копытман из операции выбыл, а подписанное вами письмо вышло у нас из-под контроля.

Постойте, постойте, заторопился Привалов, а зачем вам нужно было это письмо? Я у Копытмана спрашивал. Он объяснил мне, зачем оно нужно ему. Но зачем вам это понадобилось, я что-то не пойму. Вы что же, не могли к хозяевам архива послать какого-нибудь Зильберштейна? Или там я уж не знаю кого? Мало ли у вас надежных людей в профессуре? Могли бы и меня послать.

Полковник вздохнул. Лет десять назад, пожалуй, мы так бы и сделали. Послали бы, ну не вас, скажем, а кого-либо нашли. Подходящих людей у нас теперь хватает. Но на той стороне происходят

нехорошие перемены. К нашим людям теперь уже не кидаются со слезами и объятиями. Те ваши коллеги, которые покинули пределы Союза без командировочных удостоверений, составляют нам все более серьезную конкуренцию. Так или иначе, вариант с Копытманом был продуман основательно. Мы должны быть гибкими, чертовски гибкими. И полковник показал правым кулаком что-то вроде рот-фронта. К сожалению, в данном случае обстоятельства вынуждают нас действовать в несвойственной нам теперь более прямой манере. Короче говоря, вы должны у копытмановских родственников письмо взять обратно.

Вы с ума сошли, развел руками Привалов. Как вы себе это представляете? Что же я должен им сказать? Здрате, я ваша тетя? Как я, по-вашему, это делать буду? Кулаками на них стучать? Ногами топтать? Умолять? Нет. Всю эту петрушку вы закрутили сами, сами ее и раскручивайте. Погодите еще, придет время, и государство с вас спросит за все эти сальто-мальто. Я, может, еще жаловаться буду. В конце концов, мы живем в правовом государстве, а это значит, что на каждого начальника управа найдется. Не все, я думаю, будут в восторге от этих авантур с национальным достоянием. Это вам не людей в лагерь сажать. Тут речь идет об имуществе, о капитале.

Легче, легче, отвечал полковник, не так все просто. Письмо у копытмановской шайки надо отнять.

Я, что ли, отнимать буду, ощерился Привалов. Говорю же вам, сами все это дело подстроили, сами и отнимайте. Что вам стоит отнять? Сделайте обыск, всего делов.

Полковник поморщился. Не говорите про то, про что ничего не знаете, наставительно сказал он. Нельзя обыск у них устраивать.

Что значит нельзя, расхохотался Привалов. Это вам-то нельзя? Расскажите это моей покойной бабушке, может, она поверит.

Не грубите, сказал полковник. Говорю нельзя, значит нельзя. Почему — не спрашивайте. У нас есть свои ограничения. Это только вы думаете, что мы что хотим, то и делаем.

Привалов снова пожал плечами. Чего же вы от меня хотите? Чтобы я у них квартиру ограбил?

Ограбить мы и сами могли бы, получше вашего, но это тоже нельзя. И потом, мы знаем, что письма уже давно в квартире нет. Чтобы найти его, надо пол-Москвы обыскивать.

Ах вот оно что, не удержался Привалов, вот почему вы обыск

у них сделать не можете. Так бы сразу и сказали. А то: ограничения, ограничения... Фрррр.

Не фырчите, отозвался полковник, а то дофырчитесь. Подумаете, нашелся мне тоже пацан независимость тут разыгрывать. Коротче, вы должны потребовать письмо обратно.

Ну уж нет, отвечал Привалов, я написал его по вашей же просьбе, а теперь на попятный? Не знаю, как насчет ваших ограничений, а у меня есть определенные моральные правила, и я намерен их соблюдать. Кроме того, это бесполезно, они не отдадут.

Так бы сразу и сказали, воткнул ответную шпильку полковник, а то: моральные ограничения, моральные ограничения, знаем мы ваши ограничения. Так вы думаете, что не отдадут?

А чего ради отдавать, сказал Привалов, сами посудите, чего ради? Получено честным путем, подпись подлинная. Слушайте, перебил сам себя Привалов, а они не прикончили старика Копытмана?

Полковник расхохотался прямо ему в лицо. Ну вы даете, сказал он, вытирая пот со лба, ишь какие фантазии у вас в голове. Эх вы, интеллигенция.

Привалов обиделся и замолчал. Он вообще был зол на гаишников и разговаривать больше не захотел. Знаете, сказал он, давайте закончим этот разговор. Что с возу упало, то пропало. Я думаю, что волноваться особенно не стоит. Еще неизвестно, что они там с этим архивом делать будут. Опубликовать такой архив не так-то просто. Нужно работать как следует, а они вряд ли умеют. Правда, Копытман говорил, что невестка неплохой текстолог и добросовестная. Но не надо преувеличивать. Кроме того, публикацию всегда можно дезавуировать. Придраться всегда найдется к чему. Да, и еще мне в голову вот какая мысль пришла. Предложите копытмановой невестке его миссию. Предложите ей денег. Ей богу, согласится.

Полковник посмотрел на Привалова в упор, твердым жестом раздавил в пепельнице сигарету, встал и сказал, что разговор окончен и что, если надо будет, то Привалова опять позовут. Быть может, возникнут новые варианты.

Ну делайте, как знаете, сказал, прощаясь, Привалов, я умываю руки. И постарайтесь, пожалуйста, обойтись без меня. Уходя, Привалов даже слегка хлопнул дверью. А что они мне сделают, сказал он сам себе, спускаясь по лестнице. Ну наорут. Пошли они к черту.

И Привалов постарался забыть про заграничный архив. Надо

было думать о том, что само плыло в руки и было жизненно необходимо. Брак с Юлией казался Привалову логичным, неизбежным и единственно правильным решением всей проблемы свистуновского наследства. Авансы уже были сделаны и надо было ситуацию поскорее оформлять. А то можно было опять угодить во всякие интриги. Слухи о новом свистуновском архиве ширились, и руки к нему тянулись с разных сторон. При ближайшем рассмотрении среди документов оказалось множество сенсационных. Было бы чем поживиться и сионистам, и попам, и даже, черт возьми, левой оппозиции, если бы таковая в Москве оказалась. Но хотя бы этого добра, радовался Привалов, слава Богу, в Москве не было.

Находился в архиве неплохой товар и для партии и правительства, и даже для гаишников.

Брак Привалова с Юлией, однако, пресек все дальнейшие посягательства на архив. Жали на Приваловых с разных сторон. Но Приваловы держались твердо. Кто настоящие хозяева, намекали они. И все увидели, что настоящие хозяева Приваловы и куда захотят, туда Свистунова и повернут. Позлобствовались, позлобствовались и стали уважать еще больше. Ну что ж, всякое добро рано или поздно находит своего хозяина. В этом, может быть, и есть главное содержание исторического процесса. В самом деле, если глянуть поглубже, то подлинная история — это движение добра (добра — в смысле баракла, то есть баракла в смысле подлинных ценностей, подлинных в смысле материальных (включая духовные)). И с этой стороны история — она не зависит от человеческих личностей. Но с другой стороны от самой личности очень даже зависит, как она в этой истории устроится, то есть к какому добру присосется и как этим добром будет вертеть. То есть куда вкладывать, говоря языком планово-экономическим.

Свистуновское наследие можно было и так вложить, и этак. Приваловы правильно сделали, что торопиться не стали. Они посоветовались и решили пока особо с новыми документами не активничать. Мало ли как история повернется. А вдруг завтра диссиденты к власти придут? Или что еще вероятнее: а вдруг начальство возьмет да и объявит диссидентскую литературу государственной? Не говоря уже о том, что подобная метаморфоза может потихоньку произойти, так что никто и не заметит. Пока надо держать баланс. Тиснули пару статей, освещавших революционное прошлое Свистунова, а черному рынку подбросили наскоки Свистунова на Ро-

беспъера. И пока решили действовать в этом роде и дальше. Ну что ж, хозяин барин.

Остальные герои намечавшейся, но по существу так и не состоявшейся войны за свистуновское наследие кончили по-разному. Кроме Копытмана умер академик. Его во второй раз забаллотировали на выборах в полные академики, и он умер. Специалист по импрессионизму чуть не умер. У него был инфаркт. Но он инфаркт пережил. Впрочем, потом и он умер от гриппа. Кувалдин стал директором института и умер. И Беспутин умер. После прошедшего скандала он за каким-то чертом поехал в Черниговскую область и там его убили неизвестные. Как видно, в его прошлом были пятна и потемнее, чем те, о которых тут шла речь.

Все же не все умерли. Сын Копытмана уехал в Израиль и стал там главным инженером. Фрадкин тоже уехал и тоже чего-то там такое делает.

И совсем наоборот — у Приваловых через год родился сын. Долго думали как назвать: Владимиром в честь Свистунова или Владимиром в честь Гвоздецкого. Долго колебались и, наконец, решили, что в честь Гвоздецкого. Все-таки граф.

КНИГОТОВАРИЩЕСТВО "МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"

НОВАЯ КНИГА

ДАВИД ТАКСЕР

"ИСК"

Остросюжетный роман-воспоминание о трагической любви советского офицера и немецкой девушки. Действие происходит в конце Второй Мировой войны и в первые годы оккупации Германии союзниками.

300 стр.

15 долларов.

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА

Высший взлет зачастую предвещает последующее снижение, на вершине все пути, увы, ведут вниз, и в некоторых победах кроются семена будущих поражений. Это общеизвестно, и тем не менее всегда поражает, особенно современников. Вот только что, под руками, вполне осязаемая, была великая империя: победные знамена, триумфальные марши, венценосные вожди — и вдруг, без всякой видимой причины, все начинает крошиться под пальцами и на глазах уходит в прошлое, в ностальгические “былые времена”...

Если, однако, взглянуть в недавнее без ностальгии, можно обнаружить, что уже тогда не все было благополучно в королевстве датском.

Когда в 1972 году генерал Аарон Ярив покинул Аман, его преемником был назначен Эли Зейра, один из самых блестящих в прошлом командиров израильской армии, позже — военный атташе в Вашингтоне, еще позже — заместитель Ярива. В армии Зейра проявил исключительную храбрость, в дипломатических делах — столь же исключительную целеустремленность, и во многих других отношениях казался идеальным кандидатом на пост руководителя военной разведки. Людей, которые были недовольны его назначением, можно было пересчитать по паль-

Рафаил Блехман

МОСАД, АМАН, И ВСЕ ТАКОЕ...
(окончание)

цам. Примечательно, однако, что одним из них был сам Ярив. Узнав о назначении Зейры, он мрачно предсказал: “Теперь мы полным ходом идем к катастрофе: нашу военную машину возглавляют три человека, ни один из которых не знает, что такое сомнения и страх...”

Первым из этих “трех” был знаменитый Моше Даян, бесстрашный и решительный министр обороны в кабинете Голды Меир — человек, сжигаемый честолюбием, убежденный в своей исключительности, но увы — лишенный принципов и морали. Между тем даже политику эти качества иногда необходимы.

Вторым был начальник генерального штаба израильской армии, многими любимый и еще более многими уважаемый Давид Элазар. В свое время он был выдающимся танковым командиром, и в этом качестве обнаружил замечательную способность принимать молниеносные — и точные! — решения на поле боя. Свою склонность к безоглядной решимости Элазар перенес и в генштаб: это именно он, в начале 1973 года, когда ливийский пассажирский авиалайнер случайно пересек воздушную границу Израиля, отдал приказ о его немедленном уничтожении. В сложной политической обстановке Элазар не размышлял — он действовал. Как в молниеносном танковом бою. Возможно, он просто не умел иначе.

Зейра воплощал совсем другую разновидность безоглядности. Он принес с собой в Аман так называемую “Концепцию” и со всей своей целеустремленностью следовал ей. Грубо говоря, эта концепция сводилась к утверждению, что арабские страны не готовы к совместной войне против Израиля; если же война все же вспыхнет, она завершится в самый кратчайший срок разгромом арабов на их территории.

Вскоре Зейра сделал свою “Концепцию” почти обязательной в Амане. Его подчиненные научились видеть свою основную служебную задачу в том, чтобы поступающая информация подтверждала взгляды начальства. И соответственно доклады Зейры в генштаб составлялись так, чтобы не оставлять места сомнениям в его правоте. Уже после войны Судного дня Зейра однажды сказал: “Задача разведки — дать командованию четкие и однозначные оценки ситуации, даже если это влечет за собой иногда риск ошибки”. Кто сознательно стремится к однозначности, легко ее достигает: в ходе расследования ошибок войны Давид Элазар с понятным изумлением узнал, что к нему не поступили свыше двухсот сообщений израильских агентов о приближении египетской атаки.

К началу войны Элазар и Даян были полностью убеждены в непогрешимости "Концепции". Вслед за ними к этому склонился весь кабинет.

Что произошло с прославленной израильской разведкой? Куда девались ее осторожность, инициатива, изобретательность, самоотверженность? Когда успели восторжествовать бюрократический стиль и бюрократическая импотенция?

В годы становления Израиля его разведка тоже была "пионерской" — первопролагательницей новых и дерзких путей. Этим она стяжала себе славу одной из лучших в мире. И уж во всяком случае самой нестандартной.

Но разведка менялась вместе со своим государством. В ней происходило то же, что во всей стране, — огосударствление; то, что Бен-Гурион называл своим излюбленным словечком "мамлахтиют". Мамлахтиют означал не только усиление и упрочение государства и его институтов; с другой стороны, он неизбежно сопровождался ростом роли больших и малых партий, всевозможных групп интересов и давлений и попросту "мафий"; он влек за собой рутинизацию мышления и обююкращивание действий. Израиль вступил в процесс превращения в "государство, как все" — с той, пожалуй, единственной разницей, что его общество все еще сохраняло мощный заряд былых "пионерских" традиций. Вот почему процесс "огосударствления" сопровождался глубокими конфликтами и тяжелейшими общественными травмами — достаточно назвать три из них: дело Лавона, войну Судного дня и войну в Ливане. Ни одна из сторон не одержала в этих конфликтах решающей победы: конечно, государственность всякий раз выходила из них еще более сильной, но и общество более или менее сохраняло свои позиции — правда, ценой все большего "отчуждения" от власти. В конечном счете, обе стороны как бы "запатовали" друг друга, создав парадоксальную ситуацию: скованный серой политической, партийной и профсоюзной бюрократией, Израиль в то же время остался страной самой высокой в демократическом мире гражданской активности, порой доходящей до анархии. Устойчивость этого парадоксального состояния была обеспечена тем, что все стороны конфликта: государство, партии, движения, группы и даже отдельные граждане — как бы заключили некий молчаливый "общественный договор" (увы, не по Руссо): каждый согласился позволять — себе и другим — "немножко игнорировать"

закон ради своих интересов — “личных”, “коллективных”, “национальных”, “идеологических” или “государственных”. В той или иной мере это происходит в любой демократической стране. Весь вопрос в данном случае — в мере.

1 октября 1973 года лейтенант разведки Южного округа Симантов доложил по начальству, что поступающие агентурные данные говорят о неизбежности войны в самые ближайшие дни. Начальник разведки Южного округа игнорировал сообщение Симантова. 2 октября командующий Южным округом генерал Гонен объявил состояние готовности в своих частях. Однако когда он предложил Элазару поднять армию по тревоге, его предложение было отвергнуто. 3 октября на заседании кабинета командующий Северным округом генерал Хофи сообщил о перемещении сирийских ракет к израильской границе; Зейра не присутствовал на заседании по болезни, но его заместитель Шалев убедил собравшихся, что опасения Хофи безосновательны. 4 октября ЦРУ уведомило израильских коллег, что по мнению американских агентов война неизбежна; Зейра ответил рассерженным докладом, в котором предлагал прямо противоположную трактовку тех же данных. 5 октября Абба Эвен и Киссинджер встретились в Вашингтоне и успешно убеждали друг друга в безосновательности “панических настроений”; при этом каждый приводил собеседнику доводы из одного и того же доклада Зейры, поступившего к ним по разным каналам. В ночь на 6 октября были получены сообщения двух израильских агентов с предупреждением о готовящейся атаке, а на рассвете поступило донесение третьего, который извещал, что египетское наступление начнется в шесть часов вечера того же дня. Лишь тогда Зейра заколебался в своей уверенности, и Давид Элазар начал поднимать армию по тревоге; но было уже поздно: слишком многие получили увольнения по случаю Судного дня, и слишком мало оставалось времени для разворачивания громоздкой военной машины. В тот же день Зейра созвал журналистов, чтобы сообщить “об изменении ситуации”; но когда он начал говорить, ему подали телефонограмму — он прочел ее, изменился в лице и, помолчав, сказал: “Пресс-конференция окончена...” Он еще не знал, что в этот миг кончилась и его служебная карьера. После войны комиссия Аграната отстранила от должности и начальника Амана, и всех его непосредственных подчиненных. Но это было после...

Прощаясь со своими сотрудниками, Зейра пытался оправдаться.

“Разведка,— сказал он,— тяжелое дело: она требует умения предсказывать...” Один из бывших помощников Ярива полковник Харевен заметил на это: “Разведка не должна предсказывать, она должна **знать** — противника и его намерения. Но это знание никогда не может быть четким и однозначным, поэтому в работе разведки всегда должно оставаться место сомнению и критике. Если сомнения и критика заглушаются, разведка не может справиться со своим делом...”

Со временем слова Харевена были забыты — вероятно, потому, что методы Зейры были “проще” и “эффективнее”. Или казались кое-кому такими. Поэтому в тот летний день 1982 года, когда семьи израильских солдат, погибших при взятии замка Бофор, получали официальные “похоронки” на своих сыновей, министр обороны мог доложить главе правительства, что замок Бофор “захвачен без потерь”. Впрочем, кое-что изменилось: теперь после доклада комиссии по расследованию кабинет не пал и министр обороны не ушел из политики — он просто занял другой пост. И процесс “отчуждения” тоже сделал шаг “вперед”: молодые офицеры стали отказываться от военной службы в самый разгар войны, а молодые левые вышли на площади с плакатами, в которых — по-английски, чтобы понятнее для иностранной прессы, — клеймили собственную страну и ее правительство. Но эта новейшая история Израиля достаточно известна, и здесь нет нужды ее пересказывать. Самое время вернуться к нашему сюжету, застрявшему где-то в последних месяцах 1972-го — первых месяцах 1973-го годов, предшествовавших войне Судного дня.

То были самые черные месяцы в истории израильской разведки. Египтяне и сирийцы начисто переиграли ее на ее же собственном поле: они широко и искусно использовали все мыслимые виды дезинформации, и Аман послушно проглотил эту наживку.

А что же прославленный Мосад? Где был Цвика Замир и его легендарные разведчики?

Замир всегда был против “концепции” Зейры. Но его сомнения звучали глухо и неубедительно, и голос его был почти не слышен. А главное состояло в том, что в эти месяцы все силы Мосада, почти весь его наличный состав, были сосредоточены на операции “Возмездие”, утвержденной Голдой Меир вскоре после мюнхенской трагедии. Ее задачей была ликвидация виновников трагедии — главарей “Черного сентября”. На эту операцию были брошены сразу несколько мосадовских групп.

Одной из групп была группа Авнера. И первым ее "объектом" был "представитель" "Черного сентября" в Риме Вазль Цвайтер.

План выглядел следующим образом. Группа прибывает в Рим 8 октября. Во избежание подозрений она расселяется по разным гостиницам; сам Авнер будет находиться в Остии и руководить оттуда всей операцией, непосредственно подключаясь к ней лишь на заключительной фазе. Роберт устанавливает контакт с продавцами оружия и фальшивых документов на черном рынке и обеспечивает группу всем необходимым для ликвидации "объекта" и последующего отхода — тремя "Береттами-22" и пятью фиктивными паспортами. Стив организует наблюдение за "объектом". Ганс занимается организацией транспорта: для операции необходимы, по меньшей мере, три машины. Карл репетирует прикрытие: выходит на место ликвидации сразу после отхода группы, уничтожает все оставшиеся, возможно, следы, наблюдает за действиями полиции и покидает сцену на последней машине.

Самым узким местом плана были люди: группы наблюдения и слежки, водители машин, "вспомогательный" персонал — в общей сложности, по подсчетам Авнера, двадцать человек. В группе было всего пять, и все они были так или иначе задействованы в самой ликвидации. Зато у Авнера были деньги. А в том тайном мире, куда они вышли на свой "свободный поиск" и где организованный террор тесно переплелся со столь же организованной преступностью, деньги решали все — или почти все. Потому что вдобавок к деньгам нужны были еще и "полезные связи".

Такие связи у Авнера тоже были.

Рассчитывать на слепую удачу не приходится, и потому опытный разведчик предпочитает свою удачу целенаправленно и терпеливо выискивать и выращивать — так опытный журналист ищет и культивирует те знакомства, которые со временем могут стать источником сенсационной информации.

В детстве Авнер прожил несколько лет во Франкфурте — у отца были там мосадовские "дела". Позже, сам став сотрудником Мосада и часто бывая в "командировках" в Европе, Авнер решил, что полезно было бы возобновить некоторые франкфуртские знакомства — личные контакты "работе" никак не повредят. Среди друзей его франкфуртского детства был некий Андреас — белобрысый, худенький мальчик из богатой немецкой семьи. Авнер разыскал его и договорился о встрече. Это оказалось нетрудно — Андреас с восторгом встретил "блудного друга". Он изменился, и Авнер вряд ли узнал бы его, но помогла неожиданность: он опознал в нем одного из тех людей, которых ему показывали на фотографиях в Мосаде, во время изучения европейской террористической сети. "Его" Андреас был теперь членом знаменитой группы Баадер-Майнхоф — не самым известным, конеч-

но, но достаточно заметным, чтобы попасть в картотеку израильской разведки. Такой контакт, понятно, надлежало бережно сохранять и выращивать, и в последующие годы Авнер старался встречаться с Андреасом всякий раз, когда “дела фирмы”, как он туманно объяснял другу детства, приводили его во Франкфурт.

Теперь, в сентябре 1972 года, остановившись по пути в Рим в Женеве, Авнер в тот же день набрал знакомый уже наизусть номер. Голос его звучал озабоченно и отрывисто:

— Андреас? У меня непредвиденные осложнения...

— В чем дело?

— Не стоит распространяться по телефону...

— Хочешь повидаться?

— Это затруднительно.

— Тебе нужны деньги?

— Деньги как раз у меня есть. А вот надежный человек не помешал бы...

— Ты в Женеве? Хорошо. Вот тебе телефон, спроси Ленцлингера, скажи, что ты от меня. Ленцлингер поможет. Можешь ему довериться...

Ленцлингер оказался низеньким тихим человечком с мягкими повадками и опасным блеском в глазах. Он запросил по тысяче долларов за каждый револьвер и по три тысячи — за каждый фиктивный паспорт. Авнер обещал “подумать”.

Три дня спустя он появился во Франкфурте. Андреас встретил его с непривычной в их отношениях почтительностью, почти подобострашием.

— Ленцлингер говорит, что ты набираешь целую армию,— со смешком сказал он.— И не жалеешь денег... Я не спрашиваю, какие у тебя трудности, и готов тебе помочь, но, понимаешь, у меня и самого в последнее время возникли финансовые сложности, и если бы ты смог...

— Что за вопрос?! — воскликнул Авнер.— Ты мне, я тебе. Сколько тебе надо?

— Ну, скажем, сто тысяч,— осторожно назвал цифру Андреас и тут же заторопился.— Но если тебе это трудно, я могу обойтись пятьюдесятью...

— Сейчас я могу дать тебе только пятьдесят,— подумав, сказал Авнер.— Остальные получишь потом. Но мне нужен надежный человек в Риме. Вроде Ленцлингера. Который знает ходы и выходы. Есть у тебя такой?

— Есть, не беспокойся,— заверил Андреас.— Его зовут Тони. Я могу организовать тебе встречу с ним.

Авнер вынул из бумажника толстую пачку денег.

Тони был следующей ступенькой лестницы. В иерархии подпольного мира он явно стоял выше Андреаса — это Авнер понял сразу, едва увидел его. Тони был одет, как джентльмен, двигался бесшумно, как хищник в джунглях, и говорил по-английски с сильным итальянским акцентом.

— Вас интересуют арабы? — переспросил он, рассматривая на просвет бокал с вином. Они ужинали в римском ресторане.— У меня есть кое-какие связи в здешней арабской общине. Кстати, там как раз началось какое-то шевеление — кажется, опять набирают людей к Арафату...

— И кто этим занимается? — лениво поинтересовался Авнер.

Тони насмешливо взглянул на него.

— Этим занимается человек по имени Цвайтер,— сказал он, вытирая губы салфеткой.— Он вам нужен? Андреас сказал, что вы хорошо платите. Я могу организовать для вас небольшую слежку за этим Цвайтером, но это будет вам стоить сто тысяч...

Тони организовал плотную слежку за Цвайтером. Тони добыл необходимые Авнеру машины и обеспечил молчаливых, начисто лишенных любопытства водителей. Сам Тони тоже не интересовался планами "клиента". А Авнер не собирался его в них посвящать.

Последний раз они встретились 15 октября, накануне дня, на который Авнер наметил ликвидацию "объекта".

— Тут сто тысяч, — сказал Авнер, протягивая через стол тугую пачку купюр. — Но я не рассчитал: мне понадобится еще одна машина. Причем такая, которую можно было бы бросить по дороге, не вызывая потом подозрений.

— Хорошо, — равнодушно согласился Тони, — я возьму для вас машину напрокат, у меня есть знакомое агентство. Но это будет стоить вам еще десять тысяч. Нет, нет, не мне, — он ленивым жестом руки остановил Авнера, который полез было в карман. — Я дам вам номер телефона в Париже... вы ведь, кажется, собираетесь в Париж?.. спросите Луи и передадите ему эти деньги. Скажете — от Тони. О-кей?

Авнер не удивился. В этом тайном мире мастера темных дел передавали друг другу выгодных клиентов, интересуясь не столько их политическими или идеологическими мотивами, сколько, прежде всего, состоянием их кошельков. Как в мире явного бизнеса, здесь существовал свой рынок и свой товар — только товаром здесь были оружие, наркотики, фальшивые документы и люди. Люди, которых нужно было "убрать", и люди, готовые "убрать" — за соответствующую плату, разумеется. Не случайно именно в этом мире раскинул свои сети всемирный организованный терроризм. Эти сети были сплетены из тысяч нитей: кроме "солидных", уже завоевавших международную "репутацию" "фирм", вроде ООП или банды Баадер-Майнхоф, тут действовали мириады более мелких, полуанархических и анархических групп, список которых толщиной превзошел бы иной телефонный справочник и включал в себя все мыслимые географические названия, национальные определения и политические оттенки. Некоторые из них называли себя религиозными, другие националистическими, третьи — чисто политическими, одни именовали себя марксистскими, другие выступали против всякого "авторитаризма", были среди них прокитайские и антитурецкие, просоветские и антиамериканские, сепаратистские и великодержавные, коммунистические и троцкистские, это был настоящий супермаркет идеологий, программ и политических философий, только методы у всех были одни и те же — террористические. Проникнуть в эту сеть со стороны было необычайно трудно: нужно было стать в ней "своим". Но выдать себя за новую террористическую организацию нечего было и думать: не говоря уже о моральной стороне дела, это было неосуществимо практически — хотя бы потому, что деньги, которые у Авнера были, должны были заменить время, которое ему не было дано. Операция "Возмездие" была рассчитана на кратчайший срок — пока в памяти людей не изгладилась мюнхенская трагедия; поэтому действовать надлежало быстро, по собственному разумению и в соответствии с обстановкой на месте. Конечно, такая тактика, да еще когда в операции задействовано сразу несколько групп, зачастую сопряжена с ошибками и провалами. И "встроенные пороки" этой тактики "свободного поиска", да и всей стратегии Мосада со временем не могли не сказаться, — но это случилось поздней. Поначалу операция "Возмездие" развертывалась в согласии с исходным планом, а план этот предполагал, что каждая группа будет сама выбирать свои методы. Вот почему группа Авнера внедрялась в подполье под видом "вольных стрелков" — таких предприимчивых ребят без особых политических симпатий и антипатий, взявшихся — по им одним

известным причинам — устранить тех или иных “нежелательных” людей. Им повезло — они нашли в подполье “профессионалов”, которые работали с подобной “клиентурой”, и эти дельцы начали передавать их друг другу по цепочке. Андреас передал их Тони, Тони вывел их на Луи. 16 октября, ликвидировав Цвайтера в Риме, они вылетели в Париж, где по “списку Мосада” числились еще три “объекта”, подлежащих ликвидации — Хамшари, Кубайси и Будия. Чего они не знали — так это того, что за теми же людьми охотится другая Мосадовская группа.

К концу 1972 года агентурная сеть Баруха Коэна составляла внушительную силу. Она раскинулась по всей Бельгии, Франции и Испании. Коэну удалось завербовать несколько десятков ценных “информантов” в палестинской и арабской среде, и он неуклонно стягивал свою сеть вокруг Мухаммада Будии — эlegantного руководителя парижского авангардистского театра, по совместительству — главного организатора палестинского терроризма в Европе.

Коэн надеялся заманить Будию в ловушку и взять его живьем. Приказ начать операцию “Возмездие” нарушил эти планы и вынудил Коэна заторопиться. В результате, его люди повели себя не вполне осторожно — они стали спешить и дергать своих “информантов”. И человек, за которым они охотились, это ощутил.

В конце года помощник Коэна, молодой Офир Цадок, получил сообщения одного из “информантов”, в котором тот намекал на “важные новости” и просил о личной встрече в одном из брюссельских кафе. Цадок, ни минуты не задумываясь, согласился. Более того — он пошел на встречу без “контролера”, то есть без второго агента, в обязанности которого входило следить, не затягивает ли “контакт” в ловушку.

Офир Цадок выжил по чистой случайности — пуля информанта прошла в нескольких миллиметрах от сердца. Самое странное в этой истории состояло в том, что Мосад не придавал ей особого внимания. Как не придали там особого внимания и второму провалу, произошедшему в той же группе несколько недель спустя, когда один из самых ценных “информантов” Коэна, бывший сирийский журналист Хадер Кано был убит “неизвестными” у себя в номере отеля. В Мосаде торопились и торопили свои группы. И Барух Коэн поставил перед своими людьми задачу — покончить с Будией не позднее января 1973 года.

Если бы ООП имела свое государство, Махмуд Хамшари был бы, наверно, в ранге его посла в Париже, как Будия, вероятно, — в ранге военного атташе. К счастью, такого государства не было, и Хамшари числился просто официальным представителем ООП

во Франции, где в его обязанности входило издание информационного бюллетеня "Фатх-информасьон" и контакты с палестинскими "представителями" в ЮНЕСКО и других международных организациях. Неофициально он был, наряду с Будией, организатором палестинской террористической сети в Европе, и на его личном счету было участие в неудавшейся попытке покушения на Бен-Гуриона в Копенгагене, в подготовке взрыва швейцарского авиалайнера в Цюрихе и в захвате израильских спортсменов в Мюнхене. Он занимал видное место в руководстве организации "Черный сентябрь". В Париже он жил со своей семьей в собственной квартире на рю д'Алези и вел жизнь уважаемого политического деятеля. На жаргоне Луи он был "легким объектом" — легким для слежки и для ликвидации.

Луи оказался таким же бесценным помощником, как Тони. Но в отличие от Тони, у Луи были четкие политические взгляды. Он был, так сказать, "гуманистом из подполья", самозванным "спасителем человечества" с бомбой за пазухой. С первой же встречи он сообщил Авнеру, что мир устроен неправильно; в нем слишком много войн, страданий и нищеты. Поэтому мир следует основательно перестроить. А для этого его нужно столь же основательно почистить. И он, Луи, готов помогать всем, кто такой расчисткой занимается, если только речь не идет о войне или ином умножении общечеловеческих страданий. Его группа согласна помочь Авнеру — за небольшую плату, разумеется: во всяком, самом благородном деле есть свои накладные расходы...

Авнер попросил той же помощи, которую просил у Тони, — в организации слежки и транспорта. Впрочем, на сей раз у него были и дополнительные просьбы. План ликвидации Хамшари отличался определенной сложностью и требовал технической подготовки. Не имело смысла повторять римскую схему — это лишь могло скорее навести полицию на след группы и Мосада в целом, а именно такого развития событий надлежало избегать, как огня. К тому же ликвидация Цвайтера, по мнению группы, не отличалась особой эффективностью и мало кого из палестинцев могла испугать. А испугать их следовало.

Хамшари часами "висел на телефоне", как того требовали его официальные — и неофициальные — обязанности. Поэтому было решено использовать эту его привычку. Слежка установила и другие привычки "объекта". По утрам мадам Хамшари отвозила дочь в детский сад, и сам Хамшари оставался в квартире один. Где-то

около девяти утра ему обычно звонила любовница, некая Нанетта — выяснить, свободен ли он и состоится ли сегодня их свидание. Из этого следовало, что самым удобным временем для операции было утро, с восьми до девяти, когда "объект" наверняка находился дома и дожидался звонка, — это гарантировало, что трубку снимет именно он. Телефонная трубка играла важнейшую роль во всем плане операции.

По окончании предварительной слежки Авнер сделал первый ход в своей "игре". Ранним утром неподалеку от дома Хамшари остановился автофургон водопроводной и канализационной компании, и человек в робе водопроводчика начал копать канаву. Никто не обратил внимания на то, что эта канавка упорно продвигалась в сторону, где проходил телефонный кабель, питающий квартиру Хамшари.

На следующий день телефон Хамшари начал барахлить. В нем раздавались какие-то отвратительные скрипы и шумы. Потеряв терпение, Хамшари позвонил на подстанцию и попросил прислать монтера.

Хамшари, конечно, не догадывался, что благодаря стараниям "водопроводчика" его телефонный кабель теперь переключен на совершенно иную "подстанцию" — небольшой аппарат, размещенный в автофургоне, облюбовавшем себе стоянку на углу рю д'Алези. Отсюда уходили в кабель искусственные скрипы и шумы и сюда приходили все вызовы из квартиры Хамшари. Ганс, специалист авнеровской группы по связи, терпеливо слушал все разговоры "объекта", дожидаясь, когда последует звонок с вызовом монтера.

"Монтер" явился безотлагательно. Он поработал несколько часов и "укротил" своенравную трубку. То, что попутно он вделал в нее заряд пластиковой взрывчатки и детонатор, приводившийся в действие радиосигналом особой частоты, осталось, конечно, незамеченным.

Рискованность плана состояла в том, что "снаряжение" трубки приходилось завершить, понятно, заранее, а это оставляло в распоряжении семьи Хамшари весь вечер и ночь. Если бы мадам Хамшари вздумалось вечером кому-то позвонить, и в это время кому-нибудь парижскому радиолобителю захотелось бы поговорить со своей девушкой на частоте, предусмотренной для детонатора, взрыв произошел бы преждевременно и фатально. Но операций без

риска не бывает, и Авнер, скрепя сердце, принял предложенный Робертом план.

Теперь наступала очередь Карла с его респектабельным, "европейским" видом и неизменной трубкой во рту. В тот же вечер он позвонил Хамшари и представился "итальянским журналистом", который хочет взять у него интервью. Они сговорились, что "журналист" позвонит Хамшари еще раз, на следующее утро, около девяти, чтобы окончательно условиться о месте и времени встречи.

Утром 8 декабря автофургон, уже примелькавшийся жителям квартала, снова появился на своем привычном месте. Мадам Хамшари, как обычно, покинула дом вместе с дочерью около восьми. Хамшари, как обычно, остался дожидаться звонка от Нанетты. Карл вышел из фургона и направился к угловому автомату. Когда Хамшари снял трубку, он напомнил о вчерашней беседе и продолжил разговор об интервью с того места, где остановился накануне. У самого уха он слышал дыханье Хамшари и шелестенье бумаги — представитель ООП перелистывал записную книжку, чтобы выяснить, когда он свободен. Карл неторопливо поднял левую руку в условленном жесте. Получив долгожданный сигнал: "Все в порядке!" — Авнер шепнул сидевшему рядом с ним в автофургоне Роберту: "Давай!" — и Роберт повернул рукоятку своей миниатюрной радиостанции. Звон вылетевших из окна стекол был слышен даже на углу.

В те дни, когда группы Авнера и Козна охотились за своими "объектами" в Париже, третья мозадовская группа была занята аналогичной "охотой" на Кипре. Столица островной республики, Никозия, издавна была предметом пристального внимания Мосада, и израильская разведка постоянно держала здесь своих резидентов. Сейчас им было поручено ликвидировать главного человека ООП на острове — Абада аль-Шира. Было известно, что аль-Шир, вдобавок к обязанностям "диспетчера" террористической сети на Кипре, осуществляет также важные для ООП контакты с местными резидентами КГБ.

Выследить аль-Шира не составляло особого труда. Он жил в отеле "Олимпик" в Никозии, и маршруты его перемещений были давно и хорошо изучены. Никозийская группа действовала наверняка, без особых ухищрений. Продажность местных гостиничных служащих была притчей во языцех, и проникнуть в номер аль-Шира — за соответствующую взятку — было не так уж трудно. Взрывчатка была заложена под кроватью, провод детонатора был подведен к надкроватной лампе. Ждать результатов тоже пришлось недолго. В тот же вечер аль-Шир вернулся в гостиницу достаточно рано, чтобы еще немного почитать перед сном. Когда он включил лампу над кроватью, детонатор сработал, и кровать, вместе с очередным "объектом", взлетела на воздух.

Две недели спустя информаторы никозийской группы сообщили, что на смену Аль-Шире прислан его преемник из Бейрута. Это был некий Мухасси.

В "списке Мосада" его имя не числилось. Тем не менее было решено ликвидировать и его. Задачей операции "Возмездие" было нарушение террористической сети, а "узел", где пауком сидел аль-Шир, а теперь Мухасси, был в этой сети одним из важнейших.

Мухасси обосновался в Афинах, и слежка за ним была труднее, чем за аль-Широм. В конце концов, однако, он тоже был выслежен и обложен плотным кольцом. Ликвидацию предполагалось провести тем же способом, что в Никозии, благо Мухасси тоже жил в отеле. Но на этот раз операция едва не сорвалась.

Взрывчатка была уже заложена под кровать Мухасси, и детонатор был подключен, но вот с самим "объектом" не все было в порядке. Правда, в гостиницу он вернулся в обычное время, но не один. В черном "Мерседесе", в котором он приехал и который припарковался позади отеля, оставались двое — шофер и незнакомый группе человек, с которым Мухасси о чем-то говорил, выходя из машины. Судя по чертам лица, на мгновение высветившегося вспышкой зажигалки, когда он закуривал свою сигарету, этот человек был русским — скорее всего, агентом того самого КГБ, контакты с которым входили в обязанности Мухасси. Теперь этот человек ждал в машине, и было непонятно, ждет он возвращения Мухасси из номера или просто докуривает сигарету, размышляя о чем-то своем. Потом свет в номере Мухасси вспыхнул и погас. Но взрыва не последовало. Было очевидно, что детонатор не сработал. Операция срывалась.

В группе нервничали. Мухасси не появлялся. Черный "Мерседес" не двинулся с места. Наконец подрывник группы, не выдержав, оставил свой наблюдательный пост и почти бегом направился к отелю. Он исчез в освещенном подъезде, прежде чем его успели остановить. Остальные, забыв об осторожности, бросились за ним.

Они уже вбежали в холл, когда где-то на верхних этажах гулко громыхнул взрыв. К счастью, в холле находился только ночной портье. Увидев направленный на него револьвер, он медленно и осторожно положил телефонную трубку обратно на рычаги. Спустя несколько мгновений двери спустившегося сверху лифта открылись, пропуская подрывника.

— Мне пришлось взорвать этот чертов детонатор вручную, — срывающимися голосом сказал он.

Таща за собой насмерть перепуганного портье, группа бросилась к запасному выходу. В суматохе, вызванной неожиданным нарушением плана, никто не вспомнил, что именно у этого выхода припарковался черный "Мерседес".

Увидев выбегающих из гостиницы людей, человек в "Мерседесе" неуловимо быстрым движением выхватил из-под плаща револьвер. Но выстрелить он не успел. Двое из группы на бегу всадили в него четыре пули. Они успели еще увидеть, как шофер "Мерседеса" рывком втащил тело в машину, мгновенно захлопнул дверцу и резко взял с места, — но преследовать машину на отели и на могли — им нужно было покинуть это место до появления полиции.

На следующий день афинские газеты сообщили только о гибели Мухасси. Человек из "Мерседеса" на был даже упомянут.

Ликвидация аль-Шира в Никозии произошла 24 января. А на следующий день, 25-го, из Брюсселя в Мадрид вылетел Барух Козн. Накануне он получил долгожданное сообщение: давний "информант" докладывал, что в его руках оказались данные, которые

могут вывести напрямик на Будию. "Информант" хотел вручить их Козну лично и, по причинам, о которых не мог распространяться по телефону, — в Мадриде.

Козн был опытным разведчиком, но его, как и никозийскую группу, как и группу Авнера, подгонял приказ. На следующее утро он уже вылетел в Мадрид, и ровно в полдень, как было условлено, вошел в просторное, малолюдное в эти часы кафе на одной из самых оживленных и шумных мадридских улиц — авеню Хозе Антонио. Возможно, место встречи показалось ему настолько безопасным, что он, в нарушение всех своих привычек, отправился на встречу без "контролера"; возможно, его просто подстегивало нетерпеливое предвкушение близкого конца столь долгой охоты.

Как бы то ни было, он вошел в кафе, отыскал взглядом "своего человека" и направился к его столику. Свой портфель он положил на колени, чтобы удобнее было неприметно опустить в него бумаги, которые ему передаст "информант". Но вместо бумаг палестинец извлек из кармана револьвер и хладнокровно, как на учении, всадил в Козна несколько пуль. Барух Козн, руководитель самой эффективной мосадовской сети в Европе, был сражен наповал.

Будия выиграл этот раунд и едва не выиграл всю игру.

6 апреля наступил черед Мосада. В этот день группа Авнера завершила свою последнюю операцию в Париже. Ее "объектом" на этот раз был профессор Кубайси — близкий друг доктора Хабаша из "Народного фронта освобождения Палестины" и главный планировщик террористических акций этой организации.

Профессор Кубайси прибыл из Бейрута в Европу с очередным "академическим" визитом и остановился в гостинице на рю де Аркад. Как и положено "интеллектуалу", он вел скромный образ жизни и из дневных поездок возвращался в гостиницу на метро. Такая привычка неизменно приводила его на рю Ройяль, откуда к гостинице вел короткий и обычно безлюдный переулок. Этот переулок и был выбран местом очередной ликвидации. Французские домохозяйства уже с вечера плотно закрывали ставни, поэтому можно было не опасаться любопытствующих взглядов из окон.

Машина, в которой следовали Карл и Стив, обогнала Кубайси на рю Ройяль и дважды коротко мигнула фарами. Авнер и Ганс, притаившиеся у входа в переулок в глубокой тени, получили долгожданный сигнал. Они еще глубже втиснулись в тень, пропуская

Кубайси, а затем быстро пошли за ним. Услышав шаги за спиной, Кубайси испуганно обернулся.

- Нет! — крикнул он по-арабски.
- Стреляй! — скомандовал Авнер.

Переступив через свалившееся на тротуар тело Кубайси, они побежали дальше — туда, где у выхода из переулка их ждал Роберт во второй машине.

В "списке Мосада" было вычеркнуто еще одно имя.

К тому времени разведки европейских стран уже не сомневались, что серия загадочных убийств в Европе — не случайность, а планомерная операция Мосада. Информация об этом проникла в газеты. "Большая охота" переставала быть тайной: она сделалась содержанием сенсационных заголовков и предметом ожесточенных споров и гаданий. Спорили о моральной допустимости "санкционированного государством" убийства, гадали о том, где и кто — израильская разведка или террористы — нанесет очередной удар.

Никто не мог предположить, что следующий удар будет нанесен в Бейруте. Но в действительности бейрутская операция была запланирована в рамках "Большой охоты" с самого начала. На нее была нацелена особая группа Мосада, работавшая в контакте с армией. Израильские резиденты в ливанской столице давно уже получили указание выяснить места проживания руководителей "Черного сентября" и уточнить подходы к их домам. Предполагалось, что вспугнутые "Большой охотой" руководители террористов соберутся на совещание и, скорее всего, в Бейруте. Палестинские организации орудовали здесь почти бесконтрольно. ООП содержала тут целый штаб, размещавшийся на углу улиц Халед бен-аль-Вальд и Рю 68. Тут же неподалеку, как выяснили мосадовские резиденты, проживали заместитель Арафата, третий человек в ООП и официальный руководитель "Черного сентября" Юсуф аль-Наджар, его заместитель Камаль Адван и представитель ООП по делам прессы Камаль Нассер. Они занимали квартиры на втором и третьем этажах трехэтажного дома по рю Эль-Хартум.

В начале апреля, когда в Париже группа Авнера заканчивала подготовку к ликвидации Кубайси, лидеры "Черного сентября" находились в Бейруте и занимались своими обычными делами. Но 6 апреля, когда к ним поступила весть об убийстве Кубайси, они зашевелились. Агенты Мосада сообщили о необычном оживлении в доме на рю Эль-Хартум. Было впечатление, что там собирается

какое-то важное совещание. Ходили слухи, что в нем примут участие резиденты "Черного сентября" в Европе — возможно, и неуловимый Будия, а также еще более скрытный, осторожный и неуловимый Али Хасан Саламе — главный организатор всех операций "Черного сентября", включая мюнхенскую трагедию.

Замир и Ярив отдали приказ на начало действий "бейрутской" группы.

На следующий день шесть агентов Мосада, заранее снабженные соответствующими документами и прикрытием, прибыли в Бейрут под видом европейских туристов. Они прибыли разными рейсами, но с одной и той же целью — арендовать необходимое для предстоящей операции количество подходящих машин.

Глубокой ночью 9 апреля 1973 года двое поздних гуляющих, мужчина и женщина, вышли на Голубиный пляж Бейрута — место, где обычно уединялись ищущие безлюдия пары, — и несколько раз помигали фонариком в темноту моря. Десять минут спустя из темноты появились шесть резиновых лодок с тридцатью израильскими "коммандос" на борту. Это были профессиональные армейские десантники — впрочем, на этот раз все они были переодеты в гражданское, чтобы не выдать свою принадлежность к израильской армии. Со стороны города на пляж въехала первая из арендованных "туристами" машин, и пятеро десантников мгновенно оказались в ней. Машины подходили к берегу с интервалом в три минуты, и через пятнадцать минут "выгрузка" была закончена.

Группа проследовала через район казино и ночных клубов, направляясь к рю Эль-Хартум. Здесь она разделилась. Часть десантников атаковала трехэтажный жилой дом, где проживали Адван, Нассер и эль-Наджар. Их действия не отличались особой изощренностью: они ворвались в дом и, поднимаясь с этажа на этаж, методично прочесывали заранее указанные квартиры. Эль-Наджар был изрешечен автоматной очередью, догнавшей его, когда он пытался спрятаться в соседней комнате; Камаль Нассер был застрелен за письменным столом, где он готовил очередную речь о "справедливости" палестинского терроризма; Адван не успел дотянуться до лежавшего у изголовья "Калашникова".

В это время другая группа десантников завершала захват здания ООП. Защищавшие его террористы были перебиты, документы и бумаги вытащены из шкафов и погружены в машины, в нижних этажах торопливо закладывалась взрывчатка. Освободившиеся от

“работы” десантники уже направлялись в сторону складов оружия, принадлежавших ООП и находившихся дальше к северу.

Выстрелы и взрывы, несомненно, должны были привлечь внимание бейрутской полиции, поэтому один из офицеров, руководивших операцией, позвонил по телефону в полицейское управление и на чистом арабском языке, взволнованным голосом, сообщил, назвавшись случайным прохожим, что в районе Эль-Хартум завязалась перестрелка между двумя фракциями палестинских террористов. Получив это сообщение, ливанская полиция почла за благо не вмешиваться в палестинскую “освободительную борьбу”.

Бумаг и документов было так много, что пришлось вызывать вертолеты, подготовленные на случай, если придется вывозить раненых. Но раненых не было, — если не считать одного из мосадовских агентов, которому в суматохе прищемили руку дверцей машины. Зато убитых десантников, к несчастью, было двое.

Операция началась в 1.30 ночи. Она закончилась в 3.30. Израильские десантники и “бейрутская” группа Мосада покинули город в резиновых лодках. Убитые, раненый и документы — в вертолетах. Три руководителя “Черного сентября” и около ста рядовых террористов — в гробах (их с почестями хоронили через два дня в Каире). Увы, Будия и Саламе еще раз ускользнули от возмездия.

Начиналось лето 1973 года — последнее “мирное” лето перед войной Судного дня. Но для Мосада оно не было мирным даже в кавычках. Его группы продолжали охоту за террористами на всем пространстве европейского континента. И в этой охоте они начали нести потери.

Гибель Баруха Козна была первой из них. Затем в апреле, после ликвидации Мухасси, палестинская террористическая сеть на Кипре — видимо, не вполне выведенная из строя, — предприняла ответный удар и сделала попытку взорвать дом израильского посла и атаковать израильский авиалайнер в никозийском аэропорту. К счастью, обе попытки окончились провалом. Но в мае террористы взяли реванш: смуглая восточная красавица, с которой авнеровский Карл назначил встречу в номере гостиницы, надеясь выведать у нее кое-что о ее “палестинских клиентах”, хладнокровно всадила в него нож и покинула гостиницу никем незамеченной. А несколько недель спустя, при загадочных обстоятельствах, погиб Ганс из той же авнеровской группы. Становилось очевидно, что террористы успевают восстанавливать свою сеть и ухитряются наносить болезненные ответные удары. Операция “Возмездие”, потеряв первоначальную неожиданность, начинала терять и эффективность и все более превращалась в затяжную позиционную войну, только особого рода. Группы Мосада вынуждены были полагаться на информацию, которую получали через свои “контакты” в подпольном мире. Пользуясь этим, террористы прибегли — и весьма успешно — к тактике подбрасывания Мосаду своей дезинформации. Группы Мосада вынуждены были полагаться на “помощников”, вроде Тони и Луи у Авнера, которые организовывали для них слежку и добывали взрывчатку. Таких помощников легко было перекупить, и этим террористы воспользовались тоже.

В начале июня группа Авнера получила сообщение, что след Саламе отыскался в Швейцарии: руководитель "Черного сентября" как будто бы направлялся в заброшенный горный городок для встречи со своими резидентами. Группа бросилась в Швейцарию — только для того, чтобы убедиться в ложности сообщения и едва не оказаться в руках швейцарской полиции. Неделью спустя в группе погибшего Козна, которую теперь возглавил прибывший из Израиля Майк, погиб главный подрывник — и непонятно осталось, взорвался заряд в его руках по его собственной неосторожности или потому, что кто-то из "поставщиков", перекупленный террористами, нарочно подсунил испорченный детонатор.

Тем не менее операция "Возмездие" продолжалась, и в Париже Майк, заменивший Козна, лихорадочно готовил своих людей к решающему моменту — ликвидации Будии, который снова объявился во французской столице.

В отличие от других "объектов" Будию было крайне трудно "фиксировать". У него не было никакой устойчивой схемы поведения. Одну ночь он ночевал здесь, другую там, возвращался домой в самое разное время, если вообще возвращался, имел огромное количество знакомств и с полдюжины любовниц и почти все время проводил на виду. Оставалось одно: установить за ним самую широкую и практически непрерывную слежку, а чтобы не вызвать у него подозрений — как можно чаще менять наблюдателей. И как только подвернется удобный случай — наносить удар без излишних проволочек.

Будия разъезжал по Парижу на своем белом "Рено", который часами ждал хозяина у подъездов самых разных домов, порой до глубокой ночи или даже рассвета. Как правило, друзья и женщины провожали гостя до самой машины, поэтому застрелить его на улице было бы затруднительно. Майк решил взорвать Будию в его машине. Был заготовлен достаточно мощный заряд взрывчатки, постоянно находившийся наготове в машине Майка. Несмотря на изрядный вес заряд был настолько компактен, что его можно было без труда упрятать под переднее сиденье автомашины. Тело владельца, в тот момент когда он опустится на сиденье, должно было активировать детонатор; после этого оставалось послать короткий радиосигнал, чтобы заряд взорвался.

Но сначала еще нужно было установить все это в машине Будии.

Долгожданный момент наступил на рассвете 28 июня. Накануне вечером Будия заночевал у своей новой "пассии" — молдавской стенографистки с рю Боно. Его машина оставалась у подъезда всю ночь, но Майк не решался устанавливать в ней заряд, опасаясь, что утром Будия вздумает подбросить девушку на работу, и в машине вместо одного окажутся двое. Майк понимал, что этот

несвоевременный приступ гуманизма может оказаться роковым и сорвать всю операцию, но не мог преодолеть внутреннего запрета.

Судьба возблагодарила его за это: Будия вышел из дому один. Было шесть утра. Сорок пять минут спустя, пробравшись через утренние “пробки”, Будия припарковал свой “Рено” на улице Фоссе—сен-Бернар, неподалеку от университета. Он вышел, закрыл машину и скрылся в одном из подъездов. Люди Майка бросились к телефону. Двадцать минут спустя Майк со своим автофургоном и подрывниками был уже на месте. Будия все еще не появлялся. На всякий случай двое наблюдателей были оставлены в том подъезде, куда он вошел: если он выйдет и направится к машине, они должны были любой ценой его задержать.

Автофургон подогнали вплотную к белому “Рено”, заслонив его от глаз случайных прохожих. Поэтому никто не видел, как подрывники Майка нырнули в открытую отмычкой машину Будии и как пять минут спустя “вынырнули” оттуда.

Фургон отъехал на угол.

Наступило ожидание.

Будия не появлялся.

В 10.45 тяжелый грузовик стал в точности на то место, где раньше стоял автофургон, — рядом с машиной Будии. Теперь, даже если Будия появится, взорвать заряд будет невозможно — может пострадать шофер грузовика. Следовать же за Будией и взорвать его машину на ходу было еще более рискованно.

В 11.00 грузовик отъехал.

Будия появился почти тотчас. Майк увидел, как наблюдатели вышли из подъезда, и один из них дал условный сигнал. Еще через минуту Будия уже открывал дверцу своей машины. Он сел в кресло водителя и захлопнул дверцу. Вряд ли он успел вставить ключ зажигания — звук взрыва почти совпал со звуком захлопнутой дверцы.

Ведущий резидент палестинской террористической сети в Европе был ликвидирован. В Мосаде могли поздравить себя с выдающимся успехом. В короткий срок — всего за несколько месяцев — были один за другим ликвидированы почти все люди по первоначальному списку операции “Возмездие”. Конечно, никто в Иерусалиме не мог предполагать, что на смену Будии вскоре придет другой человек, несравненно более опасный и хитрый, который воссоздаст сеть Будии и назовет ее в честь своего погибшего учителя “Коммандос Будия”. Этого человека звали Карлос.

И конечно, никто не мог знать, что через два дня после убийства Будии террористы "расквитаются" за него убийством израильского атташе в Вашингтоне полковника Алона.

Остановимся и задумаемся. Не слишком ли кровавыми и жестокими были действия и методы Мосада в этой "Большой охоте"? Не скатились ли израильтяне на уровень террористов в своих хладнокровно задуманных и одна за другой осуществляемых "ликвидациях"? Уловима ли еще грань между террором — и контртеррором?

Заглянем в душу такого Авнера или Майка. В ней нет ненависти к палестинцам или арабам "вообще". Он не думает об уничтожении их государств или народов. В тот момент, когда он готовит взрывчатку и обдумывает, как наилучшим образом ее использовать, он помнит, что она предназначена для конкретного Будии или Хамшари — для человека, на совести которого список кровавых преступлений. Любой беспристрастный суд осудил бы этого человека и приговорил к высшей мере наказания; Авнер или Майк ощущают себя просто исполнителями такого приговора. Они ненавидят конкретного человека — убийцу; и их действия в этот момент мало чем отличаются от действий полицейского, шерифа или детектива, который настаивает преступника на месте преступления и вынужден применить оружие.

Заглянем теперь в душу Будии или Хамшари. Профессиональные убийцы, они безнаказанно разгуливают по улицам Парижа, обдумывая, как взорвать в воздухе самолет с ни в чем не повинными женщинами и детьми, как напасть на детский сад или школу, как обстрелять беззащитных пассажиров в аэропорту. Все эти люди для них — "мясо", безликие десятки и сотни, жизнь которых они равнодушно готовы прервать ради своей цели.

Взглянем теперь на его "цель". Некоторые газеты называют ее "справедливой освободительной борьбой". И некоторые чересчур "объективные" израильтяне готовы вслед за ними рассуждать о "двух справедливостях". В ходе таких рассуждений действительно стирается грань между преступником и его жертвами, между террором, который становится профессией и выгодным бизнесом, и контртеррором, как вынужденной и тяжелой необходимостью самообороны.

Взглянем тогда на эти "две справедливости". По одну сторону — справедливость многих тысячелетий, судьба народа, который ценой безмерных страданий обрел наконец единственное место, где может выжить и жить, как народ. Не он начинал нескончаемый круг войн и контрвойн со своими соседями, не он хочет их уничтожить; все, чего он хочет, — чтобы его оставили в покое. По другую сторону — справедливость, в лучшем случае насчитывающая десятилетия, искусственно возвращенная арабскими политиками и добываемая своего ценой уничтожения целого народа.

Конечно, в мире нет абсолютно "чистых", безгрешных справедливостей. Но нет и абсолютно одинаковых. Рассуждения о "двух справедливостях" открывают, в конечном итоге, путь к очередной Катастрофе. "Большая охота", как бы ни относиться к ее методам, этот путь преграждала. И поэтому разведчики Мосада, в отличие от террористов, не были в ней просто "охотниками", которые хладнокровно и равнодушно отстреливали беззащитную "дичь". Они защищали свою страну и народ от хитрых и коварных убийц, которые умели кроваво отгрызаться, а порой искусно и ловко уходить от заслуженной кары.

Единственной незавершенной частью плана "Большой охоты" оставалась ликвидация Али Саламе, неуловимого "кровавого прин-

ца”, как его прозвали газеты, давно понявшие, за кем охотится Мосад. В Мосаде поговаривали о том, что нужно создать специальную группу, которая будет заниматься только охотой за Али Саламе и сосредоточит все усилия только на нем одном. Лавры Майка и Авнера не давали многим покоя. “Мелкие” неудачи, вроде спровоцированной ложным сообщением вылазки Авнера в Швейцарию, никого не настораживали. Как не беспокоил нетерпеливых и тот факт, что лучшие силы Мосада были уже задействованы в “Большой охоте” и новую группу сколачивать было, фактически, не из кого. “Сверху” тоже требовали эффектного завершения всей операции. И тогда в дело вмешался случай.

Лишь много позже стало понятно, что этот случай не был вполне случайным.

У этого “случая” было лицо, зафиксированное в картотеке израильской разведки. У него была знакомая Мосаду фамилия — Бенамуне. Лицо и фамилия принадлежали человеку, который был известен, как “свой” в арабских дипломатических кругах в Женеве, и часто бывал “по делам” на Ближнем Востоке. Бенамуне появился в Женеве в 1972 году и вращался, в основном, в кругах “хиппи”; тем не менее его часто видели в обществе то одного, то другого арабского дипломата. Такое поведение казалось весьма подозрительным. Были основания предполагать, что он работает связным “Черного сентября”.

В самом начале июля 1973 года агенты Мосада в Европе получили сообщение нескольких “информантов” сразу, которые в один голос утверждали, что “Черный сентябрь” готовит крупную террористическую акцию в Скандинавии. Затем из Бейрута пришло донесение тамошнего резидента, который докладывал, что, по его данным, Али Саламе направляется с Ближнего Востока в Швейцарию или в Норвегию. И наконец из Женевы сообщили, что Бенамуне, которого считали личным связным “короваго принца”, купил авиабилет через Копенгаген в Осло.

Чисто логически все сходилось: “Большая охота” вынудила террористов свернуть операции в Европе и вот теперь они разворачивают новый центр действий в Скандинавии. Отсюда следовало, что если идти по следам Бенамуне, наверняка удастся выйти на Саламе.

Трудность состояла в том, что, несмотря на все разговоры, специальная группа для слежки за Саламе так и не была создана. Теперь ее начали срочно сколачивать. Именно срочно, то есть на

скорую руку; из тех, кого удалось насобирать, что называется — тят-ляп. Одним из таких наспех “приглашенных” был инженер Дан Арбель, еврей-репатриант из Дании, работавший для фирмы “Осем” и в прошлом время от времени выполнявший кое-какие поручения Мосада; другой — уроженка Швеции полуеврейска Марианна Гладников; ее единственным достоинством было знание норвежского языка; оба они впоследствии сыграли роковую роль в исходе операции. Всего в группе было около десяти человек; были здесь и агенты Мосада, но были и совершенно случайные люди, вроде Марианны или секретарши одного из мосадовских отделов Тамар: начальник отдела, человек по кличке “Иоси”, возглавивший группу согласился взять ее с собой на ликвидацию Саламе.

Группа была сформирована настолько поспешно, что ни “легенды” участников, ни фиктивные документы для них не были подготовлены, как следует: один из членов группы путешествовал с паспортом и “легендой” человека, который давно не существовал, в немецком паспорте другого номер был на одну цифру короче, чем положено по правилам ФРГ. Любая внимательная проверка была бы для группы фатальной.

К счастью, на пути “туда” их не проверили. 18 июля новая группа прибыла в Осло; часть людей сразу же расположилась на арендованной квартире, которая должна была служить штабом всей операции, другие рассредоточились по разным гостиницам. К этому времени вылетевшие вперед наблюдатели группы уже успели “встретить” Бенамуне и установить за ним успешную слежку; его адрес в Осло был уже известен. Поэтому двоим из новоприбывших было поручено снять номер в той же гостинице, где остановился связной “Черного сентября”, и попытаться незаметно обследовать его комнату.

Поручение выполнить не удалось: Бенамуне в гостинице больше не появился. Целый день не было также никаких известий от руководителя группы Иоси. Только к вечеру он объявился на проводе, чтобы сообщить: один из наблюдателей засек Бенамуне на вокзале, где тот брал билет в городок Лиллехамер, в 150 километрах к северу от норвежской столицы. Группа получила приказ арендовать несколько машин и срочно перебазироваться в Лиллехамер.

Были арендованы три машины — “Пежо”, “Мазда” и “Мерседес”. Совершенно не было учтено, что прибытие такого каравана в крохотный, сонный курортный городок не может пройти незамеченным.

Как ни странно, несмотря на все эти исходные ошибки, группа до поры до времени действовала более или менее успешно. В назначенное время все ее участники собрались в Лиллехамере, где Иоси приказал возобновить наблюдение за Бенамуне. В маленьком Лиллехамере не составляло труда найти нужного человека, и вскоре удалось установить, что Бенамуне снял номер в гостинице “Скотте”. Затем, однако, его след снова потерялся, и наблюдатели, рассеянные по городу, выставленные на вокзале и оставленные в гостинице, нигде не могли его найти. Казалось, что связной чувствует за собой слежку и всякий раз старается “стряхнуть” ее со своего “хвоста”.

Затем удача повернулась к группе лицом. Один из наблюдателей, методично прочесывавший одно кафе за другим, обнаружил Бенамуне в "Каролине". И не одного! Связой сидел за угловым столиком с каким-то молодым человеком арабского вида! Наблюдатель вызвал на помощь еще двух членов группы. Заняв столик неподалеку, они начали внимательно разглядывать сидевшего с Бенамуне араба, сличая его лицо с фотографией Саламе, выданной им в Мосаде. Снимок был любительский, случайный, установить сходство было крайне затруднительно, тем более, что человек на снимке был с усами, человек за столиком кафе — безусый. Но ведь усы можно и вырастить, и сбрить!

Через десять минут все трое пришли к однозначному заключению: человек за столиком кафе — именно тот, которого они ищут. Это Али Хасан Саламе! Бенамуне действительно вывел их на след руководителя "Черного сентября"!

Расставшись со своим собеседником, Бенамуне вернулся в "Скотте", собрал вещи и направился на вокзал. Наблюдатели связались с Иоси, который нетерпеливо выслушал их сообщение и приказал слезку за Бенамуне немедленно прекратить: все усилия теперь необходимо сосредоточить на Саламе.

В тот же вечер Иоси отдал аналогичный приказ членам группы, оставленным в Осло на случай, если Бенамуне туда вернется. "Бенамуне сделал свое дело, — насмешливо сообщил им Иоси, — Бенамуне может уйти. Мы нашли Саламе. Немедленно выезжайте в Лиллехамер".

Весь день 21 июля прошел в слезке за Саламе. Поначалу его засекли в плавательном бассейне, где он встретился с каким-то бородатым молодым человеком европейской наружности. Марианна Гладников, наспех купив купальник в лавчонке у входа в бассейн, нырнула в воду, стараясь проплыть как можно ближе к выслеживаемой паре. Ей удалось услышать, что они говорят по-французски, но содержание разговора она не успела уловить. Она еще переодевалась в душевой, когда Саламе и его спутник, к которым присоединилась молодая женщина, с виду норвежка, покинули бассейн и направились к автобусу. Двое наблюдателей последовали за ними в своем зеленом "Мерседесе". Маршрут автобуса привел их в небольшой, абсолютно новенький жилой массив, где они проследили Саламе и его спутницу до дома 2А на улице Рюгдвен. Войдя в дом, Саламе уже не появлялся оттуда до самого вечера.

Картина начинала проясняться. Иоси был уверен, что Саламе выбрал Лиллехамер базой для подготовки очередной террористической акции и отсюда, через связных — Бенамуне, "европейца с бородой", а может, и других — пересылает распоряжения своим людям, укrywшимся в Скандинавии. В середине дня Иоси доложил о результатах слезки и своих выводах представителю Мосада в израильском посольстве в Осло. Отсюда сообщение ушло в Иерусалим. К вечеру из Иерусалима пришел приказ приступить к завершающей фазе операции — ликвидации Саламе.

В далеком Израиле, вероятно, с трудом представляли себе обстановку в гихом норвежском городке. Быть может, там воображали Лиллехамер большим, шумным городом, вроде знакомых европейских метрополий, и полагали, что "ликвидация" пройдет незамеченной на фоне городской суеты и суеты. Но скорее всего в Мосаде торопились. Судьба распорядилась так, что именно в эти дни "Черный сентябрь" провел еще одну свою операцию, успешно захватив и посадив в княжестве Дубай, вблизи Персидского залива, японский самолет со 123 пассажирами на борту. Ликвидация Саламе в этот

момент высшего торжества террористов нанесла бы сокрушительный удар по их "репутации", не говоря уже о их дальнейших планах.

В Лиллехамере события медленно тянулись к предустановленному концу. Иоси приказал своим людям обеспечить наблюдение за всеми дорогами, уходящими из городка. Одновременно наблюдатели продолжали следить за домом, в котором скрылся Саламе. Одновременно другие наблюдатели взяли под надзор вокзал и небольшую автобусную станцию. В 7 часов 30 минут вечера Саламе появился из дома вместе со своей спутницей (на этот раз наблюдатели разглядели, что она явно беременна), сел в автобус и направился в центр городка. Здесь, незаметно сопровождаемая людьми Иоси, пара вошла в кинотеатр — единственный в Лиллехамере. В 10.35 они вышли и снова направились к автобусу, видимо, намереваясь вернуться домой. На сей раз они были единственными пассажирами, которые сошли на улице Рюгдевен. Если не считать мосадовцев, следовавших в отдалении в белой "Мазде", Саламе и его спутница были вообще единственными людьми на этой тихой улице в этот поздний час.

Было ровно 10.40 вечера, когда двое мосадовцев выпрыгнули из "Мазды" и побежали за удалявшейся парой. В руках у них были револьверы — по двенадцать пуль в каждом.

Саламе успел оглянуться. Но крикнуть он не успел. Шесть первых пуль вошли в его грудь и живот. Он упал. Люди Иоси продолжали стрелять в упавшего — в голову, в спину, в ноги. Они всадили в него двадцать две пули (две прошли мимо), прежде чем его спутница, парализованная ужасом, успела понять, что происходит. Вся ликвидация продолжалась каких-нибудь десять-пятнадцать секунд. Когда беременная женщина с криком бросилась на безжизненное тело, белая "Мазда", подхватив стрелявших, уже заворачивала за угол.

Пятнадцать минут спустя Иоси получил сообщение об успешной ликвидации Саламе и отдал приказ всем своим машинам возвращаться в Осло. На окраине Лиллехамера группа оставила белую "Мазду", тщательно устранив все возможные следы. Люди, находившиеся в "Мазде", пересели в белый "Пежо", который вела Марианна.

Полиция Лиллехамера прибыла на место убийства, когда группа Иоси уже была по дороге в Осло. Полицейские действовали быстро и умело. Уже через час они нашли брошенную "Мазду", а из опроса свидетелей и жителей городка выяснили, что одновременно с ней в Лиллехамере находились еще две подозрительные машины. Центральное управление норвежской полиции распорядилось выставить ограждение на дороге Лиллехамер—Осло и проверить все идущие в столицу машины: номер "Мазды" позволил установить, что она арендована в центральном агентстве Осло. И хотя белый "Пежо" благополучно миновал проверку, он вызвал смутные подозрения у одного из полицейских. Внешность двух пассажиров слишком совпадала с описанием нападавших, полученным по телефону из Лиллехамера. Полицейский на всякий случай доложил о подозрительной машине в Осло и сообщил ее номер.

Часть группы покинула Осло на следующий день, торопясь вернуться в Израиль. Среди них был и Иоси. Вообще говоря, руководитель операции не должен оставлять за собой подчиненных, но Иоси спешил и он не догадывался, что группа уже засечена. Эта спешка обошлась дорого. Когда вечером того же дня Марианна Гладников и Дан Арбель прибыли в аэропорт на своем белом "Пежо", они были задержаны норвежской полицией. На первом же допросе, прямо в здании аэропорта, они по неопытности начали давать пространные показания. Меньше, чем через час, благодаря этим показаниям,

полицейским удалось арестовать еще двух членов группы — Сильвию Рафазль и Авраама Гемера, многолетних сотрудников Мосада. Эти молчали. Но по найденному в их номере клочку бумаги с записанным на нем телефонным номером полицейские вышли на тайную явочную квартиру Мосада в норвежской столице и, ворвавшись в нее, обнаружили там израильского “дипломата” (в действительности офицера Мосада) в компании двух наблюдателей Иоси — Дорфа и Штейнберга. В общей сложности в руках норвежцев оказались шесть членов группы — больше половины ее состава. И двое из этих шести, Марианна Гладников и Дан Арбель, истерически нервничая, выкладывали все подробности операции.

Было воскресенье, и газетные киоски были закрыты. Но в понедельник утром все норвежские газеты вышли с аршинными заголовками, извещающими об убийстве в Лиллехамере и аресте шести израильтян.

Весь минувший день в Мосаде могли тихо торжествовать: операция “Возмездие” была завершена. За несколько месяцев людям Мосада удалось ликвидировать двенадцать руководителей и связных “Черного сентября” и увенчать “Большую охоту” самой крупной добычей — трупом главаря этой террористической банды, Али Хасана Саламе. Тот факт, что рука Мосада настигла Саламе в далеком, заброшенном норвежском городке, должен был недвусмысленно показать террористам — и всему миру, — что Израиль способен найти своих врагов в любой точке земного шара.

В понедельник было уже не до ликования. Нужно было срочно выходить из положения, возникшего в результате провала группы в Осло. Израильское министерство иностранных дел опубликовало срочное официальное заявление, в котором опровергало все слухи о какой бы то ни было связи между арестованными и израильской разведкой.

Но главный и самый страшный удар пришел во вторник. Норвежский журналист Эрик Хаген, срочно отправившийся в Лиллехамер, опубликовал пространную, на две с половиной страницы, статью, из которой неопровержимо следовало, что убитый агентами Мосада человек был вовсе не Али Хасан Саламе.

Настоящее имя убитого, — говорилось в статье, — было Ахмед Бучики. Он был простым арабским эмигрантом. Он жил и работал в Лиллехамере с декабря 1971 года и был женат на норвежской девушке Торил Ларсен, которая ожидала от него ребенка.

Статья Хагена была немедленно перепечатана в израильских газетах. Одна из них вышла под заголовком: “Извиняемся: обознались!”

Конечно, это был тяжелый провал. Но дело было не столько в самом провале — в конце концов, какая разведка застрахована от него? — а в том, что он позволил газетам убедительно связать с “рукой Мосада” все предыдущие “ликвидации” в Европе и возложить на израильское правительство моральную ответственность за них. За шумом сенсации забыто было, что объектом операции “Возмездие” были главарь самой кровавой из палестинских террористических банд, на совести которых (если у них вообще была совесть) были десятки и сотни беззащитных, мирных людей — стариков, женщин и детей. Никто не вспоминал израильских спортсменов из Мюнхена, пуэрториканских пилигримов из Луда



Исер Харэль



Иошафат Харкави

— западные газеты оплакивали цвайтеров, хамшари и будия, расписывали “подвиги” неувомимо Саламе, припоминали “варварский налет” израильтян на Бейрут. Что и говорить — отголоски лиллехамерского провала сотрясали воздух европейских столиц до самого начала войны Судного дня.

Через несколько дней после убийства в Лиллехамере Мосад отдал приказ всем группам, участвовавшим в операции “Возмездие”, свернуть свои действия и вернуться домой. “Большая охота” была прекращена. Теперь надлежало реорганизовать поредевшие ряды и извлечь уроки из лиллехамерских и других ошибок.

Главный урок состоял в том, что Мосад недооценил противника и его способность подбросить ложную информацию.

Судя по началу войны Судного дня, этот урок не был тогда достаточно усвоен. Впрочем, возможно и другое толкование: после Лиллехамера израильская разведка ударила в другую крайность и перестала доверять даже вполне надежным сообщениям своих агентов, подозревая в них арабскую дезинформацию.

Опустим занавес над этой запутанной историей. И закончим этот затянувшийся рассказ тем, что воздадим должное израильской разведке за все, что она сделала для нас и для государства. Отдадим должное всем ее героям, поименованным и безымянным. Скажем себе, что эта разведка так же уникальна, как государство,



Меир Амит



Аарон Ярив

которому она служит: она отличается теми же достоинствами и несет в себе те же недостатки; можно ли к этому еще что-то добавить?

Остается сказать несколько слов о судьбах наших героев.

Цви Замир ушел с поста руководителя Мосада в 1974 году. Его сменил генерал Хофи, который находился на этом посту до 1982 года. Имя нынешнего преемника Хофи пока что остается хорошо охраняемым государственным секретом.

Авнер не вернулся в Израиль. Он вывез свою семью в США и здесь, много лет спустя, рассказал историю своего участия в "Большой охоте" журналисту Ионасу. Из книги Ионаса мы заимствовали некоторые подробности этого рассказа. (Следует оговориться, что "шпиону, который вернулся с холода", вряд ли можно во всем доверять. Поэтому наш рассказ опирался и на другие источники; их слишком много, чтобы перечислить все, поэтому назовем лишь главные. Это книги западных журналистов Стюарта Стивена, Эдгара О'Балланса, Давида Тиннина, Кристофера Дабсона и Ричарда Дикона, а также израильтян Бар-Зоара, Дана и Ландау).

Давид Шауль благополучно "демобилизировался" из рядов ООП, в которых пробыл 16 лет, вернулся в Израиль и включился в повседневную работу Мосада — конечно, под другим именем.



Цви Замир



Ицхак Хофи

Участники операции в Лиллехамере отсидели свои сроки и вышли на свободу. Там пути их разошлись.

Организация "Черный сентябрь" сошла со сцены в конце 1973 года. Последним, запоздалым отголоском ее деятельности была неудачная попытка покушения на иорданского короля Хуссейна 11 октября 1974 года в Рабате. Трудно сказать, в какой мере исчезновение этой организации было связано с ликвидацией ее ведущих европейских агентов сотрудниками Мосада в ходе "Большой охоты", в какой — с изменением политики ООП после войны Судного дня. Несомненно, однако, что операция "Возмездие" сыграла в этом определенную роль.

Акции "Черного сентября" вскоре поблекли в сравнении с действиями присоединившегося к террористам человека, который сначала сменил Будию на его посту, а затем начал действовать самостоятельно — венесуэльского убийцы на службе КГБ, знаменитого Карлоса. Позже, однако, Карлоса, в свою очередь, затмил другой террорист, тоже вышедший из рядов "Черного сентября" и начавший свой самостоятельный путь нападением на американский авиалайнер 17 декабря 1973 года в римском аэропорту. Сегодня на счет этого человека наибольшее количество беззащитных жертв, а также ликвидированных "соперников" внутри самого палестинского движения. Имя этого террориста — Абу Нидал.

Судьбы главарей и создателей "Черного сентября" сложились по-разному. Абу Дауд уцелел после покушения на него в Варшаве в 1982 году. Абу Ийад, контролировавший "Черный сентябрь" в рамках арафатовской организации Фатх, по-прежнему является ближайшим соратником Арафата.

Абу Хасан Саламе слишком уверовал в свою "неуловимость". Летом 1978 года он женился во второй раз и поселился с новой женой, бывшей "Мисс Вселенная" 1971-го года, ливанкой Георгиной Ризк в Бейруте. Здесь Саламе начал вести размеренную, упорядоченную жизнь семейного человека, и у него образовались устойчивые привычки. Эти привычки позволили Мосаду выйти на его след. Дальнейшее было делом "техники". Мосадовский агент Эрика Чамберс, снявшая квартиру в Бейруте рядом с домом Саламе, установила миниатюрный радиопередатчик под "дворником" машины, в которой он обычно выезжал. Другой мосадовец, Питер Скрайвер, прибывший в Бейрут всего на один день для завершения операции, заложил взрывчатку в арендованный им "Фольксваген". Третий агент, Рональд Кольберг, подогнал "Фольксваген" вплотную к стоянке машины Саламе. В 3 часа 35 минут пополудни 22 января 1979 года Саламе вышел из дома и сел в свою машину. День был, как и предсказывали синоптики, дождливый, поэтому Саламе включил "дворники". Скрытый за ними радиопередатчик сработал и послал в пространство свой сигнал. Сигнал активировал взрывчатку, заложенную в стоявший рядом "Фольксваген". Саламе и четыре его телохранителя были разорваны в клочья.

В тот же день в Иерусалиме генерал Хофи доложил в канцелярию премьер-министра Израиля: "Мюнхен отомщен".

Это было уже после того, как Мосад и Аман пережили потрясение войны Судного дня. Но им предстояло еще пережить потрясение Ливанской войны и многих других, вплоть до нынешней "истории Шабак". Тем не менее, не взирая на все эти потрясения, провалы и ошибки, можно твердо сказать, что израильская разведка и сегодня остается одной из лучших в мире и делает самое благородное и справедливое дело из всех, какие когда-либо выпадали на долю любых разведок. Я думаю, что это высшая похвала людям, ее создававшим — от Шауля Авигура до Ицхака Хофи, а также сотням безымянных людей, работавших в ней все эти годы. Мой рассказ — лишь скромная попытка воссоздать хоть небольшую часть сделанного этими людьми. Почти все в этом рассказе принадлежит другим, только ошибки и огрехи принадлежат автору.

ИЕРУСАЛИМСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Говорят, что с некоторого времени пророчество передано дуракам. Я даже знаю, с какого времени: с тех пор, как религия канонизировала сама себя. Действительно, когда все утверждено, предписано и подписано, только дурак станет пророчествовать. То есть пророчествовать в еврейском смысле этого слова. Ибо что есть пророчество, как не раскрытие в необъятное. И что есть канонизация, как не объятие необъятного.

Странное существо еврей. Под носом у него горы духовной пищи, прекрасно переплетенной, тисненной золотом и кашерной, а он плачет: нет еды! нет воды!

Кашерное ему не по вкусу!— Жритрефноестоями!! И трэфного не хочешь? Чего же ты хочешь?

— Я хочу того, чего у вас нет.

— Чего же это у нас нет?!

— У вас нет будущего. Вы думаете, что завтра обеспечено вам тем, что вы захватите сегодня. А завтра зависит не от того, что человек берет, а от того, что он может дать. А вам, господа, нечего дать.

Я стою перед стеллажами книг, достаю одну за другой, перелистываю страницы, и книги оказываются пустыми.

Книга подобна снопу света, прорезающему тьму времени. Есть книги-прожекторы, книгофонари, книги-фонарики. Страш-

Бен Барух

**ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ
С НОЧИ**

на не темнота, страшно, когда темнота сгущается. Когда большой свет слишком далеко, а малый освещает только то, что под ногами. Это значит, что кончается эпоха. И только безумие пророчества может пролить свет в бездну неизвестности.

Если вы думаете, что пророк видит будущее, вы ничего не понимаете в еврейском пророчестве. Будущее нельзя видеть, потому что его нет. Будущее — это то, что еще не создано. Потому-то и нужны пророки, что они творят будущее, которое еще не создано. Пророк — это тот, кто противостоит тьме, и светом придает будущему его основные черты. Поэтому мир, при всей своей противоречивости, всегда похож на то, что сказали о нем пророки. Человеческий мир строится людьми, а люди строят там, где есть свет. И дело не в том, хорошо или дурно построенное людьми, а в том, что без предшествующего света нет будущего и нет мира. Время несет человечество, и не в силах человеческих остановить течение или вернуться. Но без пророков человек был бы унесен во тьму и небытие.

Слепые вожди отдали пророчество дуракам. Что же удивляться, если будущее их потомков стало дурацким? Беда в том, что затянувшаяся глупость кончается катастрофой. И не надо быть пророком, чтобы предсказать катастрофу, она начинается математически, как первая производная от глупости по времени.

Поэтому еще прежде наступления утра, слушайте, раввины Израиля, говорю вам, что утра у вас не будет. Вы пошли путем храмовых жрецов и вы исчезнете, как они исчезли. Время ничему вас не научило, поэтому время у вас отнято. Забрасывайте сети, тащите улов. От множества рыбы перевернулась лодка, рыба ушла в море, а рыбаки — на дно. Еще прежде, чем настало утро, слушайте, вожди Израиля, еще прежде, чем настанет утро, ваши планы рухнут. Если идол с глиняными ногами пал, неужели не упадет идол с глиняной головой? Снова обнажится шея Израиля, и душа человека в руке его. Брошены просторные дома, и никто не говорит: плати. Обрадовались враги, обнажили зубы, закапала слюна. Свою плоть будете есть и свою кровь будете пить, безумны вы и в безумии своем умрете. Израиль-старец, дитя легкомысленное, прежде наступления утра вспомнишь, чему тебя учили, и удивишься, как близко к тебе был мир твой. Устыдишься глупой своей старости и перестанешь говорить надменно.

Вот, восходит солнце и освещает достойное и постыдное, великое и малое, подлинное и суетное. Что человек избрал, к тому и прилепился, человек и часть его под солнцем. Никто не выдаст себя за другого, никто не обманет и не введет в заблуждение. Сам себе будет человек наградой и наказанием, ибо никто не скроется, когда наступит день. Но глухие не услышали, но слепые не нашли, но хромые не успели. Древний лес, ночной лес. Свежий ветер идет с первым лучем зари. И вот — паутина между ветвями, и в паутине голоса человеческие. Обрадуются ли висящие ветру?

Сказал древний учитель: больше Торы в промежутках между буквами, чем в самих буквах. И что же сделал учитель? Посвятил жизнь толкованию Торы, открывшейся ему между буквами, и заполнил промежутки буквами, которых в Торе не было. Так же и другие вслед за ним. Что же удивляться, если с промежутками исчезли из Торы и сами буквы? И что было в ней — того уже нет, а что есть — совсем не то, что было. О, Книга книг, белая Тора, две тысячи лет заливали тебя чернилами и краской, в подлиннике и во множестве переводов!

Оставьте меня — скажет Израиль — оставьте меня! Не хочу быть светом для языков! Не хочу быть царством священников! Довольно с меня и того, чтобы не убивать и не красть, не прелюбодействовать и не лгать и не зариться на чужое. Как могу я почитать родителей, когда забываю и собственную совесть? Как могу освятить субботу, когда шесть дней моих пусты, как тьма над бездной, и освященная суета выходит, как невеста, навстречу суетливому жениху.

Слава ловкачам твоим и ротозеям твоим, Израиль, ибо нет равных. В темнице моей, в темнице искал я свободу. Я сказал тьме: посторонись! И она посторонилась. Тяжела тьма, тяжелее вод многих. Но если тьма и снаружи, и внутри — легка, как воздух? О человек, ты дышишь тьмой и рассуждаешь о свободе? Вот, ты, как один из мудрых, скажи мне: в чем разница между рабом и свободным? Раб работает для господина, а свободный работает, чтобы не иметь господ. Я взглянул и вот: три женщины внутри. Одна отдается за плату, другая платит, чтобы отдаться, и еще одна ищет мужа — и нет мужа. Я сказал ей: вот я, возьми меня, а тех двух я отсылаю вон. И еще взглянул, и вот: буква. И

сказала: ты видишь букву? Я ответил: вижу. И сказала: это благодаря свету. Я сказал: почему же я его не вижу? И сказала: потому что ты смотришь на черное, а не на белое. Я взглянул на белое и увидел, что свободен.

Разве я занимал у тьмы, чтобы отдавать ей? А они говорят: делай, как все, делай, что написано тебе делать. Я сказал: написано мне, чего не делать, и я не делаю. Кто поставил вас господами надо мной? Кто дал вам власть судить меня? Даже если столкнете меня в ров, не найдете меня, когда сами окажетесь на дне.

И сказала: что ты ненавидишь, или что ты ненавидишь больше всего? Я сказал: нет во мне ненависти. Глупец не виноват в своей глупости, и паук не виноват, что у него шесть ног. Был сильный дождь. Земля намокла и прилипает к подошвам. Отчего она так красна? О Боже, есть ли конец безумию? Зачем они истязают друг друга? Зачем ни один из них не открывает глаз? И сказала: вода заливает землю, когда ее слишком много, дай ей время уйти. А я-то думал: скажу — и стена падет. Они не понимают, что делают. Но горе нам, ибо делают то, что хотят делать.

Я взглянул, и вот: у каждого в носу кольцо, как кольцо вола. И к кольцу привязана веревка. И у каждого в руке веревки, они тянут друг друга, запутываются, распутывают и снова тянут. А ноги и руки у них не связаны. И еще взглянул, и вот: труба, как для водостока. И сорванные листья летят к отверстию трубы, а в трубе — пустота. Они летят к ней, пока не заполнят ее. А потом летят к другой трубе, чтобы заполнить ее. И сказала: теперь ты видел, что приводит их в движение. Я сказал: да, госпожа, их приводит в движение пустота. И сказала: и ты хочешь, чтобы у них открылись глаза? Я сказал: да, госпожа. И сказала: тогда наполни пустоту. Я сказал: у меня ничего нет, госпожа. И сказала: дай им от твоего ничто, и сделаются тяжелыми, как камни. И я подумал: горе мне, ибо упадут мне на голову! И ушел со стыдом, и шел, пока они не скрылись из глаз. Неужели есть человек на земле, чтобы я посмотрел ему в глаза и не устыдился?

О человек, зачем говоришь, что в жизни нет смысла? Мудрый не ищет смысла, потому что доволен тем, что есть. А глупый ищет смысл и не находит, потому что глуп. Если не справляешься со своим делом, возьми товарища, много — двух. Среди множества всегда довольно глупцов, чтобы испортить дело. Поэтому лучший из миров — тот, который перестали улучшать. И не говори мне, что жизнь стала лучше. Она стала удобнее, это правда. Жизнь и

удобство — как вино и вода: без воды — слишком терпко, и чем больше воды — тем меньше вкуса.

Об этом трудно говорить, т.е. об этом трудно говорить ясно. Я попробую, но ты не молчи, а отвечай мне. Я знаю, что это тот случай, когда умнее смолчать, и не только потому, что так удобнее. Я — дурак, я начну, а ты только отвечай. Ну, и покончим с отступлениями, хотя бы с литературными отступлениями покончим. И перейдем к религиозному возрождению Израиля, разгорающемуся, как пожар в середине лета. Что ты о нем думаешь?

— Хочешь, в двух словах? Это религиозное движение глубоко и отчетливо бесчеловечно.

— То есть антигуманистично?

— С понятием "гуманизм" связан такой сложный комплекс ассоциаций, что употребление его практически потеряло смысл.

— А что, по-твоему, бесчеловечно?

— Бесчеловечно — значит, подменяет живого человека теоретической схемой. Схема объявляется эталоном человечности, а реальная человечность оказывается вовне.

— Ну, а преступление, по-твоему, человечно?

— Я вижу, к чему ты клонишь. В такие ловушки ловил Сократ современных ему софистов. Но я не грек и не софист и отвечу тебе словами старика Гиллеля: что ненавидишь для себя, того не делай другому.

— Как же, по-твоему, Гиллель разрешает проблему определенности человеческого?

— Гениально разрешает. Он как бы говорит: не знаю, что такое подлинная человечность, Бог знает. Но чтобы не погрешить мне нечаянно против того, чего я не знаю, не буду, по крайней мере, делать другому то, что ненавистно той человечности, которая мне известна.

— Но чем же подход неоортодоксов отличается от подхода Гиллеля?

— Гиллель избегал схем и тождеств, поэтому его человечность была открытой. Он не требовал от человека верности принципу, а только верности самому себе. А неоортодоксы заставляют нас делать то, что мы не хотим, или не делать то, что мы хотим (и другим охотно позволяем), на том основании, что их нормы правильные, а наши — нет.

— А вдруг мы и вправду — неправильные евреи?

— Ну вот, наконец, добрались до сути. Неправильный еврей — это, другими словами, еврей не соответствующий идее еврея. Идея вечна, неизменна и истинна, и еврей, который имеет несчастье ей не соответствовать, есть еврей неполноценный, по определению.

— Погоди, погоди, это напоминает Платона. Как же это Платон проник в ортодоксальную доктрину?

— А как греческая философия превратилась в христианскую теологию? Механизм все тот же: противостояние — борьба — взаимопроникновение.

— Ты хочешь сказать, что иудаизм подвергся греческому влиянию. Но разве этот элемент не отпал вместе с христианством?

— Ты же видишь, что не отпал.

— Как же так?

— Видишь ли, Бог сотворил мир, как единство сущности и формы. Идеиное взаимопроникновение затрагивает оба элемента, и взаимодействие даже двух духовных реальностей (а на самом деле больше) рождает целое семейство производных и производных от производных. Проследить такой процесс во всех деталях нет никакой возможности, поэтому ограничимся простой моделью. Возьмем, условно, две духовные реальности, скажем, иудаизм и эллинизм, каждая из которых, напоминаю, обладает собственной сущностью и соответственной ей формой.

— И как же они, по-твоему, взаимодействуют?

— В принципе, довольно просто: одна и та же сущность начинает являться в различных формах, и одна и та же форма становится выражением различных сущностей. В результате получается некая взрывчатая смесь, опасная для того, кто ею пользуется, и еще более опасная для того, против кого она направлена. Такие смешанные идеи вступают в борьбу, при этом целью борьбы является не самоочищение, а именно очищение идеи — соперницы.

— По-моему, борются не столько идеи, сколько люди.

— Совершенно верно. Но только в этой борьбе люди отождествляют себя с идеями и тем наносят себе и другому как бы увечье, потому что человек больше и многообразнее любой идеи, которую он может сформулировать.

— Что ж, у такого калеки есть причина быть агрессивным. Но не будем отвлекаться. Так что же там произошло между иудаизмом и эллинизмом?

— Только давай условимся: это всего лишь иллюстрация, не претендующая на исторический анализ. Так вот, в самом первом

приближении, где-то во времена Филона и 70 толковников между иудаизмом и эллинизмом накопилось достаточно общего и взаимодополняющего, чтобы возникло стремление слить один с другим путем незначительных изменений в обоих. Так из иудаизма и эллинизма начали выкристаллизовываться эллинизированный иудаизм и иудаизированный эллинизм. Но чем больше они оформлялись, тем более выявлялась их полярность и несовместимость. Отсюда возникла непримиримая вражда. Но в пылу ее обе стороны не заметили заключенного в ней подвоха.

— А именно?

— Не иудаизм враждовал с эллинизмом. Но враждовали две искусственные производные от них: эллинизированный иудаизм и иудаизированный эллинизм. Тогда как сами эти производные отличались от своих духовных источников, как смешанные цвета от цветов основных.

— Два цвета как ни смешивай выходит то же самое. Как же у тебя получаются противоположности?

— Из-за дуалистичности самой идеи. Если помнишь, речь идет о единстве сущности и формы. Так вот, если мы, с одной стороны, придаем иудейской сущности элементы эллинской формы, а с другой — эллинской сущности элементы иудейской формы, то и получаются непримиримые противоположности, которые не являются уже ни иудаизмом, ни эллинизмом.

— Ну, хорошо, а что же неоортодоксия?

— И неоортодоксия — вовсе не иудаизм, а одна из поздних производных иудаизма, и ее агрессивность выражает степень ее производности.

— Так что же, еврейские корни оказываются липовыми корнями?

— Ты ведь знаешь, как получается гибрид? Пыльца с одного дерева попадает на цветок дерева сходной породы. Такой плод питается от корней, но между ним и корнями нет генетического тождества. А еще есть растения-паразиты, которые тоже питаются от "наших" корней.

— А ты веришь, что в духовном лесу сохранились еще чистые породы?

— Боюсь, что нет.

— Так чем же твоя духовность породистее духовности неоортодоксальной?

— Видишь ли, то о чем мы сейчас говорили — это лишь одна сторона процесса. Но есть и другая.

— Какая?

— Очищение. Это процесс, обратный процессу взаимопроникновения и борьбы. Из каждого "гибрида" ты отбираешь плоды, несущие духовность в относительно чистом выражении, потом еще и еще.

— Но это не другая сторона, а другой процесс. Ведь взаимопроникновение совершается почти что само собой, а отбор требует направляющего разума.

— Верно. Отбор требует творчества. И в этом различие между нами и неоортодоксией. Неоортодоксия недифференцирована, она не развивается, а только размножается клеточным делением, как все примитивные организмы. Все что она может — это захватывать и разрушать: захватывать то, что ей кажется своим, и разрушать то, что кажется чужим.

— Ты говоришь: ей кажется. Что же, на самом деле это не так?

— Когда речь идет о смешении, понятие "свое—чужое" теряет определенность. Например, христианство пыталось поглотить еврейство, потому что считало его, в принципе, своим, и в то же время гнало и разрушало его как чужое. Кстати, есть интересная аналогия между поведением христианства во времена Константина и нашей неоортодоксии.

— То есть христиан по отношению к еврейству?

— Нет, по отношению к язычеству. Ведь и христиане были тогда численным меньшинством, поощряемым центральной властью. И они были религиозными энтузиастами, противостоящими религиозно-скептическому большинству. И все это на фоне глубокого духовного кризиса.

— Что ж, по этой аналогии, неоортодоксы вот-вот станут насильственным большинством.

— Только если поведение большинства будет аналогично Константиновой империи.

— Отчего же ему не быть аналогичным?

— Оттого что мы — евреи, а не язычники.

— Евреи, милый друг, носят кипу, ходят в синагогу, соблюдают кашрут и не ездят в субботу.

— Знаешь, кого напомнило мне твое описание еврея?

— Ешиву в Бней Браке.

— Нет, древнехристианскую общину в Иерусалиме. По христиан-

скому преданию, Иерусалимская община ревностно исполняла все предписания Галахи и пламенно верила в грядущего Мессию.

— И что же из этого следует?

— То, что одна и та же форма может быть выражением различных (хотя и похожих) сущностей. Посмотри, против кого направлена агрессивность неоортодоксии, и ты сможешь проследить нюансы изменений ее сущности.

— Но почему ты упорно связываешь агрессивность с изменениями сущности? Ведь она может быть просто выражением борьбы за существование, как, например, между нами и арабами. Неужели арабская агрессивность против нас и наоборот говорит о каких-то сущностных изменениях?

— А ты обратил внимание, на странное безразличие неоортодоксии к исламу и наоборот, несмотря на то, что ислам является одним из духовных стимулов арабского сопротивления?

— А действительно, почему?

— Потому, что неоортодоксия чувствительна лишь к тем духовностям, элементы которых она несет в самой себе. Ее агрессивность есть следствие внутреннего раздражения, а не внешнего. Внешнее раздражение служит только поводом.

— Так чем же раздражают неоортодоксию реформизм, христианство и светский образ жизни?

— Начнем хоть с тебя. Что, по-твоему, раздражает в тебе ортодоксию, то, что ты светский, или то, что ты еврей?

— То, что светский.

— Почему же ее не раздражают светские неевреи?

— Но я же — светский еврей.

— Вот именно: еврей по сущности, светский по форме. А что, по-твоему, антисемитизм, он против сущности или против формы?

— Против формы.

— Почему же антисемиты боятся и ненавидят и тех евреев, которые не похожи на типичного еврея?

— А какая связь между антисемитизмом и неоортодоксией?

— Ее неприязнь к родственной сущности, являющейся в иной форме, аналогична антисемитской неприязни к иной сущности, являющейся в родственной форме.

Почему же неоортодоксия агрессивна, а мы — нет?

— Когда форма является свободным выражением сущности, не возникает внутреннее раздражение и нет оснований для внешней агрессивности. У неоортодоксии форма задана наперед и канони-

зированной. Если форма не вполне соответствует сущности — тем хуже для сущности.

— Но почему?

— Потому что форма — Бог неортодоксии, и неприятие формы равно богоотступничеству.

— Не на этом ли основана ненависть к реформизму?

— Реформизм ближе к неортодоксии по форме, чем мы с тобой, почему же ненависть к нему сильнее, чем к нам?

— Почему?

— Потому что реформизм — антипод неортодоксии.

— То есть?

— Живя среди неевреев, еврей приспосабливается к чуждому окружению. Альтернатив у приспособления только три: смерть, изгнание и растворение. Там, где есть живые и нерастворенные евреи — это приспособившиеся евреи. Приспособленные же двояко: по сущности и по форме. Если еврей ценит сущность больше, чем форму, он приспосабливается по форме. А если форма для него дороже сущности — приспосабливается по сущности. Когда, волею судеб, пало еврейское гетто, процесс приспособления ускорился и обострился, и из него вышли два антипода: реформизм и неортодоксия. Реформизм — это попытка сохранить еврейскую сущность, сделав уступки в области формы. А неортодоксия — это попытка сохранить форму любой ценой, попытка, неизбежно приведшая к постепенному перерождению сущности еврейства.

— Почему же мы с тобой не реформисты?

— Я думаю, потому, что не приспособлены приспосабливаться. Оттого-то мы и здесь.

— Но и неортодоксы тоже здесь, а реформисты, в основном — там.

— Видишь ли, здесь явилась историческая возможность не только не приспосабливаться самим, но еще и приспосабливать других, как когда-то приспосабливали нас. Реформисты еще в достаточной степени евреи, чтобы не соблазниться такой возможностью. А неортодоксы (по крайней мере, многие из них) уже вполне созрели, чтобы "погойствовать", не отступая от "Шулхан Арух".

— Ну вот, опять неправильные евреи, на этот раз уже не мы.

— Да, правда, грустно все это. Можно отговориться, опровергнуть и даже достаточно убедительно, но правда-то в том, что и мы испытали влияние Платона, и попытки приспособления сущности и формы, и еще много чего, что и перечислять скучно. И что

греха таить, есть тайное желание, чтобы все были похожи на нас. Но невозможно это, а главное -- это ложь. Только в элементарной логике отрицание отрицания равносильно утверждению, а в жизни и утверждение отрицает, и отрицание утверждает, и из противоречий рождаются истины. И есть поражения, которые лучше побед. Потому что человек больше всего того, что говорится и делается людьми. И если даже в рассуждениях невозможно избежать суда, то нам с тобой не избежать скамьи подсудимых, если мы хотим остаться самими собой.

— Так вы, подсудимый, утверждаете, что неоортодоксия нуждается в государстве Израиль, чтобы по вашему выражению "погоствовать, не отступая от "Шулхан Арух"? Тем самым, вы отрицаете религиозные мотивы.

— Это зависит от того, как понимать религиозность.

— Разве не вера обетованию вдохновляет неоортодоксию на борьбу с нами, т.е. с вами?

— Но вера обетованию вовсе не обязательно должна быть религиозной. Факт, что и многие атеисты идут с неоортодоксами рука в руку.

— Действительно. И как же вы это объясняете?

— А ты присядь на мою скамейку и поговорим. Так вот, вопрос это непростой, поэтому возьмем, к примеру, инициативу, как наиболее характерную сторону проблемы. Как, по-твоему, кто должен быть более заинтересован в исполнении обетования, Бог или Израиль?

— Думаю, что Бог.

— Почему?

— Во-первых, элементарная порядочность обязывает исполнять обещанное, даже если тот, кому обещано, молчит. Тем более, когда тебе каждый день об этом напоминают. А во-вторых, никто же не требовал у Бога обещаний, значит, Он хочет исполнить обещанное еще сильнее, чем Израиль — получить обещанное.

— Итак, справедливо предположить, что инициатива исполнения обетований должна принадлежать Богу. Почему же неоортодоксия ведет себя так, будто инициатива принадлежит ей?

То есть, перехватывает у Бога инициативу?

Следуя в этом лучшим традициям атеизма.

— Так она, по-твоему, еще и атеистка?

— Этого я не сказал. Но несомненно, что за последние сто лет сущность ортодоксии приобрела отчетливые черты атеизма, при

том, что форма осталась неизменно-религиозной. Отсюда и революционный радикализм неоортодоксии, отличающий ее от консервативного радикализма ортодоксии традиционной.

– Так ты думаешь, что неоортодоксия верит не столько в обещанное спасение, сколько в религиозную революцию?

– Если вера революционеров-атеистов приобрела черты религиозного мессианства, почему бы религиозному мессианству не приобрести черт революционного атеизма?

– Так по-твоему, мы на пороге религиозной революции?

– Даже в плане теоретическом двойственность порождает несимметричные противоположности. Только черно-белое параллельно бело-черному. Когда же речь идет о взаимодействиях сущностей и форм, $AB \neq BA$, потому что никакая сущность не равна своей собственной форме. Поэтому нет и не может быть параллелизма между революционной религиозностью и религиозной революционностью. Не говоря уже о практической жизни, которая вообще не знает параллелей.

– Как же христианство стало в свое время, политической диктатурой? И почему победила религиозная революция в Иране?

– Христианская ортодоксия была вначале ортодоксией сущности и не смущалась изменениями формы. Когда же, со временем, она переродилась в ортодоксию формы, ю и власть ушла у нее из рук. А исламская революция опирается на абсолютное большинство народа.

– Отчего же у нас не быть ортодоксальному большинству? К тому и идет.

– Мы – евреи – народ жестоковыйный. На нашей шее сломали зубы все попытки обратить нас силой в иную веру.

– Твоими устами да мед пить. Только какая же это иная вера? Да и пополняется она отнюдь не шиитами.

– Это благодаря ореолу "духоносного меньшинства, сопротивляющегося бездуховному большинству". Но чем больше становится неоортодоксов, тем яснее, что "духоносное меньшинство" давит на общество не столько духом, сколько массой, и ореол меркнет на глазах. Что же касается возвращения к вере отцов, то между ней и неоортодоксией сходство чисто внешнее, а такие подделки всегда становятся очевидными, это лишь вопрос времени.

– Прости, не разделяю твоего оптимизма.

– Оптимизм здесь ни при чем. Я вовсе не ожидаю светлого будущего. Ты спросил мое мнение о религиозном возрождении

Израиля, и я тебе ответил, выразив под конец уверенность, что с этой именно стороны ничего особенно страшного нам не грозит и что сравнение с хумейнизмом слишком поверхностно и не соответствует сущности явления.

— Что же займет место неоортодоксии? Реформизм?

— Мы уже видели, что реформизм — это производная того же порядка, что и неоортодоксия. Такие производные рождаются, борются и умирают вместе. Отсюда есть два пути: продолжать плодить производные, все более запутанные и все менее жизнеспособные, или совершить творческий прорыв к основам человечности. Именно такой прорыв и совершили наши отцы, когда языческий мир окончательно запутался во множестве богов, их отношений к природе, к человеку и друг к другу. Если нам, их потомкам, удастся совершить подобный прорыв, то это и будет подлинным возвращением к вере отцов.

— Да как же его совершить?

— А не сразу. Начинать надо всегда с простого.

— Так с чего же?

— С самого простого. Смотри: вот три реальности — Бог, вселенная, человек. Давай попытаемся проследить основные черты их взаимодействия.

— Да какая же это простота? Это ведь проблема проблем.

— И к сложной проблеме можно поставить простой вопрос.

— Например?

— Например, из многообразия взаимодействий выберем простейший тип: 1 — 2 — 3 — и спросим: какие формы принимает такое взаимодействие, если 1 — это Бог, 2 — вселенная, 3 — человек.

— Продолжай, я все равно не понимаю.

— Смотри: Бог — вселенная — человек. О чем это говорит?

— Ну, дальше, дальше.

— Это говорит о том, что вселенная, в данном случае, отделяет человека от Бога и вместе с тем является естественным посредником между ними.

— Ну, и что же?

— А то, что здесь просвечивает древнейшая форма религии: человек, посредством вселенной, приносит Богу материальную жертву, и Бог ниспосылает во вселенную материальное изобилие и мир.

— Неплохо! Ну, дальше, дальше.

— Дальше человек растет. Общение с Богом через посредство

вселенной удовлетворяет его все меньше. С одной стороны, ему любопытно знать, каков Бог сам по себе. С другой стороны, он начинает понимать, что его благоденствие зависит не только от Бога, но и от собственного его поведения. Так начинается процесс очеловечивания вселенной и одновременно материализации Бога. Продолжая обращаться к Богу через вселенную, человек облакает Бога во вселенную. Так зарождается политеизм.

— Допустим. Дальше.

— Облекая Бога вселенной, человек замечает, что это равносильно обожествлению вселенной. То есть вселенная становится формой явления Бога человеку. Человек начинает видеть духовную сторону вселенной.

— Что значит: начинает видеть? Есть у вселенной духовная сторона или нет?

— В рассматриваемой системе отношений, (человек — вселенная — Бог) нет у человека возможности провести границу между вселенной и Богом. Человеку противостоит Боговселенная, и его знание о ней — это производные и производные от производных, отличающиеся одна от другой тем, что в них представляется сущностью, а что — формой.

— А как же произошел переворот к монотеизму?

— Именно переворот, это самое точное определение. В то время, как языческая мудрость дробила вселеннобожие на множество производных, встал один и сказал: продолжать дробление бессмысленно, нужно пересмотреть саму систему. Почему многообразию вселенной должно разбивать духовное начало на куски? Почему не наоборот: духовное начало есть единство многообразной вселенной? Бог един именно потому, что вселенная многообразна.

— Вывод абсолютно не очевидный.

— В том-то и состоит его гениальность, что это не вывод из прежнего видения мира, а новое видение того же мира. Там, где многие видели вселеннобожие, один увидел Бога вселенной, и это было переворотом человеческого восприятия. Но прежде, чем оно дошло до сознания многих, оно как бы накладывалось на прежнее восприятие, и отношение к Богу вселенной еще долго выражалось в привычных формах вселеннобожия. Позднее оно приняло форму служения Закону.

— Каким же образом?

— Закон заменил вселенную в качестве посредника.

— Но почему?

— Потому что еще один человек совершил еще один переворот сознания: он сказал, что Бог вселенной — Он же и Бог человека.

— Что же в этом революционного?

— Что революционного? Если первый переворот был переворотом восприятия отношения человек — вселенная — Бог, то второй переворот был ломкой прежнего отношения и заменой его новым отношением Человек — Бог — вселенная или иначе: Бог вселенной есть Бог человека. Это и есть отношение, определяющее многообразие восприятий и воззрений современного человека.

— Ты не ответил про Закон.

— Теперь могу ответить. Дело в том, что новое отношение поставило человека в непосредственную близость с Абсолютом. Но это породило невероятной силы духовное напряжение, которое человек не в состоянии вынести. Явилась необходимость в духовном посредничестве. Закон и есть такой посредник. Таким образом, отношение человек — Бог — вселенная превратилось в отношение человек — Закон — Бог — вселенная. Бог человека стал Богом Закона, а Закон — Законом человека.

— А что же вселенная? Неужели она сдвинулась со своего места только потому, что кто-то предложил новую систему отношений?

— Разумеется, нет. Но совершился переворот в сознании. В сознании человека вселенная уступила место сначала Богу, а потом Закону, и оказалась вытесненной на самую периферию сознания.

— Но она же — тут, перед глазами.

— Конечно. Потому-то и произошло раздвоение представления о вселенной — на вселенную, в которой человек живет, и на вселенную, которую он созерцает через Закон и через Бога.

— Погоди. Да ведь тут есть основание и для науки, и для аскетизма, и Бог знает, для чего еще!

— Именно. Но необходимо отметить, что новая система отношений не вытеснила старую систему из сознания человека, а наложила на нее. И это сообщило человеческим представлениям множество оттенков, порожденных наложениями и комбинациями наложений. И когда я пытаюсь проследить эти комбинации, у меня просто раскалывается голова от их многообразия.

— И все же тебе не уйти от примера.

— Но только в самом первом приближении, иначе мы никогда не кончим.

— Ну, хотя бы мировые религии.

— Систему человек — Бог — вселенная подарили миру еврейские

пророки. А иудаизм — это преодоление Бога Законом и преодоление вселенной Законом. Это — уничтожение вселенной и вместе с тем представление о вселенной грядущей, нисходящей от Бога через Закон и идеально согласованной с Законом. Это — возвышение человека над вселенной, благодаря той автономии, которую сообщает человеку общение с Богом посредством Закона, (а не посредством вселенной), и превращение человеческого разума в силу, влияющую на вселенское бытие.

— Ну, а христианство?

— В христианстве нужно различать два периода: еврейский и нееврейский. В нееврейский период христианство настолько близко иудаизму, что на выяснение разницы между ними (а она есть) просто жалко времени. Еврейский же период христианства интересен своим отличием от иудаизма. Вообще, говоря об этом периоде христианства, следует выделить его семантически, чтобы отсечь не идущие к делу ассоциации. Давай назовем его мессианским периодом.

— Кстати, как ты определяешь мессианство?

— Это попытка возвращения к первоначальной чистоте пророческой системы человек — Бог — вселенная, т.е. преодоление Закона. Закон, явившийся как выражение божественного единства вселенной, оказался со временем раздроблен реальным бытием точно так же, как раздробилось божественное начало мира в политеизме.

— Каким же образом?

— Пытаясь свести все явления бытия к божественному единству, иудаизм старался растянуть Закон на все известные ему явления. Но единство не выдержало такой растяжки и разорвалось на множество отдельных заповедей, часто противоречащих друг другу. Божественность Закона перешла на его части, превратив их в подобие Пантеона с единым Богом во главе.

— И что же мессианство?

— Мессианство восстало против раздробленного Закона, переставшего выражать божественное единство. Закон не оправдал оказанного ему доверия. Вместе с тем раздробленность Закона и неудовлетворенность человека раздробленным Законом породили новое представление: человек больше Закона, и Закон должен уступить место Человеку, который возьмет на себя посредничество между человеком и Богом.

— По образу древнего пророчества.

— И да, и нет. Древнее пророчество оказалось, в каком-то смыс-

ле, пройденным этапом. Пророки умерли, и на смену им пришел Закон. Необходимо было, преодолевая Закон, преодолеть и смерть, только тогда победа Человека была бы полной и окончательной.

— Йешу!

— Да. С именем Йешу связано чистое мессианство, нашедшее свое полное и единственное выражение в еврейском христианстве. Оно очень скоро исчезло, уступив место вульгарному мессианству Бар-Кохбы, компромиссному мессианству послехристианского иудаизма (Мессия — исполнитель Закона) и теологическому мессианству нееврейского христианства (Мессия — член божественной Троицы).

— А что же ислам?

— Я не знаток ислама. В двух словах, ислам — это наложение мессианского сознания на допророческое отношение человек — вселенная — Бог, минуя промежуточные ступени. Поэтому Человек ислама преодолевает на пути к Богу не Закон, а вселенную. Аналогичное явление присутствует (хотя и не доминирует) и в нееврейском христианстве и по той же причине. Отсюда раздел вселенной между христианством и исламом.

— А откуда различие между ними?

— Тут сыграл роль глубокий кризис политеизма, пережитый греко-римской культурой (и не пережитый бедуинами Мухаммеда). У греков не было пророков, которые первыми среди людей выразили непосредственное отношение человека к Богу. Но зато у них были философы, глубоко чувствовавшие связь между вселенной и Богом. В сознании философов тоже совершился переворот: вместо множества богов политеизма они увидели божественное многообразие вселенной.

— Божественное многообразие? Не божественное единство?

— Божественное многообразие есть явление божественного единства во вселенной. Это-то явление и открылось греческим философам. Изучая его, они нашли, что понять вселенную можно только через божественное посредство, которым является...

— Закон!

— Именно! Божественный Закон явился посредником уже не между человеком и Богом, как в иудаизме, но между человеком и вселенной.

— И стало быть, формула греческой философии: человек — Закон — Вселенная — Бог. Так вот, где она сошлась с иудаизмом... Неплохо.

— Но в отличие от Закона иудаизма, который превратился со временем в раздробленное единство, Закон философии, начавшись как собрание эмпирических правил, не связанных друг с другом, все более и более обобщался. И однажды обобщенность Закона привела философа к откровению: единство Закона вселенной — это единство Бога вселенной. Так еврейское мессианство нашло себе подготовленную почву в греческой культуре.

— Но послушай, если Закон действительно един, как же он оказался раздробленным?

— А ты разве не понял, что речь идет не об одном Законе, а о двух?

— Да ведь это же ты все твердишь о Законе.

— Верно. Только на сравнительно поздней стадии стало очевидно, что Закон, посредствующий между человеком и Богом, и Закон, посредствующий между вселенной и человеком, суть два совершенно различных закона, не выводимых один из другого.

— Конечно же. Ведь человек и вселенная — не одно и то же.

— Между тем это стало очевидно лишь сравнительно недавно. А до тех пор, пока человек сознавал себя составной (иногда — главной, иногда — второстепенной) частью вселенной, было совершенно очевидно, что речь идет лишь о двух сторонах того же Закона.

— Неоортодоксы!

— Что неоортодоксы?

— Выводят физику из Галахи. Но это так, к слову. Так ты говоришь: два закона.

— Два: закон человека и закон вселенной. Причем, закон человека обнаружил тенденцию к раздроблению, а закон вселенной — наоборот, к обобщению.

— Так что же, закон вселенной более божественен, чем закон человека?

— Именно этот вопрос положил начало процессу, приведшему к отрицанию религии. Интересно, что религию стали отрицать по той самой причине, по которой некогда утверждали, а именно потому, что только единство считается божественным. О чем это говорит?

— О том, что и утверждение, и отрицание происходит в рамках одного и того же отношения. Это понятно. Но ведь отрицание религии приводит к отрицанию Бога. Что же это — новое отношение?

-- Давай, посмотрим. В общих чертах, современную ситуацию можно представить, как наложение двух отношений: человек--Закон--Бог--вселенная и человек--Закон--вселенная--Бог. (На самом деле, все отношения, начиная с древнейшего, участвуют в наложении, но влияние их на общий результат вторично). Что же получается?

-- Ну, человек -- он и есть человек, с этим все ясно. Дальше -- законов, ты говоришь, два, значит, они вступают в борьбу. Дальше...

-- Погоди. Даже и с человеком далеко не все ясно. Дело в том, что нет уже просто человека, а есть человек закона. Законов же (религиозных) несколько и есть еще нерелигиозные законы и закон природы. Так что не только законы борются, но и люди, отождествляющие себя с этими законами. А если вспомнить, что у каждого закона есть сущность и форма и все они взаимопроникают и взаимоискажают друг друга, получается невообразимая путаница.

-- Так. Но, по крайней мере, есть только одна вселенная и только один Бог.

-- Верно. Но поскольку речь идет о наложении двух отношений, в которых Бог и вселенная меняются местами, то Бог накладывается на вселенную, а вселенная -- на Бога.

-- То есть, снова боговселенная и вселеннобожие, как в политеизме?

-- С той разницей, что теперь они воспринимаются не непосредственно, как в древности, а через несколько различных законов. Глядя на эту картину непредвзято, можно сделать только два вывода: либо вселенная божественна, но Бог недосягаем, либо то, что называют Богом, есть всего лишь закономерность вселенной, свойственная ей по естеству. Так или иначе -- Бог исчез.

-- Так может, это и есть последняя истина?

-- Когда человек говорит "последняя истина" -- это значит, что он окончательно запутался. Для того, кто находит выход из тупика, истина всегда первая.

-- А ты нашел выход из тупика?

-- Тупик -- это отсутствие выхода, а выход -- отсутствие тупика.

-- Так есть тупик или нет его?

-- Это зависит от того, как смотреть. Когда-то наши отцы посмотрели на тот же мир, но иначе, и увидели, что Бог един. Но это видение преобразило мир.

— И запутало его, в конце концов.

— Путаница произошла в конце, а до тех пор человек узнал о себе, о вселенной и о Боге много важного и захватывающе интересного. И это уже после того, как было сказано, что нет нового под солнцем.

— Что же осталось нового под солнцем на сегодняшний день?

— Хорошо забытое старое — как сказал мудрец. Ты давно перечитывал книгу Бытия?

— Я помню ее почти наизусть.

— Это не всегда помогает. Скажи мне вкратце: как был создан мир?

— Вначале сотворил Бог небо и землю. Потом пять дней землю устраивал. Потом сотворил человека по образу как подобие и поставил его над всей живностью.

— И что отсюда следует?

— Сорок тысяч томов комментариев.

— Отсюда следует отношение Образ--человек--вселенная.

— То есть?

— Не вселенная посредствует между человеком и Богом. И не Бог посредствует между человеком и вселенной. Но человек посредствует между вселенной и образом Бога.

— Ну и что же? Чем это отношение лучше других? Ты же сам говорил, что человек не выдерживает близости Абсолюта. Значит — опять человеческий Закон и опять его дробление, и опять все сначала.

— Но Образ Бога не есть Абсолют, но п о д о б и е Абсолюта. И нет нужды в посреднике между человеком и Образом. Более того, Образ не вне человека, как Бог пророков, но внутри него. Для человека е с т е с т в е н н ы й непосредственный контакт с Образом.

— Почему же этот контакт не осуществляется?

— Потому что человек находится в плену прежнего отношения, в котором Бог открывается через Закон или через вселенную. Человек ищет Бога не там, где Бог может ему открыться. Ведь мы уже видели, что наложение отношений слило Бога со вселенной.

— А что же вселенная?

— Вселенная, в отличие от Образа, остается вне человека. Но, в отличие от пророческого отношения (человек—Бог—вселенная), она остается и в непосредственной близости к человеку.

— И нужда в грядущей вселенной отпадает!

— Совершенно верно. Вселенная перестает раздваиваться, и человек возвращается в ту реальность, в которой он живет.

— А что же Закон?

— В качестве Закона остается единый Закон вселенной, свидетельствующий о ее божественном происхождении.

— Значит, есть все же посредник между человеком и вселенной?

— Есть. Но изменилось направление посредничества. В философском отношении человек—Закон—вселенная—Бог человек оказывается наименьшим и подчиненным членом отношения. Посредничество Закона направлено от Бога и вселенной к человеку. В новом отношении посредничество направлено от Образа—человеком—через Закон— во вселенную: Образ—человек—Закон—вселенная. Человек становится господином вселенной, благодаря образу, и управляет ею посредством Закона.

— До сих пор, пытаясь управлять вселенной, человек только вредил и ей, и себе. А ты еще оправдываешь это Законом.

— Следуя прежнему отношению, человек, пытаясь управлять вселенной, управляет ею незаконно. В рамках прежнего отношения человек оказывается ниже Закона и ниже вселенной даже в собственных глазах. Чтобы управлять вселенной законно, а главное, чтобы сознавать себя законным правителем, человек должен видеть внутри себя Образ. Образ сообщает человеку свое преимущество перед Законом и вселенной и делает человека подобием Бога во вселенной. И поступая по образу, человек поступает именно так, как того требует благо вселенной.

— А если человек не хочет блага вселенной, а только собственного блага?

— Это значит, что он все еще под вселенной и под Законом, и разрушит самого себя еще раньше, чем успеет разрушить вселенную. Закон служит благу вселенной. Следуя ему, человек пользуется благом вселенной, отступая от него — вредит себе.

— То есть, чтобы действительно управлять вселенной, нужно поступать сообразно образу, и поступая несообразно, человек восстанавливает против себя вселенную. Но как же ему узнать: когда он сообразен, а когда — нет?

— Начало просто — это правило Гиллеля: что ненавистно тебе, того не делай другому. Именно с него начинается познание Образа, который внутри нас. Иди и учись!

— Но Гиллель посылал учить Закон.

— Потому что тогда начиналась эпоха Закона. Но эпоха Закона окончилась. Начинается эпоха Человека.

ПОРТРЕТЫ В ПРОФИЛЬ

Александр Воронель

ПРАВО БЫТЬ УСЛЫШАНЫМ...

Совершенно не доказано, что справедливое возмездие существует. Если относительно добродетели Б.Спиноза, кажется, замечательно вышел из положения, провозгласив, что она содержит свою награду в себе самой, то относительно порока подобное же предположение могло бы многих смутить. Т.е. с одной стороны, как-то неубедительно выглядит мысль, что порочных людей мучит, или хотя бы смущает, сознание собственных грехов, а с другой стороны, мы живем в такое время, когда деление людей на праведников и грешников кажется уж очень неадекватным. Речь, по-видимому, может идти только о мерах и степенях порочности.

А где же тогда искать свидетельства мук совести, самонаказания греха?

В литературе, где же еще. Каждый день включаются все новые и новые участники в бесконечную коллективную исповедь, которой в сущности и является русско-язычная пресса на Западе, и скоро, кажется, некому уже будет ее читать... Мы, однако, видим свою задачу именно в том, чтобы она существовала. Чтобы историческое свидетельство существования нашего поколения дошло во всей его полноте, без изъятий.

В №46 нами были опубликованы воспоминания друзей о драматических событиях, сопровождавших знаменитый процесс Синявского и Даниэля, на котором двадцать лет назад судили двух писателей за их книги, опубликованные за границей под псевдонимами. Однако, правильно было бы назвать нас и весь круг людей, о которых шла речь, друзьями Синявского, Даниэля и **Хмельницкого**. Ибо поэт С.Хмельницкий вместе с А.Синявским и Ю.Даниэлем был участником того узкого кружка, из которого изошла эта

подпольная литература, а повесть Даниэля (Н.Аржака) "Искупление" целиком посвящена ему. На процессе Синявского-Даниэля Сергей Хмельницкий проходил свидетелем, но протокольный язык "Белой Книги" совершенно не отражает того действительного значения, которое придавалось его свидетельству обществом и, возможно, КГБ.

Дело в том, что широко известному, благодаря западной прессе, процессу Синявского и Даниэля, организованному властями, предшествовал общественный, так сказать, — домашний процесс Хмельницкого, организованный его собственным дружеским кругом и известный далеко не так широко. Этот круг подверг С.Хмельницкого остракизму, оказавшемуся, однако, не менее эффективным, чем возможное осуждение властей, и соперничавшему в сознании современников с репрессиями КГБ. Срок приговора, к тому же, оказался более длительным, чем сроки, которыми располагала Советская власть. Это произошло в мае 1964г. И сегодня еще нельзя сказать, что эта история кончилась.

Прежде, чем я попробую сказать что-либо о существовании дела, я изложу события в той их последовательности, как они представлялись в Москве 60-х годов.

... Гости съезжались на дачу. Поздоровавшись с Еленой Михайловной и скинув шубы, проходили к столу, где янтарного цвета чай, заваренный в лучшей манере, разлитый в тонкие стаканы с подстаканниками, напоминало старинном московском гостеприимстве, дореволюционной интеллигентности и сегодняшнем неустраивании. Впрочем, к чаю были и коржики, скромные, но изысканные.

Гость, ворвавшийся позже других, с мороза раскрасневшись, не мог сдержать возбуждения. Торопливо выкрикнув: "Что я сейчас слышал! Что слышал..." — и обеспечив себе таким образом всеобщее внимание, он жадно уткнулся в горячий чай. Переведя дыхание, сообщил: "Только что... По автомобильному приемнику... Радио "Свобода"... Потрясающая повесть... "День открытых Убийств"... Какой-то Николай Аржак... Невероятно... Невообразимо талантливо... Вся наша жизнь..."

Увлечены были все. Но с одним гостем определенно творилось что-то неладное. Сергей Хмельницкий краснел, бледнел, задыхался и, наконец, вскочил и заорал: "Да ведь это Юлька! Я — я сам — подарил ему этот сюжет. Больше никто и не знал. Больше никто и не мог. Больше некому. Конечно, это Юлька..."

Я не знаю, на самом деле, как подробно он это обосновал. Я

также не знаю, сколько стукачей присутствовало среди гостей, спустя сколько времени они доложили об этом случае и как подробно... Но я знаю, что чай у Елены Михайловны не простыл, когда Юлию Даниэлю уже доложили, что он выдан с головой... За полвека, что власти в СССР ведут войну против своего народа, народ тоже кое-чему научился. Приемы партизанской войны известны, и жестокость партизан может соизмеряться только с тотальным устрашением, практикуемым властями.

Юлий отказался встречаться с Сережей. Мы обсуждали две возможности: или Сережа искренне и невольно выдал Юлия в этом смертельно опасном деле, или... он сознательно воспользовался ситуацией, изобразив эмоциональный взрыв, чтобы распределить между случайными гостями ответственность за неминуемый арест Юлия, который тогда вскоре должен последовать. Это второе предположение включало, что Сережа давно и обдуманно следит за Юлием и Андреем. К такому выводу неумолимо толкала логика партизанской войны. Могло ли так быть на самом деле? Тут и всплыли слухи о том, что произошло пятнадцать лет назад с Ю.Брегелем и В.Кабо. Ведь они тоже были близкими друзьями Сережи... Мы уже не могли чувствовать себя друзьями (не только с Сережей, но и между собой), пока не узнаем всю истину об этом мрачном деле. Анатолий Якобсон в своей brutальной манере объявил, что убьет всякого, кто допустит, что Сережа "заложил" Брегеля и Кабо. "А что ты сделаешь, если окажется, что он, все же, заложил их?" — "Тогда я убью его самого!" Как по-юношески славно это звучало! Каким оплеванным и убитым он выглядел, узнав эту истину, услышав ее из уст самого Сергея! Он был самым молодым среди нас. И дальше всех от сталинских времен. От тотального ужаса и от эпидемии предательства... И от оправдания его.

Мы разыскали Брегеля и Кабо. Мы узнали эту печальную истину прежде, чем она превратилась во всеобщее достояние. Мы опередили события ненамного. Брегель и Кабо сами пошли навстречу общественности. Они задумали небывалый в советском обществе поступок и мужественно осуществили его. Воспользовавшись буквой закона, позволяющей любому человеку свободно высказаться о личности диссертанта во время его защиты, Ю.Брегель в апреле 1964г. на защите Хмельницкого публично зачитал заявление от своего и В.Кабо имени, вскрывающее роковые подробности дела. Он объяснил при этом, что не хочет никоим образом повлиять на

голосование о присуждении ученой степени С.Хмельницкому, а только вынужден воспользоваться этой трибуной, за отсутствием в советском обществе всякой другой...

Я помню, что мы еще много лет после этого спорили с М.Гитерманом и М.Азбелем, как должны были бы реагировать члены Ученого Совета и как голосовали бы мы сами, если диссертация была бы посвящена физике... Сережа диссертацию защитил... Но он столкнулся с молчаливым бойкотом на всех уровнях.

Может быть, этот бойкот не был бы таким тотальным, если бы у Сергея хватило мужества не дожидаться, пока его публично разоблачат, а раскрыться друзьям раньше. Может быть, почувствовав, что он попал в скверную ситуацию у Елены Михайловны, он должен был бы примчаться к Даниэлю и сам рассказать и о своей неловкости, и о своем прошлом. Может быть, это и не повлияло бы на его дальнейшую карьеру, но, безусловно, облегчило бы душевные трудности. Якобсон не убил бы его, и ненависть и презрение к нему в московском обществе не были бы столь тотальными. Никто не связал бы потом его дела с последующим делом Синявского и Даниэля... Но ведь для этого нужно было бы ему быть другим человеком... Ведь и оказавшись, в конце концов, на месте Брегеля и Кабо, он тоже, возможно не умер бы, а спустя пять лет, реабилитированный, стал бы украшением столичного круга искусствоведов и археологов... Кто мог бы тогда это предвидеть?

Факт состоял в том, что, уже будучи опозорен и заклеяв, он собрал нас всех не для того, чтобы покаяться, а для того, чтобы оправдаться... Нам было мучительно стыдно слушать его (тоже вымученный) лепет, но он ни разу не обратился к нам, как к друзьям. Он воспринимал нас, как преследователей...

Юлий совершенно извелся. Он сам не мог понять, приближает ли собственную (и Андрея Синявского) гибель или защищает. Напрасно ли мучит Сергея (потому что я чувствовал, что он что-то знал о Сереже и раньше) или восстанавливает поправленную справедливость. Что мне кажется ясным, мы все убедились после этого судилища, что за Юлием и Андреем он не следил, и к их делу был действительно непричастен.

Сергей остался без работы, без друзей в Москве, которая превратилась для него в пустыню. В результате его оправданий все друзья получили дополнительную уверенность не только в правоте заявления Брегеля, но и в том, что сам Сергей этой правоты не

сознает, не раскаивается и, следовательно, заслуживает своей участи. В кругах непосредственно с Сергеем не знакомых он превратился чуть ли не в пугало. Людям вообще легче объединяться на основе чувств отрицательных.

С. Хмельницкий уехал в Душанбе, оставив у московской интеллигенции приятное чувство, что порок наказывается при жизни, а добродетель торжествует...

Впоследствии, на допросе в КГБ по делу Синявского и Даниэля, я очень внимательно вслушивался в характер и формулировки вопросов, пытаюсь уловить в них что-нибудь характерное для Сережи... Этого не было. Они явно пользовались магнитофонными записями, но даже в расшифровке их (когда, кто говорит) делали такие ошибки, которых не могло бы быть, если бы в этом участвовал кто-нибудь из близких друзей. Даниэль, выйдя из тюрьмы, подтвердил это впечатление. По-видимому, это так и есть.

Мы вычеркнули Сергея из нашей жизни. Множество других людей позаботилось, чтобы это не прошло для Сергея безболезненно. В КГБ уважительно и опасливо упоминали об этой общественной расправе. Когда в связи с процессом Синявского-Даниэля то тут, то там снова всплывало имя Хмельницкого, находилось множество доброхотов звонить за свой счет в Душанбе и сообщать тамошним интеллигентам, что Сергей ужасный человек и с ним не следует иметь дела. Я помню, что та эпидемия общественной активности даже заставила меня, находящегося посреди служебных неприятностей, происходивших от противоположной причины, удивиться, почему не находится ни одного желающего позвонить по месту моей службы, чтобы засвидетельствовать, что я как раз хороший человек и меня следует поддержать...

Итак, мы вычеркнули Сергея из нашей жизни... Но он неожиданно возник на страницах романа А.Синявского "Спокойной ночи!" Конечно, мы узнали его... И вот он сам прислал нам рукопись "Из чрева китова", которая хотя и носит литературный характер, является человеческим документом. Мы не чувствуем себя вправе его игнорировать. Собственно наше отношение к А.Синявскому и его творчеству выражено в нашем обширном интервью, посвященном 20-летию Процесса. Никакого нового элемента в эту оценку письмо С.Хмельницкого не вносит. Вся фактическая сторона дела, которая была нам известна и которая может быть угадана из романа "Спокойной ночи!" тоже не представляет, на мой взгляд, глубокого интереса. Но в письме скрыто потрясающее свидетельство

ство о человеческих взаимоотношениях, которое гораздо важнее и шире по смыслу, чем вопрос о том, кто из них про кого хуже сказал.

Пятьдесят лет назад начали эти люди свой жизненный путь вместе. С коротких штанов началась их дружба-соперничество. Их интимная дружба сопровождалась смертельным страхом и ледяным недоверием. И ложью. Возможны ли такие отношения? Может быть, только такие и возможны?.. Синявский, во всяком случае, свидетельствует, что они не просто дружили. Они делились мельчайшими движениями души. Они упивались взаимопониманием. При этом он пишет, что в любой момент ждал ножа в спину... Каин и Авель? Я думаю, что подобное свидетельство сталинской эпохи еще никогда не было опубликовано. И я думаю, оно представляет собой психологическую правду. Прежде всего, правду о том времени. Но также и общечеловеческую правду в том смысле, что Синявский так думал и чувствовал.

Имеет ли эта правда отношение к Хмельницкому? Оказывается, он, бывший для Синявского и эстетическим героем, и смертельной угрозой, не ощущал этого. Потерявши всех друзей и поруганный всеми, он потянулся за утешением... к Андрею.

Андрей всегда знал, что Сережа хуже его, но эстетически как-то цельнее, и он десятилетиями строил внутри себя такую эстетику, в которой Сережу превосходил. Судьей в этом он признал бы только Сережу и мечтал прочитать ему свои вещи. Сергей знал, что он хуже Андрея. Но он ценил свою дружбу с ним и черпал утешение в его признании. Десятилетиями, сравнивая свои поступки с Сережиными и с возрастом все более убеждаясь в своем моральном превосходстве, Андрей перешел, наконец, тот предел, за которым реальный мир (и человек) отличается от манихейского идеала. Его образ Сережи собрал не только все Зло, как таковое, но и эстетизацию зла. Именно здесь приходит отрицание отрицания, превращающее злого человека Сережу в хорошего. Ибо вдруг выясняется, что он не злоумышлял против Андрея. И даже не догадывался, что его в этом подозревают. Возможно ли это?

Вся эта история говорит, что возможно. И сколько бы мы не осуждали его за Брегеля и Кабо, несомненно остается, что никаких других его грехов мы не знаем. За это преступление он был наказан. Сам факт наказания выделяет Хмельницкого. Ибо все же следует признать, что большинство преступлений в этом мире остаются неотомщенными. И поскольку он свое наказание претерпел,

он имеет право высказаться и быть услышанным. Никакая добродетель не может получить такого окончательного патента на правоту, при которой не оставалось бы "другой стороны". И никакой злодей при жизни не сумел еще окончательно решить вопроса о добре и зле, присвоив себе всю полноту одной стороны.

Сергей Хмельницкий

ИЗ ЧРЕВА КИТОВА

Последнюю часть своего выдающегося произведения "Спокойной ночи" Андрей Донатович Синявский почти всю — больше ста страниц — посвятил мне. Правда, он не назвал мою фамилию, а только имя — Сергей, Сережа, временами почему-то стыдливо заменяя его инициалом С. Речь, однако, идет именно обо мне. Это доказывают и обильные биографические реалии, и цитаты из моих стихов, правда — перевранные, но вполне узнаваемые.

Я мог бы сознаться, что нахожу книгу "Спокойной ночи" плохой — безвкусной, вычурной и претенциозной. Но мне справедливо возразят, что я являюсь основным отрицательным героем этой книги и потому не могу судить о ней объективно. Поэтому Бог с ней, с книгой. Поговорим о моем портрете, нарисованном в ней.

Этот портрет ужасен. Я представлен негодяем, подлецом, подонком, органическим предателем. И даже просто не человеком — исключением из биологии (прямым текстом), "скорлупой", из которой вырезана душа. И так далее. Все гнусное, что может сказать человек о другом человеке, тем более — о долголетнем друге и соучастнике, сказал А. Д. обо мне. Сказал, справедливо полагая, что в контраст с моей черной личностью его собственная безупречная личность чудесно высветится. Кроме того, тут веет и совсем высокими материями, не названными, но подразумеваемыми:

философский дуализм, извечная борьба тьмы со светом. Потому что если я есть воплощенное зло (а в этом А. Д. не оставляет сомнений), то сам А. Д. получается воплощенным добром или стоит где-то рядом. А о том, чтобы его личность выглядела как можно привлекательней, даже и в исторической перспективе (и особенно в ней), — об этом А. Д. сейчас очень и очень хлопочет.

С чувством законной гордости должен признать, что я не ангел. У меня скверный характер, и к окружающим меня людям, среди них и очень близким, я часто отношусь несправедливо и плохо. На моей совести много грехов, среди них по крайней мере один — неискупимый. В разные годы жизни я совершил немало нелепостей и глупостей, — вспоминая о некоторых сейчас, испытываю стыд, доводящий до судорог. Должен с прискорбием сознаться, что именно я познакомил когда-то А. Д. с Ю. Даниэлем (что вышло последнему боком), и с его нынешней супругой Майкой (ныне Марьей) Розановой-Кругликовой. Словом, я признаю, что число моих недостатков и слабостей, возможно, превышает среднестатистическое количество этого добра на одну человеческую душу.

Тем не менее я убежден, что А. Д. сочинил обо мне вопиющую клевету. Это убеждение разделяют со мной разные люди, — и те, кто знает меня долгие годы, и те, кто сблизился с нашей семьей сравнительно недавно. Те и другие, однако, хотели бы понять, почему известный литератор, близко знавший меня с детских лет, и никогда — это надо подчеркнуть, явно не состоявший в моих врагах, — написал обо мне кошмароподобную ложь. Ложь, которая, подобно социалистической культуре, едина по содержанию и разнообразна по форме: тут и целиком выдуманные положения, и выдуманные наполовину и более, и — все без исключения — заведомо ложно истолкованные. Бестрепетной рукой вложил А. Д. в мои, так сказать, уста слова и целые монологи, которые я никогда не произносил, а в мой грешный мозг — мысли и рассуждения, от которых в ужасе отшатнулся бы сам товарищ Сталин.

Во все это нужно внести ясность. Наверно, А. Д. был вменяем и понимал, что делает, когда превращал мелкие и мельчайшие события нашей юности в материал всем доступной публицистики. Может, он и в самом деле считал меня умершим (есть на это в тексте прямые намеки)? Или хотел таким способом застраховать себя от обвинений в клевете, — дескать, написано о покойнике,

чего ж протестует живой? Не знаю. Но помните, что сам он сидит в стеклянном, очень ненадежном доме — это А. Д. должен был. А он забыл. Или так был чем-то напуган, что решил спасти остатки своей репутации таким вот неожиданным ударом в непредусмотренном и, как ему показалось, безопасном направлении. Если это так, то боюсь, что А. Д. ошибся.

Я защищаю себя от неспровоцированной клеветы, которая стала общественно-литературным явлением и, значит, вышла за рамки личных отношений. Делая это, я не только следую защитному рефлексу. Публично очернив мою скромную личность, А. Д. нарушил неписанный закон, соблюдавшийся нами (за себя я ручаюсь) долгие годы, — закон молчания о вещах, которые нас обоих совсем не красили. Тем самым он оказался вне этого закона и подпал под действие другого, который гласит: народ должен знать своих стукачей.

Забавно: А. Д. пишет неправду даже тогда, когда сообщает обо мне вещи, казалось бы, сугубо для меня лестные. Он, например, изображает меня, школьника, носителем высочайшей элитарной культуры, здаким прирожденным аристократом. "Сердоликом, не нуждающимся в шлифовке и ждавшим лишь с годами подобающей оправы". Законным, понимаете ли, наследником нового западного искусства, представленного джентльменским набором: импрессионисты, Сезанн, Гоген, Ван-Гог. Правда, я был начисто лишен вульгарного чувства товарищества (вот ведь гад), но новое европейское искусство унаследовал — нет, вы не поверите! — как родовое поместье. Словом, для Андрюши Синявского, будущего А. Д., я был носителем самой-самой высокой, изысканной, современной, аристократической и проч. культуры, — и все это по природному праву, от рождения. Мои детские стихи он и сейчас, представьте себе, осмеливается ставить рядом со стихами Гумилева (которого, как и многое другое, по его словам, узнал от меня) и даже согласен издать их в наши дни, — в "гумилевском", как он его понимает, оформлении, то есть, конечно, в тисненном переплете. И эти превосходные и изысканные стихи я писал, как точно помнит А. Д., с одиннадцатилетнего возраста. Вот ведь память! Впрочем, А. Д. еще не раз удивит нас умением запоминать мелкие, но очень важные вещи. И даже дословно целые разговоры, состоявшиеся полвека назад. Смее заверить, что все это лажа. Или, как выражается один мой знакомый, милейший человек, — фуффло. Я был нормальным советским ребенком тридцатых годов, отпрыском интеллигентной семьи, к эстетам и аристократам ни малейшего отношения не имевшей. Мои родители принадлежали, говоря и ныне здравствующим жаргоном, к технической интеллигенции. Они любили литературу и искусство, читали мне стихи и водили в музеи, привили мне свой — по-моему, хороший — вкус. Не думаю, чтобы они особенно глубоко разбирались во всем этом, но уровень советской технической интеллигенции был тогда, не в пример нынешним временам, довольно высок и в области культуры. Таковы же были многочисленные друзья и знакомые моих родителей, и тысячи им

подобных интеллигентных семей. Таковы были и их дети, достаточно большая прослойка (наверно, особенно многочисленная в Москве, Ленинграде и Харькове), к которой принадлежал и я. Эти дети довольно рано узнавали дома Блока и Гумилева (но не Цветаеву, не Мандельштама), а в московском музее нового западного искусства — это самое искусство, тогда не запрещенное, но отнюдь и не пропагандируемое.

Так что не был я тогда отшлифованным сердоликом, эстетом-одиночкой. А то, что А. Д. меня таким видел и, вроде бы, продолжает видеть до сих пор — всего лишь следствие того, что юный А. Д. тогда никакого отношения ни к какой культуре, даже усредненной, не имел. Моя скромная интеллигентность виделась ему позтому сверкающими вершинами культуры, мои умеренные познания в поэзии и живописи были, в его глазах, признаками художника "с колыбели, с начала, с яйца". Обмолвился А. Д., что тогда, в школьные годы, я был его наставником, к тому же и смелым. Это, пожалуй, преувеличение. В те времена А. Д. находился на таком уровне культуры, что поднять его на чуть более высокий уровень не составляло труда. Начинал он, правда, с одичалого нуля: с Писарева и официально-советского Маяковского. Мы все тогда были ортодоксами, советичами, но юный А. Д. был среди нас самый оголтелый. Во всяком случае, именно ему я посвятил такой стишок:

Я кристально чист,
Социально бел.
Если б я пораньше родился,
Я бы был чекист,
Я бы был комбед.
Я б с врагами как дьявол бился.
К сожаленью, я
Родился, вопя,
На восьмом году социализма,
Но душа моя
Социальная
Идеально чиста как призма.

Этот правоверный экстремизм ему привили, конечно, в семье. Какую общественную группу представляли его родители — я никогда не мог понять. Вроде должны были быть приличные люди: отец литератор, даже писатель, мать школьная преподавательница. Откуда же тогда изначальная культурная дремучесть А. Д., от которой я, по собственным его словам, помог ему избавиться? Впрочем, по его же гордым словам, он меня быстро переплюнул. Наверстывая упущенное, перешагивал буквально моря (цитата). Я застрял на уровне Гумилева, а уж у него в кармане — представьте себе — Маяковский с начатками футуризма и Хлебников. Я все с Гоголем, а он уж с Пикассо... Ну, не угнаться было!

Однако это странно. Прошло столько лет. Примитивный подросток вырос, даже состарился, и овладел, по Ильичу, всеми богатствами культуры, которые выработало человечество. Пишет толстые книги. Перестал сочинять стихи. Небось, даже по-французски научился. А и сейчас уверен, что мой отец-горный инженер и мама-плановик-экономист были про-

мысленно-интеллектуальной элитой, к коей я, сноб, принадлежал силой рождения. Столько лет я дружил с этим человеком (а что ж за дружба без равенства?), и вот под конец жизни узнал, что все эти годы в его перекошенном зрении я был не тем, кем был, и он завидовал мне, и оттого ненавидел меня потаенной непримиримой ненавистью. Фиксировал в глубине злой своей памяти мои мелкие и мельчайшие проступки, — всякое лыко, которое когда-нибудь где-нибудь можно будет поставить в строку. А может, и записывал все в особом секретном дневничке. И при этом добросовестно играл роль друга, доброжелателя и даже наперсника.

Теперь он уверяет, что лицемерил сознательно в порядке, так сказать, самозащиты. Что сознательно — сомнений нет. Что до самозащиты, то тут А. Д. лжет, но об этом позже.

Все-таки комплекс неполноценности — не лучший стимул для самообразования, и в этой области у А. Д. встречаются прискорбные пробы. Даже и сейчас. Я сужу по таким редким для русской речи выражениям, как "ложечка, адекватная по форме", или "акмеистического типа мальчик" (это я), или "ренуары вкусовых извращений", или "носил в груди эти редкие изделия" (снова я).

Кстати уж об акмеистической внешности. В плохом человеке все должно быть нехорошо, и облик тоже. А что я плох — это А. Д., якобы дружа со мной и набираясь от меня культурного разбега, чуял с самого начала. Инстинктивно не доверял. Да и как такому доверять: смазливый, чопорный, конечно, из достаточной еврейской семьи (ах, это емкое "конечно"!). Подбородок. Волево, копьем, лицо, от Гумилева (дался ему Гумилев, да еще от которого лицо копьем). Бронзовый, немного от коршуна, нос (вон что. Проясняется кое-что. С таким носом — как не потешаться над русским вихром юного А. Д. и над его залатанными, тоже истинно русскими штанами). Круглые бедра. Объемистый таз. Коротенькие ножки. Миниатюрные ступни (детский размер ботинка). Совмещал, стало быть, в себе мужчину и женщину, — да уж не гермафродит ли?

Эх, А. Д. Нехорошо. Не тот уровень критики. Опять же, ведь и ты не Аполлон. И о тебе, опустившись до твоего уровня, мало ли что можно сказать. Что у тебя, например, неприятная жестикуляция и косые глаза. И нос, выражаясь твоим языком, от покойного фюрера. Ну и что? Вовсе не поэтому считаю я тебя, по справедливости, предателем и лицемером.

Что может быть безнадежней и тягостней опровержения лжи — ежестраничной, ежестрочной, явной и слегка замаскированной, отбегающей и снова кидающейся в лицо? Ложь, что я не участвовал в школьных играх и драках. Ложь, что носил подогнанный у портного костюмчик или, тем более, загадочно-анахронистский "сюртучок" — верно, дальний родственник лапсердака. Ложь (а жаль), что "презирал толпу". Ложь, что не был пионером — и как еще радовался, когда был принят.

Но есть у А. Д. ложь потоньше и похуже, гнездящаяся не в фактах (назовем их условно так), а в их осмыслении и объяснении. Вот я впервые пришел к нему в гости. Ясно, что не просто так пришел (это разрушило бы образ), а юному А. Д. "посчастливилось меня залучить". Вот как. Мама А. Д. собирается кормить нас — чем? — конечно же, подогретым вчерашним супом. Обстановка в доме, как в спектакле "На дне" и даже шиб-

че. Я, конечно, беседую с А. Д. "за искусство". И вдруг — прицеливаюсь указательным пальцем в портрет Сталина на стене и делаю губами "пу". То есть как бы стреляю. А потом, скошенным глазом проверив произведенный эффект, тем же пальцем расстреливаю скромную обстановку комнаты. При этом, раскрасневшись, даже скидываю "сюртучок", что предполагает возбуждение вроде сексуального.

Честно говоря, я этого эпизода не помню. Сталина я тогда очень уважал, не отличаясь в этом от прочих сверстников. Но — почему бы нет? Спонтанное озорство, глупые выходки, когда сперва действуешь, а потом начинаешь соображать, — у кого из вас, граждане, этого не было в двенадцать лет? Конечно, неумно, и пожалуй что кощунство, в тот момент по крайней мере. Тут А. Д. прав. Но только смотрит он куда глубже, в самый корень, — как привыкли смотреть на невиннейшие явления в известном учреждении, знаменитом уже тогда на весь мир. И, по рецептам этого учреждения, усматривает в моем бестактном озорстве — эстетику провокации, предательский шаг и, страшно сказать, убийство. Буквально так: "Убийца, трусливый убийца" — пронеслось в голове А. Д. Особенно возмутило его то, что инкриминируемое деяние я совершил без риска, стало быть — провокационно. Вот на Красной площади — другое бы дело.

Очень сомневаюсь я в факте расстрела из пальца аскетического оборудования квартиры. Сталин — куда ни шло, детское кощунство: делаю, потому что нельзя. Но расстреливать шкафчик и пальму? — Едва ли. Неинтересно и бессмысленно. Однако раз А. Д. настаивает, я не спорю.

Опять же и тут видит А. Д. не невинное дурачество мальчишки, а глубоко символическую сцену, в которой обнажилось мое гнусное, звериное нутро. Позвольте цитату, потому что лучше, чем А. Д., тут не скажешь.

"Им (мною. — С. Х.) владело, я полагаю, сознание безнаказанности в пальбе по открывшемуся вдруг незащищенному пространству, по мерзости запустения в доме... Он бил в чужую, широковегательную приниженность и бесталанность. Он метил в меня (так! — С. Х.) Просто учуял, подвижному, болевую точку и не мог остановиться..."

Тут призадуматься, как реагировать. Опровергать? — да как опровергнуть вопль застаревшего, закаменевшего, издавна лелеемого и сквозь десятилетия бережно пронесенного комплекса. Опять же ладно, если сам А. Д. верит в эту муру. А если он ее сочиняет с другой, потаенной целью? То есть если это ложь не невольная (память подвела, фантазия подкузьмила), а сознательная и расчетливая? Сложно.

Вот так, по-чекистски вскрывая замаскированную вражескую суть моих действий, препарирует А. Д. эпизоды далекого прошлого. Например, историю с мальчиком-заикой, которого я в школе беспощадно и жестоко передрознивал. Прямо-таки по-садистски. Исподтишка.

Знаете, ведь это почти правда. Числится за мной эта дурацкая недобрая выходка. Дразнил мальчика, учившегося классом ниже. Бывает так в детстве, и думаю, что не только со мной: сотворишь сгоряча какую-нибудь злую глупость, сам понимаешь, что — нехорошо, неприлично, а остановиться сразу трудно, — особенно, если пристыдит кто-нибудь со стороны. Вот так было и со мной. Долго это не продолжалось, но с одноклассником, которому обиженный мальчик пожаловался, я успел-таки рассориться.

Хотя и тогда уже понимал, чувствовал, что кругом неправ. Счастливы умники, понимающие уже в юном возрасте, что сознаться в глупости, в неправоте — не позор, а заслуга. Я таким, к сожалению, не был.

По этой канве шьет А. Д. свой хитроумный узор. Шьет мне, так сказать, дело. И сразу все преобразается, чудесно и целенаправленно. Заика оказывается малышом, в два раза — да! — моложе и мельче “великодержавного тирана”, то есть меня (выходит, что великодержавным бывает не только шовинизм). А я не просто дразнил “малыша”, а излавливал его на перемене (интересно, как), собирал “народ из дураков” (интересно, кто такие и как собирал) и измывался над жертвой, доводя ее до припадка. При этом, если верить А. Д., все — и отлов жертвы на перемене, и организация зрелища с публикой “из дураков” в битком набитом школьном коридоре — происходило как бы тайно: будучи подлецом, я, конечно, “избегал открытых схваток и, оттолкнув малыша, с озабоченным лицом шествовал себе дальше”. Ибо был, по А. Д., феноменально труслив. А как же! — подлость и трусость неразлучны. Само собой, на упреки одноклассников я “слабо сопротивлялся” и произносил слова, не делающие чести убогой фантазии создателя “фантастической прозы”: “...Что вы — дружеских шуток не понимаете? Элементарное чувство юмора? Ну ладно, больше не буду. Если вас так волнует. Клянусь...” Однако со змеиной подлостью продолжал свое, пока боксер Валя Качанов из параллельного класса не пригрозил разбить мне морду.

Вот какую поэму подлости и негодяйства создал А. Д. на базе некрасивой, чести мне отнюдь не делающей, но вполне ordinарной мальчишеской выходки. Поднял ее до символических высот, до борьбы чистого добра с таким же чистым, во мне воплощенным злом. А детали — да ведь они и есть детали. Кому теперь покажется важным, что ложь — гнусные, приписанные мне слова? Что Валя Качанов учился не в параллельном, а нашем классе, и был не боксером, а наоборот, мальчиком мелким и хрупким? Что комсомольцы не носят пионерских галстуков (“...нет, это не по-комсомольски. Где твой, вообще, пионерский галстук?”) Мелочи, тыфу. Суть важна. А суть вылавливать — наша старая традиция.

И последний, разоблачающий меня случай из “раньшего времени”. Как на вечеринке бывших одноклассников, сразу после войны, я на пари поцеловал девушку по имени Ира. Поцеловал не как все люди, а с присущей мне подлостью и садизмом: подкрался сзади, как зверь, опрокинул и прокусил губу. “И победно, этаким шахом, осмотрел сцену: эффект!”. — Ясно, что никто из присутствующих этого безобразия не одобрил, хотя я, дегенерат, ждал, видать, аплодисментов. Вечер был испорчен. Все раньше времени разошлись. И хотя А. Д. на вечеринке не присутствовал, он точно знает, что я, — то просительно, то в ярости и со слезами, — цитировал сам себя (из эпизода с заикой): “Что вы, ребята, шуток не понимаете? — Кретины! У вас отсутствует элементарное чувство юмора!..”

Что касается факта, то он, как говорится, имел место. После войны встретились в нашей школе мы, бывшие одноклассники, кое-кто из учителей и директор. Никакой дурацкой выходкой этот вечер нарушен не был, чему свидетельство — общая фотография, сделанная под самый конец. И раньше времени никто не ушел. И я ни на кого не напал, и себя потом никоим образом не цитировал.

Уж больно густым оказался узор, вышитый А. Д. на этот раз по скромной канве. Наводит на раздумья. Повсюду — надо, не надо — называет А. Д. персонажей своего повествования по фамилиям (вон даже Валю Качанова вспомнил), а тут вдруг — Ира или даже просто И. С чего бы? Одно из двух: либо кто-то из присутствующих А. Д-ча нехорошо разыграл, либо он эту историю лично придумал и расписал в лучших традициях бульварной прозы: “Поверженная девушка тихо стонала от боли... нечеловеческое унижение... недоуменное обалдение... теплая струйка крови...”

Я склоняюсь ко второму варианту. Слишком уж точно накладывается этот выдуманный спектакль на тот образ, который А. Д. внушает доверчивому читателю. Слишком явно поднимается дурацкий эпизод до высокой символики: я — злодей, бездушный выродок (склонный однако к театральным эффектам), и вся моя жизнь — цепь укусов, “более или менее страшных, редких сравнительно, “однако производимых с точностью и необходимостью периодической таблицы”. Нелюдь. Исключение из нравственности, из психики, из биологии (цитата). Вурдалак. Подкрадывается сзади и что-нибудь прокусывает. Или, как тарантул, выпускает жало.

И тут же рядом — с ума сойти! — дискуссия о том, гений я или не гений. Бормотня о высокой, самоценной поэзии, кристаллами ковей усеян мой жизненный путь. Для А. Д., похоже, сомнений нет: гений. И как таковой — бесхитростен. Как ребенок. Незлобив. Необидчив (цитата). Разыграть, обмануть меня — ничего не стоит, что хитрый А. Д. неоднократно и проделывал, — о, конечно, только ради самосохранения, в порядке, так сказать, борьбы со злом.

Ох, тяжело следить за причудливой извилистостью мысли А. Д., обрывать с нее капустные листья модного красноречия и доискиваться смысла, подчиненного хоть какой-то логике. А ведь хочется понять, кто я есть. А вот он кто я.

Заправский подлец. Храбрый наставник. Дрожащий ницшеанец. Самурай. Стерва. Подлюга. Блистательная одаренность. Покойник. Трусливый убийца. Великодержавный тиран. Безгрешный гений. Нормальный, как автомат. Позер, работающий на публику. Паталогический трус. Бездушная “скорлупа”: ничего злого, темного, коварного и демонического, но и никакого добра, совести и чести. Убийца. Здоровее всех других. Без комплексов. Подлый лицемер. Никаких отклонений. Увлекательный и благосклонный собеседник. Тарантул, всегда готовый вонзить. Создатель прекрасных стихов. Провокатор. Предатель. Никогда не был злодеем. Гость с того света. Орфей.

Это, так сказать, самое главное. Краеугольное.

* * *

Теперь я попробую сам рассказать о событиях, касающихся А. Д. и меня, досказать то, о чем он умолчал, и восстановить правду там, где он солгал. Речь здесь пойдет уже не столько обо мне (меня от этой темы уже мутит), сколько о самом А. Д., о его характере, слабостях и столь нормальном для человека с его про-

шлым желанием защититься. Даже, если нет другого выхода, за счет другого.

Мы учились в одном классе и дружили, — так я считал. Чтобы не повторяться, скажу только, что в дружбе я чувствовал нас равноправными, а его изначальной культурной девственности никакого значения не придавал, — просто потому, что собственный культурный багаж не считал таким уж увесистым. Мне было с ним интересно. Мы даже издавали вдвоем рукописный, но вполне лояльный журнал “Звонок”, который печатал на папиной машинке Конрад Вольф, впоследствии знаменитый кинорежиссер.

Потом нас разлучила война. И когда в конце войны он появился у нас, еще в солдатских сапогах и гимнастерке с погонями, — я был очень рад, да и он, кажется, тоже. Мы сошлись так, словно и не было нескольких лет разлуки. Даже, может быть, ближе, чем раньше.

Ущербности своей, о которой я теперь знаю, он никоим образом не показывал. Только раз, когда я потрогал его погон (никогда не держал в руках), он вдруг звенящим голосом спросил: а если бы я пришел к тебе в рубище бродяги, — ты бы тоже вот так его щупал? Меня тогда эти странные слова удивили, но не встревожили. И очень зря.

Потом он демобилизовался, сразу же поступил в университет на литфак и быстро там преуспел. Демобилизованный воин, комсомолец, истинно русский (это было очень важно тогда), любимец профессора Дувакина. Писал стихи, а потом начал и прозу. И читал мне.

Тут я должен признаться, что в его литературных опытах меня с самого начала смущала какая-то сознательно культивируемая тошнотворность. Словно он нарочно старался писать попротивнее и мазохистски (или садистски?) наслаждался результатом. Антиэстетизмом это не назовешь; не было тут, думаю, и эпатажа, потому что писалось это, в общем-то, для себя, для внутреннего пользования. Значит, это у самого себя да у нескольких, может быть, близких друзей стремился он вызвать рвотную спазму. Помню с тех времен такие поразившие меня стихи.

Волосы смаслены маслом лампы,
Сопли сусальные тянутся вниз.
Сладко струятся слюней мармелады,
Блином расплылся осклизливый глист.

Если вы считаете эти впечатляющие строчки порождением здо-

ровой психики — считайте меня мещанином! Оно, конечно, наивно и лобово, — да ведь ранняя вещь, проба пера. Позже А. Д. овладел приемами маскировки. Через годы, уже сотрудником Института мировой литературы, он поведал мне рассказ какого-то бывалого человека, знатока лагерей. От этого рассказа мне и сейчас нехорошо. В нем шла речь о том, что мужчины-блатари живут в лагерях парами, так сказать по-супружески. И ценят изящный образ жизни, который понимают по-своему. Соответственно этому образу жизни особо изысканный подарок, какой джентльмен делает даме, — это мороженое с вином. Достать его в лагере сложно, и вот в качестве замены блатарь-муж наполняет кружку собственной спермой, потом режет руку и доликает в сосуд крови. И преподносит это угощение блатарю-“жене”.

Гнусность эту А. Д. рассказал с большим подъемом. А не так давно, то есть через очень много лет, я нашел этот же самый рассказ в одном из свежеизданных сочинений А. Д. Только теперь автор ссылался уже на собственный лагерный опыт и намекал, что видел все чуть ли не своими глазами.

Оно, конечно, очевидцу больше веры. А все же я сомневаюсь: не сочинил ли А. Д. эту бывальщину сам? Уж очень она, пользуясь лексиконом самого А. Д., адекватна.

Вот это меня всегда — не смущало, а удивляло. Так же как интерес ко всяческой литературной и изобразительной клубничке, накапливаемой им дома. Мне это было неинтересно (сказано ведь: ни отклонений, ни комплексов), а ему — очень. При всем при том вещи, которые он мне тогда читал, захватывали меня своим рассудочным каким-то безумием, абсолютной чужеродностью тому, что я в ту пору знал — и в жизни, и в искусстве. Ах, как он препарировал ущербную человеческую психику, как обрамлял свою причудливую фантазию венком арбатских переулков, любимых нами! Я не знаю, может ли хоть кто-нибудь чувствовать себя в прозе А. Д. как дома, — как, например, в прозе Булгакова или Трифонова. Я же себя чувствовал там, как в доме с привидениями: интересно, дух захватывает, но вот выходишь оттуда, — и как хорошо!

Этому впечатлению способствовал и антураж, в котором проходили чтения. После войны А. Д. получил в собственное пользование подвальную комнатку, расположенную под их коммунальной квартирой, но с отдельным входом. Комнатка была превращена в сочетание кабинета, кельи и будуара, а проникновение

в это захлавленное убежище было сопряжено с выполнением особого секретного ритуала. Предварительно договаривались о времени встречи. В условленное время посетитель подходил к маленькому, низко расположенному подвальному окну, опускаясь на корточки и стучал несколько раз условным стуком в стекло. Тогда с внутренней стороны возникало лицо хозяина, который всматривался в лицо гостя и, опознав его, делал приглашающий жест. Далее посетитель спускался по подвальной лестнице, недолго ждал у двери и был осторожно впускаем внутрь. Сам хозяин при этом жестами и интонациями подчеркивал конспиративность, рискованность совершаемого.

Думаю, что это не было игрой. Он, верно, и взаправду чувствовал себя заговорщиком и подпольщиком, — от двуличия внутренней и внешней жизни, от вопиющей несовместимости того, что он говорил и писал в университете (потом — на службе в институте и в официальных публикациях), и что — дома, за занавешенным окошком кельи, для себя и ближайших избранных. Чувствовал себя как бы преступником, и смаковал это чувство, и боялся всерьез.

Я считаю А. Д. талантливым (часто) писателем, но обычной личностью. Имею основание думать, что это представление о себе он разделяет, — может быть, не без моей невольной помощи. Отсюда отчасти (но только отчасти!) и его отношение ко мне. Когда-то как писатель он казался мне иногда гениальным, — возможно, из-за ограниченности материала для сравнений. Но литературный характер его литературы (то есть ее литературновторичная природа) мне был, кажется, всегда ясен. Запасных выходов из обыденности много, и все они никуда не ведут: натуру не перехитришь. Простейший выход — притвориться другим. Подняться над обычными человеческими (ординарными!) чувствами. Показать непричастность к естественным (ординарным!) переживаниям обычных людей.

Кажется, в первую послевоенную осень мы хоронили одноклассника. Эдика Винегра. Какая-то далеко живущая тетка просила не хоронить племянника без нее, и тело лежало без погребения целую неделю. На кладбище мы не могли смотреть на открытый гроб, ибо то, что там лежало, не было не только Эдиком, — не было человеком. Желто-черное, в пятнах, с проступающими из-под кожи зубами. У меня до сих пор перед глазами этот ужас.

Мы возвращались с кладбища вдвоем и молча. Было заметно, что мой спутник готов что-то произнести, но колеблется. Потом решился и сказал так: “Знаешь, там, на кладбище... жуть какая. Все рыдают, горюют... а мне все время хотелось хохотать. Еле сдерживался. И представь себе, — чем громче плач и рев, тем больше мне хотелось смеяться. Представляешь?”

Психология — не моя специальность. И не могу я судить о личности А. Д. с той же беспощадной смелостью, с какой он судит о моей. Но, господа, нет ли связи между едва подавленным хохотом над гробом — и лагерным мороженым? Патология в искусстве любезна многим как приправа к основной духовной пище, — почему бы нет? Но кто согласится подменить эту самую духовную пищу просто-напросто плевком в чужой кофе?

Но талантлив же! Мы часто встречались тогда друг у друга, читали друг другу сочиненное, придирчиво обсуждали и радовались друг другу. Теперь, правда, выяснилось, что радовался я, а он делал вид. Что он, видите ли, с самого начала (со школы, что ли?) мне не доверял, не полагался на меня, был насторожен, и отеращаем, и чувствовал, как во сне, потребность выпрыгнуть из окна. И при этом долгое время служил мне как бы экраном. Но если экранизируемый был, по словам экрана, незлобив и бесхитроsten, то сам экран этими качествами не отличался. Не приобрел он их и на старости лет.

А. Д. хорошо описал появление в его, а потом и в моей жизни Элен Пельтье-Замойской. Я испытывал то же, что и он, общаясь с этим прелестным существом, попавшим в наш железный, навечно ориентированный мир как бы с другой планеты. Она показала нам, что наш мир не абсолютен, и тем перевела наши убеждения, нашу инерциальную веру в какой-то другой, более скромный масштаб. Она была личностью, очень для нас интересной, и вместе с тем — символом иного, нам недоступного существования.

А. Д., добрый друг, познакомил меня с ней. И мы начали общаться, встречаться — чаще втроем (к А. Д. она привязалась поженски, к тому же и университет), иногда вдвоем. А потом — через месяц с небольшим — в институте, где я учился, меня пригласили в особую комнату. И там, после получасовой беседы — с выяснением обстоятельств знакомства, встреч и предмета разговоров, — я стал секретным сотрудником, “сексотом” или,

если хотите, стукачем. С подпиской о неразглашении и договоренностью о будущих контактах.

Новая доверенная мне работа меня не слишком беспокоила. Элен вполне лояльно относилась к советской власти. Ей нравилась Москва и нравилось учиться в университете. Держась естественно и свободно, она, умница, в разговорах контролировала себя и была по-европейски сдержанна. О политике мы вообще не говорили, а все больше о высоких материях: история, искусство, философия и историчность Иисуса Христа. Так что я имел все основания думать, что даже подробный отчет о высказываниях Элен Пельтье никак не может ей повредить. А большего, кроме отчетов, от меня и не требовали.

Но тут меня осенило. А. Д.-то общается с Элен куда чаще меня. Учатся вместе. Явно симпатичны друг другу. Почему же, если я — да, то он — нет? Не может этого быть. Не могли они обойти А. своим вниманием.

И задумал я узнать у друга правду. И гуляя с ним по Гоголевскому бульвару, сказал ему: "Слушай-ка, часто ты докладываешь о встречах с Элен?" И друг честно ответил: "Когда как. Обычно раз в неделю". — Потом дико взглянул на меня и спросил: "Откуда знаешь?"

Так мы вступили в неположенный, по правилам Органов, контакт. Быстро установили, что "курирует" нас один и тот же деятель и что даже встречаемся мы с ним в одной и той же конспиративной квартире. Договорились о координации, в случае мало ли чего, наших докладов.

Конечно, он жалел, что так неприлично легко попался на мою нехитрую удочку: такое для скрытной натуры — обида и позор. Но мы продолжали дружить, и встречаться, и слушать друг друга, и Элен странным образом придала нашим отношениям некий новый, интересный характер. Ни малейших угрызений совести он, как и я, не испытывал. О своих секретных обязанностях говорил толково и деловито, но и не очень распространялся. Поначалу не скрывал, что по заданию органов должен влюбить в себя Элен и, по возможности, довести отношения до интима. Но чем дальше их отношения развивались, тем меньше он о них мне сообщал, и я так никогда и не узнал, чего он, в конечном счете, достиг. Однако знал тогда, как и сейчас знаю, что обмануть и обидеть Элен было бы чудовищной подлостью.

Странно читать страницы, которые А. Д. посвятил своему мо-

ральному падению и тому, как он из него благородно выбрался. Пишет обо мне — всю подноготную выпрастывает: и что гнусно сказал (“Простите, мадам, нельзя ли еще?.. Нет, спасибо, водки я не пью. Подвиньтесь”), и что еще гнуснее подумал, и что мог подумать. А тут — на тебе: словно засмутился чего-то. Сплошные недомолвки, экивоки какие-то. Уклончивые красоты стиля вместо недвусмысленной информации, для которой здесь-то самое время и место. Испуганный пунктир с длинными-длинными промежутками между точками. Чего-то боится А. Д. и с перепугу хитрит. Долгое и систематичное свое сотрудничество с компетентными органами спрессовал в три диалога, — “для ясности”.

Может ли опытный литератор вдруг позабыть разницу между диалогом и монологом? Если нужно, то может! Скромный голос автора в “диалогах” отсутствует, — вещает только гебист. Что отвечает гебисту А. Д. — не слышно, но можно предполагать, что отвечает благородно, с достоинством, и ни на какие сделки с совестью не идет. Слегка смущает начало первого диалога-монолога: оказывается, А. Д. после первого же вопроса пожелал прекратить знакомство с Элен, да гебист ему не позволил.

А дальше — чудеса в решете! — без труда вычисляется, что где-то между вторым и третьим диалога-монологами А. Д. согласился сделать Элен предложение руки и сердца. В третьем монологе гебист лишь уточняет детали (“...завтра ...в парке “Сокольники”...) и припугивает вдруг заколебавшегося А. Д. Попутно тонким намеком дается понять, что и я пытался охмурить Элен, да у меня ничего не вышло: “Почему-то с С. у нее не...” Мысленно заполняя лакуны между репликами гебиста, можно понять, что А. Д. неохотно идет на брак с французенкой: он ссылается на наличие у него невесты и зачем-то на католическую принадлежность Элен. Он также, видимо, обеспокоен ее будущим. На что дурак-гебист заявляет, что после брака с А. Д. Элен Пельтье перестанет существовать.

Далее идет душераздирающий, обильно орнаментированный рассказ о том, как назавтра, в грязных Сокольниках, в опасной близости от шпиков А. Д. во всем сознался Элен. Как она поняла его и простила. И как они оба приняли предложенный А. Д. хитрый план обмана органов. Суть плана была в том, что предложение А. Д. пожениться якобы почему-то ужасно возмутило и оскорбило Элен, и она с ним поссорилась. Навсегда. Тем самым расстраивался спровоцированный органами брачный союз и спа-

салась жизнь Элен. Потому что, видите ли, дьявольская идея органов заключалась в том, чтобы путем женитьбы сделать Элен советской гражданкой и, уж как советскую гражданку, легко и просто уничтожить.

Почему органам понадобилось уничтожить Элен и почему они затруднялись ликвидировать ее, как французскую гражданку, — этого А. Д., к сожалению, не разъясняет. Что до плана, то он был хорош. Ведь естественно, что девушка должна смертельно оскорбиться, если парень, которому она нравится и который нравится ей, вдруг делает ей предложение. И навсегда с ним, бесстыдником, порвать.

А моя спасительная в этой истории роль заключалась вот в чем. Якобы порвав с А. Д., Элен должна была прибежать ко мне и с плачем и возмущением рассказать о разрыве. Предполагалось, что я сразу же побегу в органы и доложу. И уж там поверят, что Элен была инициатором, а А. Д. не виноват и, значит, не заслуживает ареста и расстрела.

Кроме того, Элен следовало приглядеться к моей реакции на новость. Если скажу: "Правильно, рви с ним, негодяем, — ишь чего, жениться захотел!" — значит, я порядочный человек. Если же посоветую не волноваться и помириться, не торопиться с разрывом, если буду защищать А. Д. — значит, ясное дело, провокатор.

И я, конечно, оправдал худшие подозрения, хотя, правда, А. Д. и Элен и так знали все наперед. (Выходит, что разоблачая себя перед Элен, А. Д. мимоходом разоблачил и меня. Или, нетерпеливый, сделал это как-нибудь раньше.) Конечно же, я без аргументов и вопреки очевидности — да, вопреки очевидности! — уговаривал Элен простить А. Д. и не порывать с ним дружбу: "Клюнул, Андрюшка! Клюнул! — вскричала вдруг француженка с яростью русской бабы. — И я сама убедилась — провокатор!..".

Почему А. Д. не мог сам доложить органам, что вариант с женитьбой расстроился, и выбрал окольный путь через меня — непостижимо. Там уже давно знали о нашем контакте, и, значит, веры мне было столько же, сколько ему. И уж совершенным бредом звучит утверждение (да и неоднократно), что именно это его и спасло, — то есть смелое использование меня как передатчика информации. Или, как сурово, но честно формулирует А. Д. — как доносчика. Потому что должен сознаться: опечаленный разрывом Элен с А. Д., я органам об этом не сообщил.

Далее, господа, следует феерия. Глупые органы поверили! Или, если хотите, клюнули. Они уже не настаивают на браке, им бы только — восстановление дружеских чувств. Примирение во что бы то ни стало! Значит, уничтожение бедной Элен хоть и не отменяется, но — отодвигается на неопределенное время.

И вот А. Д. сидит на проводе, возле черного телефона. Некий отрывистый голос в телефоне сообщает ему, как и куда движется по Москве Элен. Задача: в рассчитанном месте появиться перед ней, разыграть случайную встречу и помириться. Далее А. Д. отрывается от черного телефона (где он, этот телефон, находился? Неужто прямо-таки на Лубянке?), засекает в предусмотренной точке Элен и разыгрывает примирение. Порядок. Дальнейший детективный сюжет растворяется в тумане умолчаний. А. Д., молодчина, использовал меня — воплощенное зло — как орудие добра. Обманутые органы потеряли надежду уничтожить Элен при помощи ее брака с А. Д., и в положенное время она, живая и незамужняя, покинула СССР. А А. Д. после смерти вождя сумел-таки выскочить из заколдованного круга, то есть, видимо, перестал сотрудничать с Органами. Ушел из стукачей. Но о подробностях этой важной перемены в его жизни А. Д. почему-то стеснительно умалчивает.

Приятная неожиданность, что ни говори. Мастер изысканной орнаментально-психологической прозы вдруг проявил себя в криминальном жанре, и как! Острый сюжет, благородные юные герои, смертельная опасность и ее преодоление, низкий негодяй и его разоблачение, хэппи-энд. Кое-где не сходятся концы с концами, кое-что читатель должен домысливать сам? — Это пустяки, это даже законами жанра допускается. Зато какой накал страстей. *

А теперь, если позволите, я возьму слово.

А. Д., ясное дело, утверждает, что Элен меня не любила. Не знаю. И не слишком терзаюсь этой проблемой. Но у меня она бывала охотно, перед отъездом трогательно со мной попрощалась и подарила очень хорошее издание Матисса. Из Франции присылала открытки. Приезжая позже в Москву, всегда звонила и приходила в гости. Иногда у нас появлялись французы: с рекомендательными письмами от нее. Если вы можете увязать все это с "provokatorom", якобы выкрикнутым в мой адрес, — я вам завидую. Я не могу.

Жаловаться на А. Д. она, действительно, приходила. Кажется,

даже не один раз. Конечно, не по причине сделанного ей предложения, а из-за разных мелких особенностей его характера. И я, сознаюсь, защищал А. Д. и провокационно старался их помирить. Но так как не усматривал в жалобах Элен никакой связи с интересами государственной безопасности, то и не докладывал о них, куда надо. Невольно, как теперь выяснилось, срывая этим замысел А. Д.

Во всей этой увлекательнейшей криминальной истории есть одна очень-очень слабая точка. Дело в том, что сразу после войны мудрый товарищ Сталин придумал закон, строго запрещающий браки между советскими и несоветскими людьми. И время действия рассказанной А. Д. детективки было аккурат временем действия этого закона. Можно ли поверить, что органы забыли о нем, разрабатывая свой подлый план покушения на Элен? Конечно, органам закон не писан, но не до такой же степени. А если А. Д. и жертва покушения не могли, не имели права пожениться, — теряет смысл вся хитрая затея органов, из сюжета вываливается его главное звено, и остатки сюжета рассыпаются жалостной грудой обломков. И никакие лирические отступления, никакие потоки и ручьи сознания не могут изменить этого сурового факта.

И мне, главному злодею повествования, не остается никакой роли в руинах развалившегося сюжета.

Рядом с этим как-то теряет значение все остальное: и патологическая доверчивость органов, которые легко отказываются от тщательно разработанного плана, и их беспомощность в деле контроля, — не принимать же всерьез клоуна-шпика, который в Сокольниках подползает к нашим героям, лежа на спине и с газетой в руках!

* * *

В конце 1948 или начале 1949 года в моей жизни произошло страшное и необратимое изменение. Однажды на встречу со мной "мой" гебист явился с неким коллегой и, недолго побеседовав, оставил меня с ним наедине. Этого Элен ничуть не интересовала. Зато очень интересовали два моих довольно близких знакомых, Брегель и Кабо, тогда — студенты исторического факультета университета. Нет, он не отрицает их ума и способностей, но — чем объяснить их принципиальное неучастие в общественной работе? Товарищей по курсу уже давно возмущают их антисоветские

взгляды. Их циничное отношение к нашим великим свершениям. Вражеские высказывания. Анекдоты. Заметьте: цитируют литературу, которую не найти ни в какой библиотеке. Ложно трактуют факты нашей истории. У них, в органах, уже накопился огромный материал против обоих, и он продолжает расти. Такие настроения влекут за собой действия, не могут не влечь. А наша задача — эти действия пресечь.

Собственно говоря, имеющегося уже материала достаточно, чтобы взять обоих в оборот. Но кое-что нужно доработать, — в основном то, что лежит вне их враждебной деятельности в университете. Вы ведь их давний приятель? Вот вы и поможете. Не может быть, чтобы вы ничего не замечали. Помните, что говорилось на вечеринке такого-то числа? И такого-то? И такого-то? А вот я вам сейчас напомню.

Видите, вот и вспомнили. Не нужно с нами хитрить, мы все знаем. Ваша задача: дружить с ними по-прежнему, почаще встречаться, слушать и запоминать. И не вздумайте морочить нам голову: сами понимаете, вы у нас не один. Утаите — пеняйте на себя. Вы на особом положении. Нет, с Кабо и Брегелем вы себя не равняйте. С ними мы, может быть, поговорим и отпустим. А вы — наш сотрудник, с вас другой спрос. С предателями мы расправляемся беспощадно. Много ли смысла погибнуть в 23 года? Да и жертва бессмысленная — ничего особенного с вашими друзьями, скорее всего, и не будет. Прочистим мозги, вытряхнем дурь — и все.

Вот так совершился мой неискупимый грех, которому нет и не может быть оправдания. За этот грех я расплачивался, расплачиваюсь и буду, конечно, расплачиваться до конца моих дней. Будь я в том году постарше, поопытней да поумнее, — меня, возможно, не так парализовала бы угроза неминуемой гибели: к несчастью, тогда я еще не знал, что смерть — не самое страшное в жизни. Теперь вот знаю, — давно уже, — да изменить ничего не могу.

Так я купил свободу и, может быть, жизнь ценой свободы двух моих товарищей, ни в чем, конечно, неповинных. Очень, слишком, недопустимо сильно мне хотелось тогда жить.

А Кабо и Брегель были арестованы, один за другим, в 1949 году и приговорены к десяти годам каждый. На свободу они вышли только через пять лет, в счастливое раннехрущевское время. Но гораздо раньше их освобождения меня настигла ре-

путация предателя-стукача: следователи, видать, не утаивали от подследственных моего имени. И заслуженная расплата начала наступать меня быстро и неминуемо. Она окончательно достигла меня, когда Кабо и Брегель вернулись в Москву. Вот тогда-то я в полную меру пожал плоды моего подлого малодушия и трусости. И хватит об этом.

Теперь прошу внимания!

С самого начала моего падения единственным в мире человеком, который знал о нем все подробно, — кроме, конечно, лубянских ребят, — был мой друг А. Д. От него я ничего не скрывал. У него в подвале, крутясь на проваленной тахте, исповедовался в преступлении. Клял себя.

Граждане, читавшие и не читавшие “Спокойной ночи”! Представьте себе это: именно ему, только ему, никому кроме него я плакался в русско-интеллигентскую жилетку и причитал от невыносимой тоски. Только ему доверил свою страшную тайну.

Да и как же иначе? С кем еще я разделяю тайный позор сотрудничества с Органами? Кто другой знает меня лучше, чем он? Кто другой понимает, что предательство мое — не проявление моей личности, а отклонение от нее? Что этой ужасной случайности могло бы и не произойти, если бы судьба не пихнула меня на нее силой, вопреки моей природе, наперекор ей. И так далее в таком вот самобичевательном духе.

Мой добрый друг все понимал. Утешал. Успокаивал. Так уж получилось. Ничего не поделаешь. Плюнь. Не мучай себя. Такова селяви. Вот послушай лучше новую повестушку под названием “Пхенц”.

С 1949 года, пятнадцать долгих лет, он притворялся моим другом. То есть был врагом, надевшим личину, — самым гадким видом врага. По-прежнему приходил ко мне, ел и пил за моим столом, обсуждал новости литературы (к которой стал причастен) и искусства. Произносил речи на моей свадьбе. Ненавидел меня (но это издавна), не доверял, — и не мог со мной расстаться. А когда мне высвечивалась перспектива увязнуть еще глубже, — тут же с радостной готовностью кидался помогать.

В 1950 году я закончил институт и “распределился” на работу в глухую среднеазиатскую даль, — лишь бы подальше. Однако в Москву, домой, временами наезжал. Наслаждался цивилизацией, встречался с друзьями, в том числе, конечно, и с А. Д.,

который успешно доучивался в университете. И радовался, что Органы вроде бы обо мне забыли.

Напрасно я радовался. В 1951 году настиг-таки меня в Москве телефонный звонок. И было мне настойчиво предложено познакомиться со студенткой филфака по имени Виля (фамилию не помню), войти к ней в доверие и выяснить ее политическое, так сказать, лицо, в выражении которого что-то показалось Органам подозрительным. А на вопрос, как это я, чужой на филфаке, вдруг полезу знакомиться, — было мне напомянуто, что ведь есть у меня там близкий и верный друг, который, конечно же, не откажется помочь.

И друг помог с охотой и удовольствием. Узнал время общей лекции, на которую должна была прийти Виля. Сам привел меня на нее, сам познакомил с Вилей. Сел поблизости и с живейшим интересом наблюдал за развитием знакомства. Позже, когда мы распрощались с Вилей, рассказал о ней пару пикантных историй, — может, пригодятся. Словом, старался изо всех сил. А я вдруг понял то, что должен был сообразить с самого начала: что повторяется ужас 48-49 годов. И что, если я чего-то срочно не придумаю, то потеряю право на себя и на жизнь среди людей. Теперь уже окончательно.

И я пошел к Ю. Даниэлю и, говоря высоким слогом, открылся ему, — конечно, не в прошлом своем грехе (о нем он узнал позже и сам), а в имеющем быть. Даниэль — человек исключительной порядочности, такой большой, что порядочность стала как бы его второй профессией. Он пришел в ужас. И дал мне совет, в этой ситуации единственно правильный: с Вилей немедленно поссориться, порвать знакомство (по любому поводу и желательно публично) и об этом доложить. Что я вскоре и сделал, правда — без желательной в этом случае публичности. И отбыл раньше срока в родимую Среднюю Азию, уверенный, что спас по крайней мере две жизни: Вилину и мою. С Вилей, насколько я знаю, никакой беды в дальнейшем не случилось.

“Что теперь скажете, эрудиты?” (цитата). Именно. Тот самый сюжет. Значит, не был А. Д. оригинален, когда тем же способом спасал Элен от рокового замужества, запрещенного, впрочем, законом. Идея, правда, носилась в воздухе, и ни А. Д., ни Даниэль не могут здесь претендовать на приоритет. Небольшую, но существенную разницу я вижу только вот в чем. В драматическом рассказе А. Д. я выполняю роль доносчика вслепую, в моем же слу-

чае А. Д. участвовал в покушении на бедную Вилю вполне сознательно, охотно и активно.

Прошли годы. Вернулись к жизни Брегель и Кабо. Вокруг меня затягивалось кольцо блокады. Друзья все решительней требовали от меня разъяснений и опровержений. Я малодушно отмалчивался. Среди знакомых, разоблачавших меня при любой okazji, особо свирепой активностью отличалась Майка Розанова-Кругликова, новая жена А. Д. Сам он, однако, держался по-прежнему, успокаивал меня и утешал, а Майкино скверное поведение объяснял обычной женской вздорностью. Я же, поделом затравленный, был ему так благодарен за верность, что не замечал его постепенного, но неуклонного отдаления.

На меня двигалась беда. Она пришла в 1964 году на защиту моей диссертации в образе Брегеля, который поведал Ученому Совету и присутствующим то, о чем уже давно ходили слухи. Все худшее подтвердилось. И хотя диссертацию я все-таки защитил, встретившийся мне на другой день в городе Даниэль демонстративно повернулся ко мне спиной.

Он, правда, позвонил позже и от имени моих ближайших друзей предложил встретиться. Для выяснения отношений. Я должен честно все рассказать. И тогда они решат, что со мной делать.

Мне спастись было уже нечего и поздно. Рассказать правду — ни лучше, ни хуже не будет. Уж куда хуже: почти всех друзей потерял. Но посоветоваться надо — с единственным, кто все знает, кто поддерживал и утешал, кто понимает, что я не природный доносчик. Кто знает, как я страдаю от содеянного и как глубоко раскаиваюсь. И пошел я — куда же еще? — в подвальную келью к А. Д.

Конечно, он проявил полное понимание и сочувствие. Эти чистоплюи! Да мало ли что тогда было. В конечном счете оба живы и даже кандидаты наук. Однако, всю правду рассказывать не стоит. Лучше подать дело так, будто тебя Органы использовали вслепую. Как? Ну, просто: вроде бы с тобой познакомился некий парень, интеллигентный, свободомыслящий, и заинтересовался этими двумя. Зачем заинтересовался? Ну, чтобы потом вовлечь в организацию. Какую-нибудь, знаешь ли, такую. Прогрессивную, марксистскую, неортодоксальную. И с этой целью выводил у тебя про них. А ты, лопух, ему по наивности все и рассказывал. Это, знаешь, как-то все-таки лучше. И не придется сознавать-

ся, что струсил, что жизнь спасал. Дураком-то лучше быть, чем трусом-шкурником.

Почему в экстремальных ситуациях человек легче верит другому, чем самому себе? Ведь чувствовал я уже тогда отчетливо, что А. Д. не откровенен со мной, что прячет от меня какие-то очень важные стороны своей жизни. Даже замечал, что отводит глаза во время разговоров. Знал, что разрешает М. разносить обо мне по Москве и слухи, и сплетни. И сам меня нисколько не прикрывает, хотя мог бы. Словом, логически рассуждая, не должен был я бежать к А. Д. за советом, а ведь побежал, и поверил, и выполнил. И тем самым дал повод А. Д. написать позже гордые слова: "...Он мне по сердечной простоте доверял, а я, как дьявол, начал его обманывать..."

Это была последняя услуга, которую он мне оказал. На судилище он, конечно, не пришел, — хитер был! Своим представителем выставил М. Так и осталось мне неизвестно, знала она автора рассказанной мной истории или восприняла ее как оригинальную. Пожалуй, что знала.

...Когда закрылась дверь за последним экс-другом, единственный подлинный друг, оставшийся с нами, Толя Коврижкин, сказал: "Ну и друзья у тебя, Сережка. Топоры..."

* * *

В одном мне исключительно, сказочно повезло: я до самого судебного финала не знал, что А. Д. и Даниэль секретно публикуются за рубежом. Не знал, не понимал, хотя поводов понять — это уж я потом, задним умом, — было немало. Но видите ли, какая история: я-то не знал, но А. Д. не знал, что я не знал, и наоборот, сильно подозревал, что я знал. Что утечка информации была, и немалая — показал процесс: слишком много нужных людей было посвящено в дело. И вполне логично было ему предположить, что и мне известно что-то из этого, смертельно страшного для него. Может быть, и то его еще пугало, что я ни о чем таком не спрашивал и сам не заговаривал. Не спрашивает — значит, знает. Значит, в любой момент может стукнуть, вонзить. Убийца!

После возвращения из Средней Азии в Москву моя особая слава со временем достигла такого уровня, что Органы потеряли ко мне интерес. Разоблаченный, заклеянный и публично пригвожденный, я им был не нужен. Тоже ведь удача и едва ли не чудо, потому что, по общепринятому мнению, органы редко когда демобилизуют своих сотрудников (любопытно было бы узнать, как в этом смысле обстоят дела у А. Д.). Неоценимую услугу оказали мне здесь невольно все те доброхоты, которые разносили слухи обо мне по всей Москве и даже гораздо дальше. Среди них

едва ли не самой активной, а значит — особенно заслужившей мою благодарность, была М. В. Розанова-Кругликова-Синявская. Если бы не ее кипучая деятельность — еще неизвестно, как все сложилось бы дальше. Спасибо тебе, Маша!

А. Д. этого не знал. И, как я теперь понимаю, смертельно меня, бедняга, боялся. Я думаю, что этот давний страх выплеснулся теперь, очень задним числом, на страницы его книги, приняв форму фантастических, нелепых пассажей. Назвать ли это просто ложью? Или он впрямь поверил в тот адский образ, для которого узки и малы были рамки реальных событий и фактов? Ему мало того, что я наделал. Я должен быть перманентным предателем, природным, так сказать. Моя природа — подкрадываться сзади и кусать. Доказательства? Да кому они нужны? Пифии нельзя не верить. В крайнем случае изменим одно только слово в строчке — вместо: “Ты дошел до конца” — сделаем: “Ты дошел до черты” — и всласть порассуждаем об этой черте, которую я преступно перешел. И выдал себя этой “чертой”. А А. Д. подметил и разоблачил.

Однако, кроме тех двоих, он вроде бы никого не предал? А ведь мог. Что ему стоило! Ему и при нем — ох, сколько всего говорилось...

Вот такие рассуждения А. Д. очень не любит. Он за бдительность и против благодушия, то есть ротозейства. Уж он-то знает, кто я таков: да мало ли, что не предал. Вот именно, что мог. Небось, слушал вас, баранов, и ухмылялся: живите пока, размножайтесь. Я вас пока только созерцаю. А командуют — так и сотру любого с лица земли. Держал вас, дураков, про запас. А что так и не стер, — стало быть, не получил команды. Какие тебе еще доказательства?

А тем, кого эта ежовско-следовательская логика все-таки не совсем убедила, предлагается кошмарный рассказ. О том, как я, возвращаясь с А. Д. ночью от одноклассника Юрки Красного, предложил его, Красного, заложить: донести на него за анекдоты. И как он, А. Д., отвел от Красного неминуемую беду, апеллируя не к моей совести (какая у меня совесть!), а к сугубо прагматическим доводам, “изображая (собой. — С. Х.) сексота, такого же, как он” (как я. — Но почему “изображая”? Кем же ты был, А. Д., в 49–50 годах? Или забыл?).

Представьте себе, я даже, оказывается, точно знаю, сколько нужно доносов чтобы посадить человека: “В этих вещах два свидетеля — все решают!” Вот почему мне дозарезу нужен А. Д. Но тут, думается мне сейчас, А. Д. допустил промашку. Это в древнем Риме непременно требовались два, так сказать, заявителя. В описываемое же советское время римское право было не слишком популярно, компетентные органы не были заражены бюрократизмом, и одного “свидетеля” им обычно хватало. Так что в данном случае А. Д. оболгал не только меня, но и родные Органы.

Затем я испепеленными устами объясняю ему, почему мне вздумалось заложить Красного: оказывается, из страха перед американцами, которые повесят меня, когда придут в Москву. Как убийцу. На мне два трупа...

В ответ на эту ахинею А. Д., по-прежнему изображая сексота, отвечает, что и на нем один труп, еще и иностранный. И загадочно добавляет: “Сам помогал... Элен...” Это он подлаживается, вжимается в меня, в мою ни-

зость. "Главное — внушить, что я подобен ему, чтобы он — доложил! Что-бы не заподозрил..."

Момент. Чтобы — что доложил? Что А. Д. — бесовестный и подлый стукач. Чтобы чего не заподозрил? Что А. Д. — никакой не стукач, а только хитро им притворяется. А на самом деле он порядочный и добрый и никакого иностранного трупа на нем нет. Он только внушает, что подобен мне, доносчику по призванию. Мол — охотно бы донес, но опасно, может боком выйти. Вот так — и из образа не вышел, и Красного спас из моих когтей.

Официально заявляю, что всю эту кафкианскую сцену А. Д. выдумал с нехорошей целью. Я ни разу в жизни не был в гостях у Ю. Красного (смутно кажется: как-то заходил на минуту, но не далее прихожей). Я не предлагал А. Д. так просто, из любви к искусству, донести на невинного человека, — такая патология, наверно, поразила бы и Азефа. Ведь и А. Д. справедливо отмечает, что чего-чего, а патологии во мне не было. Я не боялся прихода в Москву американцев и казни через повешение, потому что был психически нормален. Каковым, надеюсь, и остался. Я не произносил гнусных и пошлых слов о том, что А. Д., как советский гражданин, был просто обязан уделывать иностранку. И не имею отношения к тем бессмысленным, лишенным логической связи выкрикам и подлым мыслям, которые инкриминирует мне в этом эпизоде А. Д.

А злонамеренная цель этого, пардон, сочинения — представить, что я бы еще и на многих других донес, да он, А. Д., помешал. И показать возвышенность мыслей и поступков А. Д., который хоть и доносил на Элен Пельтье, но сексота только изображал.

Вам мало? Вы не убеждены? Тогда, будьте любезны, еще один эпизодик. Некий профессор, владелец одиозной литературы. Я — его родной ученик. Профессор бежит ставить чайник, я же кидаюсь к полкам выписывать названия нехороших книг. Зачем — А. Д. не объясняет, но ведь каждому ясно: родной ученик намерен на профессора донести. Профессор, однако, вдруг возвращается вместе с чайником, глупых оправданий не слушает, крамольный список рвет, меня, негодяя, выставляет за дверь, — "...и впредь, сволочь, на заискивающие звонки с треском вешает трубку... Ну дождется обыска!..."

Ей-Богу, даже обидно, что не было в моей жизни такого клишированного профессора с чайником и интересной библиотекой. В лучших шаблонах совлитературы: трубку вешал не как-нибудь, а с треском. А ведь только ради одного вопроса был бы я счастлив его воплотить: дождался ли профессор угроженного обыска? И, если не дождался, то почему? Что-то тогда трещит в остроумной и с таким вкусом выполненной выдумке.

Ему мало, мало. Я должен быть супермерзавцем, суперлицемером, суперпошляком. Только так можно оправдать его ядовитую ненависть. И он сочиняет монолог, — мой монолог, обращенный к родственнице Брегеля, живущей в Средней Азии. Как я жил у нее, конечно же — опивал и обедал, и произносил речи, которые.. помните слюней мармелады? Трудно поверить, но это еще гаже. Так как с чесночно-антисемитским привкусом. Извините, — я понимаю, что неубедительно, но я этот отрывок комментировать не могу. Брезгую. Одно лишь могу заметить: пошлость, условно мою,

А. Д. воплотил с большим мастерством и знанием дела И, довольный, даже не поленился сам себя похвалить: “И все — искренне. С перехлестом. Пышно. В нюансировке. Веселье в соединении с грустью. С прозрачными воспоминаниями...” Без фактов, конечно, воспаряется как-то легче. Но ведь опытному беллетристу и факты не помеха. Главное — уметь их правильно ин-тер-пре-тиро-вать. И вот пример.

В 1964 году, после последней встречи с друзьями, когда они поехали со мной (молодцы. Уважаю. Вот бы и А. Д. тогда не трусить и так же поступить!), я встретился с Брегелем и Кабо. По своему почину. Я им сказал, что раскаиваюсь в том, что случилось. Что не жду от них прощения и сам себя никогда не прощу. Что блокада, лишившая меня друзей и успеха в науке, — это справедливое возмездие за беду, которую я им принес. Что я готов платить по этому счету до конца. На это мне было отвечено, что все мои нынешние и будущие неприятности не идут в сравнение с бедой их пятилетнего заключения. Что, конечно же, совершенно верно.

В это время А. Д., ясное дело, тайно от нас сидел под столом и все слышал. И вот как, с присущим ему вкусом и талантом, воспроизвел мои слова и мысли:

“Напрасно, говорит он, ребята, вы мне биографию запаковали, репутацию испортили. А еще друзья называются! Ну, подумаешь, отсидели пять лет всего из своих десяти. Тоже мне потеря — пять лет! А у меня из-за вас вся жизнь пошла насмарку. Карьера не склеилась. На-люди, в приличное общество, показаться нельзя. Шепчутся. Жмутся. Избегают откровенных разговоров, признаний. Сравните: кому хуже — вам или мне? Где справедливость в мире?..”

Вот так перевел А. Д. мою скучную прозу своими веселыми терцинами. Из низкой материи сотворил легенду. Но только под столом он не сидел. А все мои, пардон, аргументы придумал сам намного раньше и излагал их мне ничуть не шутя, в своей подвальной келье, — тогда еще, когда бегал я к нему туда исповедоваться и каяться. Придумал, вполне искренне убеждая меня, что ничего страшного не случилось. Теперь вот вспомнил их и для потехи инкриминировал мне, и сам над ними, шутник, издевается.

Не верьте, господа, когда прочтете у А. Д., что от меня зависела его жизнь, да и многое другое. Это, думается мне, преувеличение. Это — продолжение Юрки Красного и неопознанного профессора с чайником. Это он сейчас замечает следы, одышечно восклицая “Держи вора!”.

Но, и этого мало. Еще и трусом я должен быть.

“Я ему прямо сказал, когда запахло скипидаром: — “Если меня посадишь — мы сядем вместе. Учти!” — “Ну что ты, — поспешил он заверить, — какой разговор?! И потом, ты же знаешь, мы на одной веревочке...” И ведь не обиделся, не возмущился, бестия... Знал бы, что нету веревочки — не преминул бы сквитаться...”

Нет, зря хвалится А. Д. своей змеиной шантажной хитростью. Не спасла бы она его в случае настоящей опасности. И сейчас — много ли нужно, чтобы поймать его за лапу? Ну-ка, разберемся.

Когда это запахло скипидаром? По следующему тексту судя, около пятидесятого года. Какой же тогда, А. Д., был скипидар? И сажать тебя тогда было не за что, и меня ты именно тогда утешал горячими словами, изображая пламенную дружбу. Никак не мог ты тогда сказать мне, хотя бы и прямо, такую бессмысленную грубость. И не отвечал я тебе заверительно-глупо, ссылаясь на общую веревочку. Впрочем, позволь, — как это не было веревочки? Это уж вовсе заумь какая-то. Не ты ли бегал как раз тогда, известно куда, докладывать о новостях из жизни Элен Пельтье? Или — страшно подумать — была и другая веревочка, лично твоя, не связанная со мной?

Странно все это. И дальше не яснее.

Вот спустя пятнадцать лет Майка-Марья пригрозила: если с Синявским что случится — я тебя, Сереженька, убью. Это, верно, не выдумка, я это нервное заявление помню. К тому времени А. Д. уже заметно насытил западный рынок своими терцинами, и скипидаром на этот раз запахло всерьез. И А. Д. немножко запаниковал. С одной стороны — серьезных секретов мне не открывали. Но с другой — уверен А. Д.: “...кое-какие улики вертелись и зудели у него на языке”. Это уж точно. Вот только не знает А. Д., успел ли я напоследок ужалить. Ему, понимаете, не выдали в руки досье. Однако, по всему видать, ужалил, — иначе с какой бы стати “...за две недели до нашего с Даниэлем ареста он скрылся из Москвы? Отвалил, как говорится, в глубинку”.

Я, правда, “отвалил” не за две недели до печального события, а много раньше. Скрылся, как делал это много лет подряд, в археологическую экспедицию. Как всегда, с женой — видать, для конспирации.

Знает коварный А. Д., что никуда я тогда не скрылся или, если хотите, не отвалил. И обманывает он вас, господа читатели, вполне сознательно, с целью дезинформации. И наверняка давно знает (если тогда сомневался), что не вертелись, зудя, на моем

языке никакие улики. Потому что, как говорилось, я о секретных публикациях на Западе ничегошеньки не знал. (Сказать по правде, гордиться тут нечем. "Кое-какие улики" плавали в воздухе, а на меня так буквально прыгали. Я же, болван, так до конца ничего и не понял. С одной стороны до сих пор обидно, с другой — счастье-то какое!)

Поэтому прошу не верить, что я, услышав угрозу М., сильно перепугался. Что меня затрясло! Что я побелел! И что дал страшную клятву, — в чем? Что с А. Д. ничего не случится?.. Ах, А. Д., это уже даже и не смешно.

* * *

*У всякого своя специальность.
"Спокойной ночи", стр. 367.*

Поездка "на задание" в Вену в 1952 году — самый мутный эпизод в книге А. Д., и без того предостаточно мутной. Зачем он вообще взялся это рассказывать? Боюсь, не от хорошей жизни. Чтение этой странной, мягко выражаясь, истории наводит на мысль, что А. Д. перед кем-то оправдывается, кого то очень старается в чем-то убедить, а вернее — переубедить. Извольте ли видеть, дело было так.

Лето 1952 года. Элен закончила университетское образование и, улизнув с помощью А. Д. из капканов и сетей Органов, вернулась в родной Париж. Однако Органы не сдаются. Элен им очень нужна. Упустив ее из-под носа в Москве, они норовят добыть ее за рубежом. Затраты их, естественно, не смущают. И вот А. Д. — сам-три, в пустом бомбардировщике, в сопровождении двух гебистов — мчится в Вену, куда должна приехать Элен.

Грандиозная операция! Бомбардировщик с тремя личностями на борту — в Вену и назад — не копейное удовольствие. Младший из гебистов — майор, значит, старший — как минимум подполковник. По всему видать — задумано что-то нешуточное, государственно важное. Что-то они с бедной жертвой сделают — застрелят? выкрадут? завербуют? Ах, Боже мой!

С А. Д. тоже все тщательно продумано. Это ведь так нормально и никого не должно удивить, что советский диссертант по своим научным делам в 1952 году летит в Прагу. И почему бы ему по дороге не завернуть в Вену — попутно, так сказать, по удобному поводу? Что может быть естественней?

Кое-какие мелочи, правда, забыли, — видать, из-за спешки, — ведь в 24 часа сгрякали ответственную операцию. А именно, забыли снабдить аспиранта проездным билетом, паспортом и визой. Разведчик за рубежом без единого документа, хотя бы и фальшивого — это надо же! А если его, скажем, остановит венская полиция или, не дай Бог, союзники?

Маму-то А. Д. известил, будто едет на конференцию в Харьков. Не хотелось обременять сердце. А то бы, конечно же, сказал правду. А как выкрутился в университете — не рассказывает. Возможно, что там он не остерегался обременять сердца, и кому нужно было — тот знал. Трудно сказать. С Элен тоже все в ажуре. В письме, написанном под диктовку, А. Д. известил ее о своем визите в Вену. Уж Элен-то знает советские порядки. Уж она-то не удивится, что советский диссертант свободно разъезжает туда-сюда по Западной Европе. Правда, в последний момент А. Д. снова обманул наивные Органы: вставил в телеграмму слово “обязательно”, что по договоренности означало “не приезжай”. Но легкомысленная Элен (француженка, что взять!) то ли не заметила, то ли пренебрегла.

И вот — они в Вене. Чудеса в решете. С одной стороны — советская служба информации в Вене поставлена отлично. Известно, пофамильно и круглосуточно, обо всех прибывающих и отбывающих иностранцах. Элен, почему-то названная беглянкой, в этих списках не значится.

С другой стороны, ответственные спутники А. Д., плюя на огромную и дивно организованную службу информации, с идиотской настойчивостью ищут Элен на улицах Вены. Что вы, что вы, есть и объяснение: по расчету “старшего”, “...парижанка каким-нибудь окольным путем, возможно, перемахнула кордоны... Тут, на панели, мы ее и накроем...”

А. Д., ну зачем же так? К чему девушке из хорошей семьи и с двумя дипломами по-пластунски переползать две границы, да еще в неудобной горной местности? Ради чего? И знаешь ли ты, какова протяженность венских панелей? Твои-то читатели, небось, знают. И понимают, какова вероятность накрыть искомую личность, прочесывая три дня подряд венские штрассе и гассе. Тем более что гебисты поражены, конечно, западным изобилием и тратят драгоценное время на созерцание витрин. А также соглашаются сопровождать интеллигентного А. Д. в музей, — конечно же, в надежде накрыть там Элен.

(Однако читатель этой детективки не должен забывать, что А. Д. — не поставщик сомнительного чтива, а тонкий стилист и мыслитель. Для этого остросюжетный текст перемежается декоративными вставками и мыслями незаурядной глубины. Например: "Искусства нет без любви. Любовь — в основах искусства. Потому оно и тянется ввысь".)

Но вот Элен найдена. Где и как — хитрый А. Д. не рассказывает. Ясно только, что он и тут обманул без труда дураков-гебистов: все рассказал Элен. И даже, опасаясь похищения, настоял, чтобы она зарегистрировалась во французской комендатуре. И этим спутал их подлые планы. "То-то они чертыхались!" Вообще — с начала до конца не помогал им, а мешал, молодчина.

Такие затраты. Такая подготовка. Такие силы задействованы. Диссертанта оторвали от научной работы. Небось, вынудили его врать друзьям и знакомым. Командировочные. Казенного бензина сколько пожгли. А толку — чуть. Не считая того, что в ресторане Элен и Главный обменялись мыслями насчет действенности абстрактных идей. И А. Д., хитрец эдакий, успел договориться с Элен о переправке своих сочинений за границу. Так что можно даже так понимать, что это Органы виноваты в будущей публикации на Западе прославленных терцин. Смешно, ей-Богу... Они обсуждают, как переправлять на Запад антисоветчину, а сзади следит за ними гебист и ничего, младенец, не подозревает.

И А. Д. удивляется: Боже, как странно! Охотились-охотились, а жертва без труда и ущерба ушла из смертной петли. Живая. С ненарушенной репутацией и совестью. Да не авантюра ли это была, никчемная и вздорная? Ведь даже и ресторанные фотографии — Элен с советским агентом за бутылкой вина — никогда не были использованы для шантажа.

Ох, сомнительно. Насколько мы знаем Органы, эта организация подготавливает свои акции солидно и профессионально. Четко ставит задачи и неплохо их решает. И в деньгах хоть и не нуждается, но без толку их тоже не швыряет. Так что есть кое-какие основания думать, что и в этом случае все было не так смехотворно-нелепо, как описывает А. Д. Что-то он, может быть, от общественности скрыл.

Рассудим, опять же, так: ладно, ничего не получилось. Жертву накрыли, но вместо ликвидации, умыкания или, на худой конец, шантажа — взяли да и отпустили. И она спокойно уехала, успев сговориться о чем надо с А. Д. Не удалось. Но ведь, с другой сто-

роны, и не наследили. Не привлекли ничье внимание. Так зачем же на обратном пути суетиться, менять самолет на поезд, "путать карты" ничего не подозревающей американской разведке? Да захоти американцы проследить "баснословный маршрут" А. Д., им бы замена самолета поездом стала нечаянной радостью: самолет взлетел — и нет его, а в поезд можно подсесть и последить. И как это, извините, можно ехать поездом якобы в одном направлении, а в действительности в другом? Разве на нем не написано? Темно все это, господа, не убедительно и до крайности странно.

Возникает ряд тяжелых вопросов. Среди них, к примеру, такой: многие ли из миллионной армии советских стукачей удостоились доверия участвовать в таких вот загадочных заграничных операциях? И если нет, то не слишком ли легкое это слово — стукач — для А. Д. образца 50-х годов? И прекратил ли он свою секретную патриотическую деятельность сразу, по возвращении в Москву, к любимому Маяковскому? Позвольте цитату: "...Не знаю. Я досея в руках не держал"...

Все это, в самом деле, очень тяжело. Ведь речь идет о человеке, которого я долгие годы считал своим другом. Более того, опорой в моей злосчастной судьбе. Наперсником. Считал я его также и хорошим, интересным писателем, хотя вкусы наши и не совпадали. Очень многое ему по любви прощал. И был, в конечном счете, хладнокровно и бессовестно обманут.

Да я ли один? И во мне ли дело? Вспомним: процесс, всколыхнувший совесть всего мира. Двуетный писатель Синявский-Даниэль. Писатель-символ, писатель-мученик, познавший тюрьму и лагерь. Общее сочувствие. Симпатия. И радость, что хоть одна половинка бывшего двуетинства выбралась на счастливый, свободный Запад. И тут, конечно, заслуженный триумф. Ведь как же: настоящий русский интелlectual. Узник Сиона... то есть, пардон, Сены. "Синтаксис". Культура. Солженицына едва не разоблачил. Независимо мыслящий, либеральный, и пишет так современно, что порой и не поймешь. Пламенный, наконец, борец с тоталитаризмом. И так далее.

А что — далее?

От редакции: По просьбе С. Хмельницкого мы сопровождаем публикацию его письма стихами автора, ссылки на которые имеются в тексте письма и книги А. Д. Синявского.

А. Синявскому

Так пошло на Руси. Так случается. Верьте, не верьте —
Мы в законах природы не в праве менять ничего,
Ни один настоящий поэт не покончит естественной смертью, —
Или он сам себя, или кто-нибудь сбоку — его.

Только Фет избежал этой участи горестной нашей.
Возникает вопрос: а поэт ли удачливый Фет?
Ты поэт, мой Андрей, и не минет тебя эта чаша,
Потому что я знаю: ты настоящий поэт.

Хорошо перед сном запереться тихонько в уборной,
Сунуть дуло за зубы, прочесть — “уходя, гаси свет”,
Крикнуть: общий привет! — И упасть вверх тормашками в черный,
Всем на свете назначенный рано иль поздно клозет.

Будет вечер как вечер, в зелено-оранжевой краске,
Но раскроется дверь, загудев как пожарный набат,
Управдом завопит: удавились профессор Синявский! —
И помчит, накренившись, крутить телефон-автомат.

* * *

Бывало, рядами пылающих плошек
Чухонские тучи расчерчивал Павел, —
Теперь над столицей зеленый горошек
Неоновым заревом крыши расплавил.

Последний трояк на коробку “Пальмиры” —
И дымом позора герой обещен.
Шаром покати по безлюдному миру,
По круглой пустыне сомнений и трещин,

Пустых разговоров и рукопожатий,
Вагона, где бродит военный в пижаме,
Поспешной любви на дощатой кровати
И сводов над пыльными чертежами.

* * *

Рассыпать стрелы направлений,
Запутать ниточки погонь,
Перешмыгнуть мышиною тенью
Навстречу пущенный огонь,

И от бильярдного удара
Пробив, не глядя, пелену,
Пойти упругой костью шара
Вкось по зеленому сукну.

* * *

Здравствуй, милый нераскаянный злодей.
Очень рад я познакомиться с тобой,
Потому что я люблю плохих людей,
Потому что я и сам такой плохой.

Может, я с тобой давно уже знаком?
Ты ведь тоже любишь в омут головой,
Тоже любишь прокаленным пятакom
Прокатиться по гремучей мостовой.

Не кривись и не ломай карандаши,
Никого себе на помощь не зови.
Или в гривенники выйти порешил,
Или холодно на свете без любви?

Не печалься, не тревожься и наплюй.
Все прекрасно, только очень может быть —
Никогда я никого не полюблю
И меня, пожалуй, не за что любить.

Но пройдем мы по земле и по воде,
Наглым смехом нарушая их покой,
Потому что я люблю плохих людей,
Потому что я и сам такой плохой.

7.5. 1945.

Неизвестно куда ты идешь по столице твоей,
Непонятно зачем на Петровку тебя завело.
Начинается ночь, и кустами ползучих огней
Расшибается пламя о траурное стекло.

Подбородок вперед, ты плывешь на привычной волне.
Я не верю тебе. Ты еще подозрительно тих.
Ты вслепую идешь по шипенью морозных камней,
Под бредущую вброд канонаду вечерних шутих.

Молодые хлыщи с непонятым притоком деньги
По подъездам разводят привилегированных дам.
Ты завидуешь? Нет. В переулке ни тени, ни зги.
Всеравно от меня не уйдешь никогда никуда.

На сырых площадях не осталось уже ни души,
Водосточные трубы съедает жестокая ржа,
Мудрецы-гинекологи, розовый свет потушив,
Ловят "Голос Америки" в жаркие сети пижам.

Ты дошел до конца. Оглянись на неверном снегу.
Тяжек хлопьев полет на бетонные струны трибун.
Часовые стоят, и глядит немигающий ГУМ
На стоящих, и спящих, и прахом лежащих в гробу.

Конец 40-х.

О Господи, я успокоился рано.
А были минуты блаженные сладки
На продуваемой вихрем площадке,
У насмерть покрашенного стопкрана.

Дорога, дорога, — платформы в тумане,
Зеленых вокзалов бесстыжие слезы,
И паузы ночью. И снова качанье,
Собачья возня и рывки паровоза.

И дальше, по щебню, на щебет киргизок,
На дальние осыпи в медном чекане
Бутылка, журнал и колбасный огрызок
Бегут застекленными солончаками.

И поезд гремит, разгибая суставы,
И сладко болит позабытая рана:
Ряды тополей осеняют составы
На страже у пыльных ворот Туркестана.

1952—1954.

* * *

Когда распинали Христа,
Мой предок дремал на крыше.
Разбуженный шумом, встал
И тотчас наружу вышел,

И не заходя в клозет,
Как был, неумыт, в исподнем
Он кинулся поглазеть
На крестные муки Господни.

Достигнув же высоты,
Где состоялся праздник,
Мой предок ушел в кусты,
Подальше от места казни.

Потом он с толпой кричал,
Что нету святынь отныне,
Потом хвалил палача
На очень плохой латыни,

Потом вернулся домой
Мой предок, душа живая,
И вскоре уснул с женой,
Ужасно переживая.

Господь, распятый за ны,
Кого я молю так редко!
Сними с меня часть вины
За чистую душу предка.

Аде Берштейн

Скачка в горах

Мы снова отступаем по высохшей степи,
Теряя скот и женщин и пленных, взятых прежде.
Бесчестной смерти ужас нам души растопил,
И мы уходим в горы с колючками в одежде.

Первенцами счастья мы были столько лет,
О сколько нам давалось, а что мы взяли, люди?
Сады у наших окон, звезды хвостатый след,
Плоды, вино и мясо на нуратинском блюде.

Треплет ветер ночи очажные огни.
Гони, гони кобылу на юго-юго-запад.
Пустыня прыщует стрелы из луков Шейбани,
Рвут державы мира друг у друга Запад.

Ты видишь ли?
Ты помнишь ли?
О сжался, оглянись.
Как мало вместе мы прошли,
Как скоро разошлись.
Неужто так, неужто зря,
Над падалью паря,
Я вылетел найти тебя
И потерял тебя?

Наш путь покрыт позором потоптанных дружин.
О горе Джагатаю, узбеку под копыто
Державу расточили амиры и хаджи,
А сами ищут плети проклятого шиита.

О горе Джагатаю, нам нет назад пути.
Пусты подсумки наши и лошади понуры,
Но мы еще успеем до Индии дойти,
Но мы еще всего лишь наследники Тимура.

Трущобы Бадахшана обвалами пылят,
Закрыли перевалы потоки в пене ржавой.
Мы стены подыдем невиданных палат,
Неслыханной славы поставим мы державу.

О, правда есть
И счастье есть,
Я это все прочел
В отличных книгах, и узнал
Где что и что почем.
Но нет прощенья беглецам, —
Доля собак,
Дело — табак,
Смола стыда на те года
Во веки веков — так!

Слушайте, люди, все выдумали мы.
За нами нет погони, — мы сами, мы сами.
Но где земля без соли, и где пути прямы
Под жалящими зноем родными небесами?

О люди, это дело бесцельно для нас,
Разменная монета и вымысел досужий,
Но поле нашей жизни расстелено для нас
Очажным дымом, садом, колючкою верблюжьей.

Два ангела над нами рвут небо пополам.
Привет, земля родная. И горе. И слава.
Бежать воде, расти траве и жить моим делам
На той земле, что мне дана навеки и по праву

О, я клянусь,
Что я вернусь
И стукну в окно.
Прямым путем,

Кривым путем —
Не все ли равно?
И нет печали впереди,
А на былом — печать.
Умей терять и находить,
И заново терять.

1952–1953.

* * *

Примерно год тому назад
Меня убил упавший свод.
Мне перешиб кирпич хребет.
На вас, ребята, нет вины.
Ей-Богу, нет.
Кто вам сказал?
Для этого, наоборот,
Вы вовсе не были нужны.

Я испытал, как он тяжел
И как необратимо зло.
Прости вам Бог упавший свод
И пыль, забившую глаза.
Никто не гнал, я сам ушел.
Ужасно мне не повезло
Примерно год
Тому назад.

29.6.1965.

КУЛЬТУРА

В октябре минувшего года Международная Хельсинкская Федерация за права человека провела в Будапеште неофициальный симпозиум на тему "Писатель и его цельность". Это было беспрецедентное событие в коммунистической части Европы, тем более примечательное, что оно было приурочено к проходившему там же и в те же дни официальному "Европейскому культурному форуму". Мы предлагаем читателям некоторые материалы этого симпозиума.

**В ПРОШЛОМ ГОДУ
В БУДАПЕШТЕ...**

Несмотря на то, что в последнюю минуту венгерские власти отказались предоставить неофициальному симпозиуму европейской интеллигенции обещанное помещение в громадном отеле "Дуна интернейшнл", он все же состоялся на частной квартире известного венгерского кинорежиссера, и официальные лица, к их чести, практически не вмешивались в его ход. В работе альтернативного форума приняли участие также ведущие деятели венгерской оппозиции, включая и того из них, который всего за неделю до этого находился под домашним арестом. Вся обстановка неофициальной встречи разительно отличалась от той торжественной и безликой, в которой в эти же дни проводился официальный "Европейский форум культуры" в "Нов-отеле". В речах, произнесенных там и здесь, сохранялся тот же контраст. Там румынский делегат пылко расписывал культурные свободы, которыми пользуются венгерское и немецкое национальные меньшинства в Трансильвании; здесь нам открылась истинная картина растущей дискриминации и истребления их культур. Там делегат Чехословакии прославлял — по-русски — бюрократическое подчинение культуры нуждам социалистического государства и его "борьбы за мир"; здесь мы слушали выступление одного из самых выдающихся чешских писателей, гонимого в его собственной стране и, в конце концов, изгнанного из нее. И здесь мы услышали, как те чешские писатели, которые остаются в Праге, отвечают на вопрос, что именно социалистическое государство в состоянии сделать с их культурой...

*Тимоти Гартон Аш.
"Спектэйтор".*

Оды дядюшке Нику

Весной 1975 года в румынских газетах был опубликован Моральный кодекс коммуниста, разработанный самим президентом и генеральным секретарем партии Николаем Чаушеску. На заседании редколлегии нашего еженедельника, посвященном этому событию, замредактора спросил меня, что я собираюсь написать по данному поводу. Я ответил: "Ничего". С тех пор в редакции мне поручали только корректорскую работу, за два года я не смог опубликовать ни строчки, и в течение четырех месяцев меня дважды, а то и трижды в неделю вызывали на допросы в Комитет по делам государственной безопасности. Такова была цена одного слова. Товарищи по работе навещали меня, пытаюсь втолковать, что я веду себя глупо; один из ближайших друзей даже предложил написать необходимую статью за меня, если уж я не в состоянии сделать это сам. Спустя три года я эмигрировал в Венгрию.

Пожалуйста, поймите меня правильно: я отнюдь не герой, мой отказ был продиктован просто полным отвращением, а возможно, и полной безнадежностью. Власти прекрасно понимают, что все так называемые Чауш-опусы, Чауш-поэмы или "портреты дядюшки Ника" позорят того, кто их пишет. Но это часть их тактики: согласись однажды на такое унижение — и ты их навеки. И назад уже пути не будет — попробуй откажись, и окажешься без работы, и это еще не самое худшее из того, что может случиться.

Право на молчание завоевать нелегко. Редакторы и издатели, защищая некоторых выдающихся авторов от сочинения од дядюшке Нику, принимают позор на себя и сочиняют их сами. Никогда не забуду, как один из моих сослуживцев во время проработочного собрания, состоявшегося после моего отказа сочинить Чауш-опус, сказал: "Ты считаешь себя лучше нас? Почему ты не можешь взять на себя часть грязной работы, которую приходится делать нам всем?! Ведь мы защищаем от разгрома наш журнал! Ты хочешь, чтобы трансильванские венгры лишились единственного литературного периодического издания?" — и в глазах его стояли слезы.

Означает ли вышесказанное, что в современной Румынии от-

сутствует достойная литература? Вовсе нет. Поэт Никита Станеску, романист Александру Ивасюк, драматурги Марин Сореску или Андраш Шюто, эссеисты Константин Нойка и Дьердь Бреттер сделали бы честь любой литературе в любой части света, более счастливой, чем та, в которой живут они сами. В опасности не художественные ценности, но нравственное достоинство. А уж о темных сторонах жизни — голоде, холоде и унижении — не стоит и говорить. И это подрывает доверие абсолютно ко всему.

Сьюзан Зоннтаг

Единство культуры

Правительство Соединенных Штатов предложило мне принять участие в работе американской делегации на официальном форуме культуры, проходящем сейчас в этом же городе. Я была очень благодарна моему правительству, но предпочла стать делегатом этого, неофициального форума. Не то, чтобы я думала, что здесь я более свободна, чем там, — все, что я собираюсь сказать здесь, я могла бы сказать и там, — но я просто всей душой за частные встречи, происходящие без всякой поддержки со стороны правительства. Я думаю, что именно в них живет самый дух Хельсинкских соглашений.

Форум посвящен европейской культуре, и эта идея чрезвычайно волнует меня, американку. Когда некоторые люди говорят о культуре Восточной Европы, это зачастую означает, что страны Восточной Европы как бы не вполне Европа, и их культура как бы не вполне европейская культура. Здесь и сегодня утверждается единство Европы, единство ее культуры.

Дьердь Конрад

Литературе требуется свобода

Европу создали индивидуумы, а не правительства. Есть Европа государств и есть Европа литературы. Мы собрались здесь для того, чтобы помимо голоса Европы государств прозвучал голос Европы писателей. Этот форум — первый шаг к улучшению по-

ложения писателей и интеллектуалов Европы, которые в будущем должны иметь возможность встречаться свободно и свободно обмениваться мнениями.

Писатель должен иметь право беспрепятственно выражать взгляды, не совпадающие с официальными. "Вторая", неофициальная, самиздатская литература возникла в Венгрии и других странах как реакция на одетую в мундир, скованную в выражении мыслей и мнений официальную культуру.

Цензура — колючая проволока вокруг культуры. И если в какой-то стране сжигают книги, то общество в целом повинно в этом преступлении. Литературе требуется абсолютная свобода. Писатели могут порой идти на компромисс, литература — не может.

В демократических странах есть цензоры, но нет Цензора с большой буквы. Мы собрались здесь не как делегаты или представители чего-либо, а как свободные люди. Мы никого не представляем здесь, кроме себя самих. Вот мы собрались здесь, не посланные никем, сведенные вместе единственно желанием видеть друг друга. Не делегаты, не представители государств, мы — это просто мы. Мы — другая Европа, писатели с двух сторон, разделенные полосой огня. Вот мы сидим здесь, точно граждане "вольной республики словесности" в каком-нибудь XVIII столетии, готовые, как они, обрыскать всю Европу, чтобы встретиться друг с другом. Их тоже разделяли границы и бедствия, но именно они создали Европу мысли под боком у Европы королей. Идеи просвещения прорвали запруды границ и растеклись свободно — от Парижа до Санкт-Петербурга. Столетие от Вольтера до Флобера понадобилось французским авторам, чтобы сбросить иго цензуры. Восточной части Европы не хватило и двухсот лет. Здесь цензор и таможенник никогда не были комическими фигурами. Улыбка и сегодня гаснет на наших лицах, когда они принимаются за наши тетради, вытряхнув их из чемодана: просматривают, перелистывают, того и гляди конфискуют. А они ссылаются на правила и законы, на интересы народа и социалистического государства. Разрушить рогатки цензуры означает содействовать миру. Нам пора преодолеть национально-государственную замкнутость. Интеллектуалы — первый действительно интернациональный класс в истории человечества. Интеллектуальная свобода — наша цель и основа нашей силы.

Писатель, его цельность и искренность

Литература всегда находится в столкновении с властью. Правители хотят, чтобы народ верил в их всемогущество, писатели, напротив, помогают людям осознать себя и преодолеть чувство беспомощности и незащитности. Вот почему цензура наносит ущерб не только авторам, но и читателям. То наступление, которое государство ведет на литературу в странах Советского блока и Третьего мира, очевидно. Труднее заметить и оценить тот процесс, который происходит в свободных странах, где индивидуальный голос едва различим, оприходованный бюрократией с ее компьютерами, казенным словарем и набором штампов, которым она прикрывает свое наступление на отдельную личность. Наше время — время растущей несвободы. И в этом постиндустриальном мире искусство остается последним оплотом независимости духа. Отсюда ясно, что свобода самовыражения — не роскошь, а насущная необходимость даже в самых бедных странах. Белль сказал однажды, что “литература не нуждается в свободе, потому что она и есть свобода”. Именно поэтому правительства пристраивают к ней цензуру. В таком подходе к литературе есть свой резон — власть справедливо видит в искусстве слова своего конкурента, потому что слово, и вправду, есть власть. И потому велика ответственность писателя, а его искренность и цельность являются важнейшими составляющими его таланта. Возможно, каждое общество имеет ту словесность, которую оно заслуживает. Есть общества, которые позволяют писателям ощущать себя над ним, поучать, вести, указывать путь... Литература часто кажется зеркалом, — но только тем, кто боится взглянуть на свое изображение. Большое общество нетерпимо относится к своему изображению, отсталое общество обвиняет зеркало во лжи, объявляет все зеркала вне закона и предпочитает им радужные лубочные картинки. А открытое общество — увы! — и вовсе не интересуется своими изображениями.

На деле же, конечно, литература не зеркало и не ответвление социологии. Ее непосредственная полезность может быть поставлена под сомнение. Искусство не может справиться с тиранией. Но когда Франко уходит, Лорка остается. Литературная деятельность имеет подрывной характер именно потому, что не имеет

никакой определенной цели: слово существует само по себе, довольствуясь выражением присущей людям неудовлетворенности и неопределенного ожидания.

Амос Oz

Не цельность, а ответственность

На иврите нет слова, равноценного английскому "интегри́ти", означающему сразу и искренность, и цельность, и чистоту. Возможно нам, евреям, недостает этого латинского качества вообще. В моем словаре я пытаюсь подобрать другие синонимы того же ряда: неиспорченность, целостность, отлитость из одного куска. Возможно, евреи не отлиты из одного куска, а составлены из нескольких. Но правда ли вообще, что поэт или романист являются собой некую цельность или неиспорченность в каком бы то ни было смысле? Может ли изобретатель фабул и характеров, творец "другой" реальности быть "отлитым из одного куска"? Разве писатель имеет дело с глыбой мрамора, а не с цветными стеклышками, из которых он составляет свои мозаики? Д. Г. Лоуренс как-то сказал, что прозаик должен уметь изложить противоречащие друг другу свидетельства с равной степенью убедительности. Примерно как тот раввин, что в качестве третейского судьи признал правоту обоих евреев, споривших из-за козла, а позже, придя домой, сказал своему сыну в ответ на его удивленный вопрос, как это они оба могут быть правы сразу: "И ты прав, сын мой!"

Прозаики и поэты всегда свидетельствуют о времени. От их свидетельства ожидают этого самого "интегри́ти" — цельности и искренности, или, по крайней мере, честности и объективности. Как правило, писатель выступает обвинителем и все же легко убедиться, что он в то же время и свидетель защиты. Еще того хуже: вы обнаружите его и в составе жюри присяжных. Но разве не он оказывается и следователем, разоблачившим обвиняемого? И не он ли одновременно и родственник подсудимого? И семья потерпевшего тоже? Он действует по праву как судья. И тайно он организует побег под носом у тюремщика, которого он сам же и вооружил. Как можно ожидать "интегри́ти" — искренности и цельности — от такой сомнительной личности?

Но одну роль писатель обязан исполнять всегда — роль защитника языка. Потому что тирания, угнетение, нравственная деградация, преследования и массовые убийства всегда и везде начинаются с загрязнения языка, с подбора пристойных наименований, за которыми прячется грубое насилие: “новый порядок”, “окончательное решение”, “временные меры”, “некоторые ограничения” — или наоборот, с попытки переопределить человеческие существа грубыми биологическими терминами: “тунец”, “паразит”, “тараканы”. Повторяю: писатель должен действовать как дымоуловитель или даже целая пожарная команда, если он видит, что на его языке человека приравнивают к насекомому, ибо это признак, что дело идет к массовому уничтожению и зондер-командам. Повсюду, где войну называют борьбой за мир, угнетение и преследование — мерами безопасности, а убийство — освобождением, осквернение языка — лишь прелюдия к истреблению жизни и достоинства. В этих случаях государство, класс, режим, быть может, сохраняют цельность — но человеческая жизнь уничтожается. Пресловутое “интегрیتی” разгуливает по полям, усеянным трупами.

Вернемся к нашему сомнительному герою, к писателю, чье “интегрیتی” начинается и кончается внутри его собственного “домена слов”: он может построить из них роскошные замки, играть ими в блестящие игры, назвать с их помощью смерть розой. Но если он сохраняет чувство ответственности, он называет розу розой, а смерть смертью, подлость подлостью, а пытки пытками. И этот его способ предупреждать о пожаре наводит ужас на тиранов. Разве само существование цензуры не есть косвенное признание того ужаса и восхищения, которое властители испытывают перед писателями. При всей своей безумной цельности властители пасуют перед писателями, этой цельности вовсе лишены, подозревая, что писатели знают их изнутри и видят насквозь, проникая в темные закоулки их сознания — и все потому, что их безумие, варварство, невежество и грубость писатель опознает, находя их в глубинах собственной души.

Сомневаюсь, чтобы писатели и поэты обладали загадочным “интегрیتی”. Сомневаюсь даже, чтобы это прекрасное качество вообще было им нужно. Но верю, что хотя бы некоторые из нас способны изблечить и разрушить фанатичную целостность маньяка, искреннюю одержимость крестоносца. “Интегрیتی” — это как раз по их части. Наша же искренность относительна, а цель-

ность не совершенна. Но пусть они заботятся о своих глыбах мрамора — мы останемся при наших драгоценных мозаиках.

Адан Финкельрот

Европа и культура

Вот два вопроса, на которых я хотел бы остановиться: что такое культура и что такое Европа?

Вплоть до 70-х годов концепция единой в культурном отношении Европы не привлекала внимания французских интеллектуалов. Европа была чисто политическим и экономическим понятием, связанным с Общим рынком, и потому волновавшим, скорее, политиков, стратегов и технократов. Для мыслящей интеллигенции это понятие было скомпрометировано двумя историческими причинами — нацизмом и деколонизацией.

Гитлер был одержим идеей создания всеевропейского нового порядка. Его целью было сохранить чистоту европейской арийской крови. И он почти добился своей цели, скомпрометировав этим идею единой Европы в глазах интеллектуалов, оказавшихся свидетелями его преступлений. Ради этнической Европы он готов был уничтожить Европу гуманистическую и культурную, и после него в самом слове “Европа” стало слышаться нечто злобное и агрессивнорасистское. Такое представление еще более усилилось в период деколонизации. Ведя борьбу за национальную независимость, страны Третьего мира создали собственный образ Европы, которая словами о гуманизме и культуре лишь прикрывает свою империалистическую сущность. Если вы хотели стать на сторону бедных и угнетенных, вы неминуемо должны были стать противником Европы. Так произошел разрыв между левыми интеллектуалами и Европой, потому что на языке всемирной классовой борьбы Европа стала лишь иным именем для угнетения.

Здесь кроется корень взаимного непонимания между левыми интеллектуалами Запада и стран Восточного блока. Нельзя сказать, что разгром венгерской революции или оккупация Праги не были замечены европейской интеллигенцией, но их моральная поддержка чехам и венграм была не столько поддержкой европейцев, отождествлявших себя с общеевропейскими ценно-

стями, сколько поддержкой жертв тирании и угнетения. В те времена эти два понятия — “европеец” и “угнетенный” — не совпадали. Сочувствовать борьбе поляков, венгров и чехов готов был каждый, но мало кто прислушивался к тому, что они говорили о значении и смысле своей борьбы. Симпатизируя их готовности к сопротивлению, мы не понимали того, что было стержнем этого сопротивления — не понимали, что речь идет об остатках европейского духа в этих странах.

Ныне это непонимание больше не существует. Оно исчезло благодаря усилиям Милоша, Кундеры, Колаковского и других эмигрантов из восточноевропейских стран. Как явствует из самого факта нашей встречи, вопрос о единой европейской культуре снова на повестке дня. Вопрос лишь в том, какова та “идея Европы”, которую мы готовы отстаивать: шпенглеровская, выраженная в его книге “Закат Европы” — или та, что запечатлена Жюльеном Бенда в его книге “Обсуждение вопроса о европейском обществе”? Первое из этих имен символизирует романтическую концепцию европейской культуры, второе — гуманистическую. По Шпенглеру Европа (или Запад) — это особая культура, которая, согласно романтической традиции, идущей от Гердера, родилась в Германии как воплощение уникального духа, особого характера, исключительной души, пронизывающих все виды деятельности, которые существуют в данном обществе. Согласно этой романтической традиции, все, что вы делаете, сознаете вы это или нет, выражает вашу причастность к этой культуре, и художник (или мыслитель) не могут не быть ее естественными выразителями.

Бенда смотрел на эту проблему иначе: возможно, полагал он, и существует особый европейский образ жизни, но главное, что отличает Европу — это как раз наличие разрыва, дистанции, причем дистанции сознательно удерживаемой и сохраняемой, между “народным духом” и культурой. Не следует смешивать собственно культуру с духом народа, нации, общества или континента. Культура представляет собой некую независимую реальность, автономную область. “Республика писателей” населена индивидуумами.

За этими двумя толкованиями кроются две противоположные философии: для одной из них, романтической, индивидуальное есть всего лишь выражение того коллективного, которому оно принадлежит, и “я” никогда не удастся перерезать своей свя-

зи с "мы"; для другой характерна вера в независимость индивидуального духа от "крови и почвы".

Бенда писал свою книгу в 1933 году, в год прихода Гитлера к власти. Мы все знаем, во сколько обошлась Европе победа романтической концепции над гуманистической традицией. Эта концепция родилась из противопоставления немецкого романтического мистицизма идеям французского просвещения. Ныне старинная идеологическая драма разыгрывается вновь, но уже во всемирном масштабе, как восстание неевропейских наций против западного духа. Достаточно взглянуть на последние резолюции ЮНЕСКО, чтобы распознать идеи национального романтизма, переведенные на скучный язык бюрократии. Роль государств и различных всемирных организаций сводится к сохранению и упрочению перегородок между культурами "коллективов". Иными словами, творческий дух, свобода, независимость — все эти качества опять отчуждаются от личности в пользу некоего национального коллектива. Только коллектив наделяется правом на независимость и культуру. Эта романтическая концепция странным образом роднит марксистские государства с фундаменталистскими. И те, и другие приносят свободу личности в жертву некоему "общему благу". И те, и другие отвергают автономию духа. И те, и другие полагают, что духовное должно быть определено исключительно в терминах классовой или религиозной борьбы.

Что же такое Европа? И что такое культура? Думаю, сегодня мы находимся на пути к верному ответу. Европа есть некая идея культуры, которая может быть определена в двух словах: автономия духа. Прежде эта идея подвергалась атаке внутри самой Европы, сегодня ее атакуют извне. И наша обязанность — воспротивиться этой атаке. Идея культуры как независимой реальности сравнительно молода — она родилась в эпоху Возрождения. То, что мы называем "новым временем", может быть описано как процесс замещения религии — культурой. Вполне возможно, что этот процесс подходит к концу. Но я убежден, что его завершение должно быть осознано. Ибо если сегодня произойдет замещение культуры чем-то другим, то это другое будет называть себя тем же именем, хотя будет совершенно на нее непохожим.

Несколько мыслей

Когда я вернусь из Будапешта в Оксфорд, мои соседи скажут, что я вернулся из Европы. Британия — одна из тех европейских стран, где люди говорят о Европе, как о загранице. Другая такая страна — Россия. Но ведь ясно, что исключать английскую литературу из европейской культуры — нелепость столь же очевидная, как абсурдное стремление Кундеры исключить из этой культуры русскую литературу, сделав Достоевского ответственным за танки на улицах Праги. И все же в Британии еще сильнее, чем в России, живет ощущение, что она находится в каком-то закоулке Европы.

Волны европейского красноречия, буквально захлестывавшие все последние годы континент, едва ли могли взволновать нас. Мы наблюдали, как французские и русские, немецкие, польские и венгерские политики клялись — каждый на свой лад — в верности "Европе", но это всегда означало одно и то же: что на самом деле на первом месте для них стоит соответственно Франция или Россия, Германия, Польша или Венгрия. Когда же даже представители советского милитаризма стали призывать "всех европейцев сплотиться во имя мира", мы почувствовали сильнейшее желание уклониться от такого сплочения.

Для меня очевидно, что "европейская культура" — в том значении, которое это слово имеет для интеллектуалов и людей искусства, — стоит выше понятия отдельных национальных культур. Национальное взято мною здесь не в государственных границах, а в границах языковых, исторических и сверх того — в границах этнических объединений. Ясно, что наше чувство национальной принадлежности вызвано ощущением культурной общности: немецкая культурная общность все еще существует по обе стороны Берлинской стены, так же как венгерская культурная общность существует по обе стороны государственной границы. Разумеется, источники, питающие труд каждого писателя, особенны, загадочны и глубоко индивидуальны. Никакие политические условия, никакие государственные постановления не приведут сами по себе к созданию замечательной литературы, хотя могут привести к воспитанию замечательного читателя. Но для подавляющего большинства писателей той первой группой читателей, к кото-

рой они обращаются, почвой, их взрастившей, воздухом, которым они дышат, субъектом их повествования и их ближайшей аудиторией остается их родной народ.

При всем этом совершенно очевидно, что "культура национальных культур" находится сегодня в глубоком кризисе, в которой она сама себя завела. После двух мировых войн, развязанных европейцами, после сталинского геноцида, после гитлеровского геноцида, после Катастрофы — особенно после Катастрофы, после всего, что образованные европейцы учинили над образованными европейцами, мы оказались перед самым фундаментальным вопросом современности — что же значит быть цивилизованным человеком? В наше время столь же правомерно говорить о европейском варварстве, как и о европейской цивилизации.

Признаться, я испуган той надменной легкостью, с которой многие западные европейцы теперь привычно противопоставляют "европейские" ценности и образ жизни якобы наивным, низким и даже (я сам это слышал) примитивным ценностям, образу жизни и культуре Соединенных Штатов. И вот мы вновь оказываемся во власти, как сказал бы Кундера, "королевства беспамятства", только оно не спущено нам сверху, а само собой прорастает снизу.

Из этого проявления европейского варварства явственно вырисовывается насущная потребность дать ясное общее определение принципов и ценностей цивилизованного поведения и образа жизни. В Англии мы тоже подошли к сходному пункту нашей национальной жизни и культуры: наше общество разрушено, наши навыки сосуществования утрачены, нам снова нужен Билль о Правах. Хотел бы я, чтобы Хельсинкские соглашения стали таким Биллем. Европа дала его себе сама — и против себя: не против американских ценностей и даже не против советских ценностей; но против извращенных ценностей европейского национализма и европейского варварства.

Однако не существует такой международной хартии, которая могла бы решить проблему языка. А ведь для многих важнейших вещей у нас просто нет слов. Наиболее живо это явствует из фильма Клода Ланцмана "Катастрофа", где интервьюируют главного палача, а тому просто не хватает слов, чтобы описать, что он на самом деле делал. Не есть ли это специфически "европейская" задача для писателей — отыскать истинные слова и приклеить

их намертво к содеянным преступлениям? Быть не только, как сказал тут Амос Оз, дымоуловителем, но и кондиционером воздуха — то есть не просто предупреждать об опасности при первых признаках дымовой завесы фальшивых слов, но и нагнетать чистый воздух истинных значений в наши раздельные языковые и национальные пространства.

Такая встреча, как эта, возможно, поможет нам найти некоторые из этих значений. Но я полон глубокого скепсиса по поводу мощи и суверенных прав “республики словесности”. Видение, которое обрисовал здесь Дьердь Конрад, видение Ордена Писателей, бесконечно обаятельно, особенно для тех, кому дано принадлежать к нему. Но мне как-то подозрительно учреждение авангарда интеллектуалов, несущего вниз свет со своей вершины, — чтобы поднять сознание масс. Пятый Интернационал — интернационал интеллектуалов — что за кошмар! Я полагаю, что наше место вовсе не на вершинах, но в тех долинах, откуда большинству людей даже не дано увидеть горы.

В заключение я хотел бы сказать несколько слов о Польше. Страшно жаль, что на этой встрече нет ни польских интеллектуалов, ни польских писателей. Жаль потому, что, мне кажется, за последнее десятилетие мы были свидетелями мужественной попытки польских интеллектуалов перешагнуть через те водоразделы, о которых я говорил выше — через водоразделы, порожденные самой европейской культурой, но угрожающие ей гибелью: например, водораздел между левыми и правыми, между евреями и христианами. Попытки объединить всех на общей платформе европейских ценностей. Можно сказать, что в своем совместном действии польская культура возвысилась до “европейской”. И, во-вторых, что еще понятней и ближе, Польша дала нам яркий пример успешной, на протяжении столетий, защиты национальной культуры от государственной власти. И если уж полякам не суждено выступать здесь, я хотел бы думать, что хотя бы эпиграф к нашей встрече мог бы прозвучать по-польски...

РАЗМЫШЛЕНИЯ
НАД
ТЕКСТОМ

“Все ложь и все правда”.

А. Битов.

“Пушкинский дом”

“И если дворник легко может узнать о снегопаде по снежинкам на шапках посетителей, то ты, министр, не можешь, ибо посетители оставляют верхнюю одежду в гардеробе, а если и не оставляют, то пока они ждут лифта и едут в нем, снежинки успевают растаять”.

С. Соколов.

“Школа для дураков”.

I

Когда ветер налетает на город Ленинград (он же Петербург) в первых строках романа “Пушкинский дом”, разбегается по улицам, проспектам и площадям и врывается в окна, раскрытые ничего не подозревающими ленинградцами, читатель озадачивается: откуда этот одухотворенный, живой, вороватый ветер? Может, это тот самый, что дует под именем “Насылающего” (или “Михеева”, или “Медведева”) в романе “Школа для дураков”? Возможно ли, чтоб ветер, пронесшийся в одном романе, ворвался в другой? Правда, если герой романа может спокойно разговаривать с автором после своей смерти, то ветер несомненно может нестись из одного романа в другой...

Джон Фридман

ИСКРИВЛЕНИЕ РЕАЛЬНОСТИ И ВРЕМЕНИ В ПОИСКЕ ИСТИНЫ В РОМАНАХ “ПУШКИНСКИЙ ДОМ” И “ШКОЛА ДЛЯ ДУРАКОВ”

(НЕНАУЧНЫЙ ОЧЕРК)

II

Две самые яркие особенности романов "Пушкинский дом" и "Школа для дураков" — это помутнение реальности и переосмысление понятия времени. В обеих книгах и реальность, и время эластичны. Ситуации и люди в них знакомы нам только в каждом данном отрывке, ибо если принять каждый роман целиком, то течение времени и реальности перестает быть похожим на то, к чему мы привыкли. Люди умирают (понятно), возрождаются (непонятно); время течет в будущее (понятно), или обратно в прошлое (непонятно), или вовсе не течет, а стоит неподвижно (совершенно непонятно); жизненные ситуации сказываются по линейному порядку (понятно), затем распутываются по совершенно необъяснимому порядку (непонятно); герои называются сначала одними именами и действуют соответственно своим характерам (понятно), затем они же называются еще двумя-тремя именами и действуют уже совершенно иным образом (тоже понятно). Но при этом сущность их остается неизменной (непонятно).

Для обоих авторов действующие лица и сюжет служат инструментами, орудиями для достижения желаемой цели, хотя каждый использует свои орудия по-своему. Битов-автор (так мы будем называть его, чтобы он отличался от самого Андрея Битова) вступает в роман, когда считает, что нужно объяснить и осветить происходящее. Он и дает разные возможности почти каждой главной ситуации в романе, которые он называет "версиями и вариантами". Какая из всех предлагаемых версий действительно имеет место, не только не ясно, но и неважно. Ему не столько интересно, что происходит, сколько — как это происходит и какие следствия для дальнейшего развития героя скрываются в происходящем. Человеку важно не только то, что случается в его жизни, но и то, что может случиться. У каждого человека есть воображение, и воображаемый им мир для него так же реален, как и тот, который сумел вырваться из сферы возможности и осуществиться в сфере действительности. Мир воображения и возможности оказывают огромное влияние на развитие человека — такое же, как реальные события.

Посмотрим на отношения Левы Одоевцева со своим дедом. Более двадцати лет дед провел в лагерях и в сознании Левы он отчетливо появляется только по возвращении из ссылки, когда Леве исполняется уже восемнадцать лет. Тем не менее образ деда

играет большую роль в развитии Левиного сознания. Крупнейший ученый-филолог, дед приобрел известность еще до революции, и образ этого высокообразованного, высококультурного человека очень влияет на Леву. Лева знакомится с ним, читая его труды, и тогда впервые начинает осознавать свою принадлежность к великому, интеллигентному и аристократическому роду. Это осознание определяет его развитие. Когда дед появляется вновь (а для Левы — впервые), Лева надеется найти потерянную нить, связывающую его с прошлым; он ожидает, что дед увидит свое продолжение в прекраснейшем, умном внуке. Однако встреча между ними оказывается совершенно иной, и внук уходит от деда разочарованный и оскорбленный.

Таким образом, оказывается, что воображенный Левою дед никак не похож на того, с которым он несколько часов сидел, разговаривал и спорил. Левин образ деда оказывается призрачным, как дым, который сначала не только кажется, но и существует реально, а затем растворяется в воздухе, не оставив ни малейшего следа. Подлинный дым, впрочем, — это явление настоящего, материального мира, которое можно увидеть, тронуть, создать и уничтожить, и этот мир мало занимает Битова-автора. Ибо даже после уничтожения реальностью идеальный образ деда продолжает существовать в Левином подсознании. С точки зрения реального мира можно было бы сказать: "Теперь Лева знает правду. То, что он думал до сих пор, было неправильно, оно не имеет места. Неправда пала, и правда пришла ее заменить". Но именно этого не происходит. Автор описывает, что происходит с Левою после встречи: он засыпает, затем просыпается:

"...проснулся Лева до странности пустым и свободным и будто ничего не мог вспомнить. И если какая-нибудь тень картинки вдруг проявлялась в его мозгу, он почти искренне не мог сказать, было ли то, откуда картинка и тень, на самом деле, или это отблеск полузабытого сна, кошмара, или ничего на самом деле не было. Этого урока он еще не мог усвоить".

До известной степени он так никогда и не усваивает этого урока. Бывший образ деда остается для него действительным, хотя и несколько "поврежденным", и служит ему идеалом в дальнейшей жизни, как материальной, так и духовной. В данном случае нереальность оказала на действительность его мира большее влияние, чем сама реальность.

Нужно отметить, что хотя значение реальности и нереальности очень смутно обозначено в "Пушкинском доме", границы между ними очерчены автором довольно четко. Он вмешивается в по-

вестование, чтобы помочь читателю разобраться в неясностях (хотя так же часто еще больше запутывает его, потому что сам не всегда точно понимает, что происходит: события в романе временами вырываются из повиновения и начинают развиваться так, что и автор не является полным хозяином своего творения). Но в "Школе для дураков" нет даже и такой ограниченной четкости. Повествование ведется от имени рассказчика-шизофреника. Как он часто говорит "между собой", "у нас вообще что-то не так со временем".

Это его (их) отношение ко времени можно полностью отнести и к реальности. У рассказчика по собственному признанию избирательная память. Он помнит и признает только то, что хочет признавать. Он ясно излагает свое мнение в конце книги, когда ведет разговор сам с собой: "И возможно, именно эту девочку мы с учителем Савлом называли Розой Ветровой. Да, возможно, а возможно, что такой девочки никогда не было, и мы придумали ее сами, как и все остальное на свете". Таким образом, он лишает реальной почвы все, о чем рассказывал на протяжении романа. Все его истории, связанные с учителем (Савлом, Павлом), с мамой, папой, с девушками и вообще со всеми, оборачиваются творениями его воображения.

Когда изображение реальной жизни в романе не соответствует нашему представлению о ней, мы начинаем сомневаться или в романе, или в наших представлениях. И основной вопрос здесь такой: какова должна быть правда, чтобы привести нас к истине? Не может ли она быть найдена в областях ирреальных? Давайте посмотрим.

Когда рассказчик не говорит правду, то он, по крайней мере, предлагает как бы версию правды, пусть, возможно, и совсем отличную от имевших место событий. Читатель вынужден довериться ему в этом, так как его (то есть читателя) не было, когда все это происходило. Теперь (так как мы уже украли терминологию у Битова-автора) припомним взгляды, изложенные в "Пушкинском доме". Действительность не содержала в себе места для романа", — пишет автор намного дальше того места, где роман уже закончен (ибо роман окончен на странице 372 словами: "Роман окончен, жизнь продолжается" — а затем автор продолжает оправдываться до страницы 412 и даже там чувствуется, что он готов был бы и еще поразглагольствовать). Другими словами, нужно было либо оставить желание написать роман, либо дать

ему создаться по собственному закону, то есть — вне законов действительности. Так как авторы всегда все равно пишут, даже когда это совсем не нужно, то роман все-таки образовался по своим собственным противоречивым законам. Если роман Битова-автора присвоил себе такое право, то мы не можем отказать в этом праве и повествованию Рассказчика “Школы для дураков”. Мы должны принять это повествование как возможный вариант правды. А если нам предложен возможный вариант правды, то, должно быть, в нем где-то скрывается и истина. Ведь истина и правда — неразлучны! Следовательно, реальная правда нам совсем не обязательна. Вернемся теперь к “Школе”.

Повествователь в “Школе для дураков” почти всесилен. Кроме самого автора все в книге ему подчинено. Почтальон Михеев становится Медведевым, становится Насылающим ветер и даже перестает существовать. (“Никто даже не видел этого человека, его, возможно, и не существовало вовсе”.) Павел становится Савлом, умирает и возрождается, забыв, что он уже умер. Рассказчик сам часто ускользает от самого себя, гуляет, ухаживает за девушками, катается на любимом велосипеде, оставляя другого себя дома работать. Другой “я” об этом узнает только потом, когда первый все расскажет в порыве гнева. Или весь рассказчик целиком растворяется в окружающей красоте:

“И тут я почувствовал, что исчез, но сначала решил не верить, не хотелось... Это было хуже, чем если бы я стал призраком, потому что призрак, по крайней мере, может пройти сквозь стену, а я не прошел бы, мне было бы нечем пройти, от меня ведь ничего не осталось. И опять не верно: что-то осталось. Осталось желание прежнего себя...”

Так что не только облик каждого действующего лица в книге зависит от прихоти рассказчика, но и само его существование. Мы, как читатели, не можем точно определить, кто есть кто. Битов-автор в “Пушкинском доме” жалуется на смешение своих действующих лиц: “Они и сами перестают знать, кто они на самом деле, да и автор не различает их”. В “Школе” реальность — как глина в руках гончара. Он придает ей форму, пока ему не захочется уничтожить все созданное и переделать все заново. Он даже порой теряется в ходе своего творческого процесса и переходит от одной темы к другой, оставив главную тему совершенно незаконченной. В одном месте он начинает рассказывать какую-то историю девушке, которая работает на почте. Когда он заканчивает рассказ, он уже сидит перед учителем Павлом. Рассказчик воспринимает мир в отрывках, наугад. Реальность моментально

пронизывает его сознание и дает ему идею. Он берет идею и развивает ее совершенно без связи с чем либо реальным. Все создается соответственно его собственному желанию. Очень хорошим примером этого процесса является разговор между автором и рассказчиком в конце книги. Автор хочет, чтобы рассказчик рассказал еще что-нибудь "школьное". Рассказчик с удовольствием соглашается, но не знает, с чего начать. "Я не понимаю, с чего начать, какими словами, подскажите. Ученик такой-то, мне кажется, лучше всего начать словами: и вот..." С этого скромного начала рассказчик погружается в повествование, которое прерывается только, когда автор его потом перебивает.

Читатель узнает, что чуть ли не все рассказанное в книге на самом деле не происходило. "Нормальный" читатель охотно признает реальность и истину эмоций и наблюдений рассказчика, хотя способ повествования останется для него чужим. Дело, видимо, в том, что читатель осознает красоту и ужас воображаемого мира более четко, чем в каком-либо ином случае, потому что он их воспринимает по-новому, опосредованно, через чужое восприятие.

Битов-автор выступает в своем романе в сходном плане. Он тоже обладает огромной властью над своими действующими лицами. Ему даже стыдно за это перед ними. Он признается, что Лева столько страдал в своей жизни, потому что автору-Битову это было нужно, чтобы выразить то, что ему хотелось. Автор пишет о своих героях: "Их муки лишь отчасти их собственные муки, а в значительно большей степени это муки другого человека, жестокого и несправедливого". Но нужно отметить, что он не просит прощения, когда разговаривает слевой, и даже обижается на то, что Лева не принимает его более вежливо. Все равно автор сохраняет право на свою творческую власть.

В своих версиях и вариантах он предлагает разные возможности данного события. Он, как и рассказчик в "Школе для дураков", придает форму глине реальности, а когда ему нужна другая реальность, он все переделывает заново. После долгого описания детства и воспитания Левы (более ста страниц) он решает, что нужно изложить еще и другую возможность, чтобы добраться до сути Левиной жизни, то есть чтобы добиться истины: "Чтобы снова получился Лева Одоевцев, мы могли обрисовать здесь и совсем иную семью..." Он затем описывает совсем иные внешние обстоятельства, чем те, которые предложил раньше.

Но когда он заканчивает новый вариант, он осознает: "...И вот мы снова в той же точке романа". То есть каковы бы ни были отдельные детали, результат всегда будет один и тот же, потому что основные обстоятельства всегда приводят события к соответственно сходным концам. Суть характера человека не меняется никогда. Поэтому чтобы понять чью-либо сущность, достаточно наблюдать его в любых обстоятельствах, и со временем его истинная природа все равно проявится.

Единственная неопределяемая величина тут — время. Битов-автор пишет: "Карты бывают на редкость правдивы, потому что обо всем расскажут, лишь одного не обозначив с достаточной точностью — времени. Да, дорога, да, казенный дом и, конечно, дама. Но — когда?" То есть карты, выбранные наугад, так же, как и версии и варианты человеческой жизни, все расскажут. В человеческой жизни, как и в колоде карт, есть ограниченное количество этих возможностей. Человек не может переступить свои природные границы и не может изменить свою натуру. То, что остается совершенно неизвестным в жизни человека, — это как он справится со временем или, наоборот, как время справится с ним. Поэтому, чтобы развести в короткое время как можно больше возможных ситуаций, Битов-автор порой берет в свои руки власть над временем и делает с ним, что считает необходимым. Он дает дяде Мите умереть и возрождает его, когда он опять становится нужным; после драки междулевой и Мишатьевым, в которой Мишатьев убивает Леву, время будто совсем останавливается, что дает Леве возможность "прийти в себя", убрать и починить все, что было перед тем уничтожено, прежде чем его сотрудники вернутся на работу.

В "Школе для дураков" автор тоже дает своему рассказчику силу подчинить себе течение времени. Он свободно странствует из будущего в прошлое и обратно. Он обсуждает привычное понятие времени:

"У нас с ним, со временем, какая-то неразбериха, путаница, все не столь хорошо, как могло бы быть. Наши календари слишком условны, и цифры, которые там написаны, ничего не означают и ничем не обеспечены, подобно фальшивым деньгам".

Поэтому он довольно легко решает вопрос: он уничтожает время начисто тем, что начинает в этот момент повествовать следующим образом: "...Недавно (сию минуту, в скором времени) я плыл (плыву, буду плыть) на весельной лодке по большой

реке". Таким образом он лишает время его силы и добивается абсолютной свободы, добирается до сути того, что есть и может быть, выявляет некую истину бытия.

Но авторы обеих книг не только повелевают временем, но и переосмысляют свое отношение к нему. Мы, читатели, привыкли думать, что у времени всего одно качество: необратимость. Оказывается, это не так. Время может течь в любую сторону с любой скоростью. Оно может и совсем остановиться. Прошлое может существовать одновременно с настоящим и будущим. И, как ни покажется странным, оно может течь, как и положено, из прошлого в будущее.

"Проходит время и в прошлом — все становится как бы более простым и понятным, чем было в настоящем", — пишет Битов-автор. И он уже объяснил нам раньше, почему это возможно, когда описывал школьные годы Левы:

"Не знает он, что это в нем — хохот самой Истории, если она все-таки есть. Не знает он, что о ненавистном во все школьные годы физике станет когда-нибудь вспоминать с теплотою, а о кумире и властителе дум — завуче с содроганием... Не знает Лева, что за дверью проходит Фаина... Никто ничего не знает из того, что все мы знаем теперь".

Так что время течет не только пока события еще совершаются, но и тогда, когда все уже свершилось. Прошлое постоянно продолжается и продолжает *п р о и с х о д и т ь* после того, как уже произошло. Новое сведение о том, что было, дает ему возможность совершаться снова. Мы не только помним, что было, но и пересоздаем то, что было, когда мы вспоминаем о нем. Привычное понятие времени, как некоей линейной данности, недостаточно. Мы живем и движемся во всех измерениях. Линейное время — это только одно измерение. Если всегда смотреть на мир с точки зрения привычного линейного времени, то многое остается невидимым и нераскрытым. Битов-автор пишет: "Грустно обнаруживать, что идя последовательно, мы настолько забежали вперед, что отстали от собственного повествования". Вот мы опять вернулись к нашей главной идее: чтобы добиться сути, истины в любой данной ситуации, нужно к ней подходить последовательно, с разных сторон, презрев привычную нам ориентацию в пространстве и времени, то есть — кое-как: сверху, сзади, спереди и при этом одновременно. Чтобы открыть истину, нужно к ней пробиваться хитро, настойчиво и необычно.

Рассказчик в "Школе для дураков" пишет:

“Философ писал там, что по его мнению время имеет обратный счет, то есть движется не в ту сторону, а в обратную, назад, поэтому все, что было — это все еще только будет, мол, истинное будущее — это прошлое, а то, что мы называем будущим, — то уже прошло и никогда не повторится...”

Истинное будущее — это прошлое*. То есть события только тогда становятся реальными, когда они уже прошли. То, что вот сию минуту происходит, — уходя в прошлое, — только еще займет подходящее место в будущем, когда оно уже произойдет. И то, что нас ждет в будущем, оказывается представлением неповторимого прошлого, потому что все, что ждет впереди, — это образ нашего воображения. Никакая ситуация никогда не окажется такой, как мы ожидаем. Когда она наконец-то происходит в момент настоящего, это уже нечто абсолютно новое и отличное от воображавшегося нами ранее ее образа. Свершившись в настоящем, событие уходит не в прошлое, а в будущее, потому что оно может еще повториться. Наш бывший образ, теперь хоть и теряет силу, но остается частью реальности, но уже не имеет возможности измениться. Любой образ будущего подчинен этому правилу, и так вот все, что нас ждет в будущем, уже прошло через наше воображение и является рабом прошлого.

Реальность и время подобны богу Протею в классической мифологии: если его хватали, он изменял форму, и казалось, что его нет. Или, как пишет Битов-автор, “и оглянуться не успеешь, как снова барахтаешься в этой паутине”. Но победить Протея можно — нужно лишь держать его до тех пор, пока он не перестанет менять формы. Тогда он обязан спокойно сесть и рассказать все как есть.

Реальность и существует, и не существует одновременно. Она зависит от нашей точки зрения. Мы сейчас введем две длинные, важных для нас цитаты. Обсуждая реальность и последовательность, Битов-автор пишет:

“АБ, АБ, АБ, — думал как-то Лева и, опустив лишь первое А, получал, — БА, БА, БА...”

Б, Б, Б, Б! — вот ряд. Это все равно как сказать: Лев Одоевцев. Как же, знаем-с, читали... Или Одоевцев Лев! — “Здесь!” — и руки по швам. Разница все-таки есть.

Ведь есть же действительность. Есть, можем или не можем мы ее постичь, описать, истолковать или изменить, — она есть. И ее тут же нет, как только мы попытаемся взглянуть на нее чужими глазами...”

* Ср. со статьей Бен-Баруха “Вав, обращающий время” в “22”, № 47. (Примечание редакции.)

В "Школе" наставник Павел цитирует Леонардо да Винчи:

"Я докажу всем на свете, что во времени ничто находится в прошлом и будущем и ничего не имеет от настоящего, и в природе сближает с невозможным, отчего, поскольку там, где было бы ничто, должна была бы быть налицо пустота, но тем не менее, — продолжает художник, — при помощи мельниц произведу я ветер в любое время".

Чтобы вполне охватить реальность, мы должны признаться в ее отсутствии. Как любое земное явление, она противоречива. Если все на свете субъективно, зачем делать исключением время и реальность? Какие у них абсолютные качества в иных мирах, нам пока неизвестно. Но мы можем сказать, не ошибаясь, что пока они присутствуют на нашей планете, они могут и отсутствовать на ней. То есть здесь они подчинены законам нашей планеты точно так же, как они подчинены прихоти рассказчика в "Школе для дураков" и желаниям Битова-автора в "Пушкинском доме". Дело в том, что реальность нашей человеческой жизни включает в себя все свои возможные версии и варианты, в том числе и возможность не существовать.

Когда Битов-автор пишет: "Все ложь — и все правда", — он подразумевает, что правда есть и во лжи. Мы можем это пересказать таким образом: "Все выдуманно — и все истинно". В выдуманном есть и истина. Благодаря искривленному, преобразованному представлению реальности и времени в романах "Пушкинский дом" и "Школа для дураков" мы постигаем истинную реальность в ее цельности. Мы видим себя и наш мир не такими, какими мы представляем себя и его, но какими мы — и он — есть на самом деле.

Предложено журналу автором.

Переведено с английского Владимиром Феркельманом.

ОТ РЕДАКЦИИ

Объективность, принятая в нашем журнале, обязывала нас после публикации интервью В.Богуславского ("22", №47), частично посвященного Г.Бутману, предоставить последнему возможность ответа. Поэтому мы немедленно согласились на публикацию приводимого ниже письма Г.Бутмана, как только он о том попросил. Мы полагали, что этим письмом предмет спора будет исчерпан. Нужно заметить, что сам спор представлялся нам весьма надуманным. Ни В.Богуславский, как это следует из его интервью, ни редколлегия в целом не занимались "проблемой Бутмана". Не ему была посвящена серия интервью, опубликованная в "22", №47. Она была посвящена намного более важному вопросу: анализу уроков еврейского движения в СССР с середины 50-х до середины 80-х годов. "Проблема Бутмана" всплыла в одном из материалов этой серии лишь как частный вопрос при обсуждении общей темы, в виде иллюстрации к определенным ее аспектам. У нас нет оснований "ненавидеть" или "любить" Г.Бутмана, равно как и стремления во что бы то ни стало его "разоблачить" или "опорочить". Наш журнал последовательно избегает нападков на отдельных людей или группы, стремясь обсуждать поднимаемые вопросы на принципиальном, а не на личном уровне.

К сожалению, как нам кажется, письмо Г.Бутмана не устраняет, а лишь запутывает многие вопросы, поднятые в интервью В.Богуславского. В этом письме Г.Бутман — возможно, не всегда сознательно — искажает основные положения интервью и тем самым может создать у некоторых читателей превратное впечатление о его содержании. В связи с этим письмо Г.Бутмана, как нам представляется, не может быть оставлено без хотя бы минимальных разъяснений, и мы с тяжелым сердцем вынуждены были заняться этим несвойственным журналу делом.

Поскольку читатель вряд ли станет слышать текст письма с текстом интервью, мы позволили себе дать эти редакционные разъяснения в виде примечаний к основным положениям письма Г.Бутмана, ограничившись лишь принципиальными вопросами и не входя в обсуждение толкования и аргументации автора.

В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА "22"

Мне хотелось бы надеяться, что выход в вашем журнале в разное время двух статей, направленных против меня и написанных разными членами одной и той же редколлегии, — случайное совпадение.

Я отправляю свой ответ на статью В. Богуславского "Иерусалимские размышления" именно в ваш журнал, чтобы его смогли прочесть те же самые читатели и сопоставить.

Прошу опубликовать его безотлагательно.

Гилель Бутман 12.6.86

Людам, которые волею судеб стали известны многим, всегда надо быть готовыми к тому, что кто-нибудь веселый и находчивый найдет темное пятно в их прошлом, настоящем или будущем. Обычный среднестатистиче-

ский грешный читатель обычно с чувством удовлетворения наблюдает за тем как считающихся праведниками подвешивают на журналистскую дыбу.

Этим читателям мне нечего сказать.

Этот мой ответ для тех читателей, кто способен выдержать мысль, что кто-то другой, ставший известнее его, не обязательно подлец.

В качестве поля боя с членом редколлегии журнала "22" Виктором Богуславским я выбираю тот угол, в который он меня загнал, а именно, я буду касаться только тех тем, которые он сам поднял, хотя я мог бы залезть в иные области и больно пощекотать тов. Богуславского подмышками.

В порядке заботы о читателях я хотел бы по возможности сократить мой пространный ответ. Потому в тех случаях, когда подробные ответы на утверждения Богуславского уже содержатся в одной из моих двух книг, я буду просто отсылать читателей к соответствующей странице, причем мою первую книгу "Ленинград—Иерусалим с долгой пересадкой" я для краткости буду называть ч. 1, а свою вторую книгу: "Время молчать и время говорить" я буду называть ч. 2.

Надюсь, что это не будет принято за нескромную рекламу, да и навряд ли широкая читательская масса займется такой кропотливой исследовательской работой.

А теперь ближе к телу.

Рассуждения В. Б. состоят из 2 частей. Большую часть рассуждений я назвал бы неправдой, а меньшую часть — ложью (умышленная неправда). То, что написано непредвзято и объективно честно, я бы приравнивал к нулю.

Для того, чтобы читателю, не знающему подробности операции "Свадьба" (план захвата советского пассажирского самолета под Ленинградом в 1970 г.), легче было сориентироваться в размышлениях В. Б. и моих, напомним, что в процессе подготовки операции "Свадьба" и в зависимости от отношения к ней выявилось 3 группы сопричастных:

1) тех, которые были против "Свадьбы" (все члены Комитета ленинградской сионистской организации, кроме меня, и большинство рядовых членов орг-ции, знающих о плане)

2) тех, кто были за проведение "Свадьбы" при любых условиях (группа ребят из Риги и ленинградец Марк Дымищц)

3) тех, кто был за проведение "Свадьбы", но будучи связаны дисциплиной и внутренним соглашением в организации, отказались от участия в операции после получения отрицательного ответа из Израиля (эта группа была в организации меньшинством и в комитете ее представлял я).

Между первыми двумя группами, которые заочно знали о существовании друг друга, существовали до прибытия в лагеря откровенно враждебные отношения. Наша третья группа была для первой — авантюристами, а для второй — отщепенцами. Поэтому я, принадлежа к этой третьей группе, в принципе могу быть атакован из обеих первых групп. В общем, это по-человечески понятно, ибо не было, по-моему, еще ни одного судебного процесса, связанного с подпольной борьбой, который не оставил бы после себя трещины и щели. И в эти трещины и щели умело вставляются клинья, причем органами отнюдь не половыми.

Все, что написано выше, читателю важно, по-моему, знать, чтобы понять то, что написано ниже.

Я начну свои комментарии к "Размышлениям" В. Богуславского с той их части, которую я называю неправдой.

Утверждение №1:

Накануне событий 1970 г. организованное сионистское движение в России не существовало, оно (?) еще только "придумывало" свои цели и задачи. Координации между сионист. группами не было, а были полуслучайные встречи.

По-моему, это неправда №1.

В августе 1969 г. в Москве представители сионистских групп Москвы,

Ленинграда, Риги, Киева и Тбилиси договорились о периодических встречах в целях тактической координации для осуществления единых для всех стратегических целей. Перед самым разгромом в июне 1970 г. к этой пятерке прикнули сионист. группы Минска, Вильнюса и Кишинева.

Встречи между представителями городов были абсолютно умышленными и, разрезаясь после очередной встречи, они договаривались о следующей. После первой встречи в Москве (август 1969 г.), следующую встречу провела в ноябре 1969 г. Рига (Рома), затем в феврале 1970 г. Киев (Костя) и, наконец, в июне 1970 г. Ленинград (Леня). [Подробности: ч. 1 стр. 106—115].

Сионистское движение не "придумывало" ни себя, ни свои цели. Именно цель оградить евреев от ассимиляции и вывести их из империи северного фараона и породила движение, которому не надо было себя "придумывать". Вера немногих, что эта цель осуществима, поставила их в первые шеренги. Честь им и хвала. Я не очень люблю Иосифа Виссарионовича Джугашвили, но его крылатое выражение "великая цель порождает великую энергию" было абсолютно правильным по отношению к нац.-освободительному движению еврейского народа — сионизму*.

Утверждение № 2

Сионистские функционеры своей деятельностью только мешали тем многочисленным мальчикам и девочкам, которые крутились вокруг них, не зная, что они (функционеры) представляют нелегальную организацию. Эти мальчики и девочки "вдруг" осознали, что готовы ехать в Израиль, несмотря на деятельность этих самых функционеров.

Мне даже как-то неудобно называть это утверждение неправдой, оно выглядит гораздо смешнее первого и я, читавший когда-то в сионистском самиздате чудесный ответ Виктора Богуславского на поэму казенного еврея Исаия Тобольского, с трудом представляю, что то и другое написал один и тот же человек.

Откуда же взялась у человека, который сам около 3 лет был членом организации, такая святая ненависть к злосчастным функционерам, по существу, к своим бывшим товарищам?

Прежде всего о самом слове "функционер", которое мне самому очень неприятно. Оно взято, повидимому, из моей статьи "О шапировщине", опубликованной в журнале "Круг" № 458. В оригинале моей статьи, посланной в "Круг", было написано "еврейские активисты", но редакция заменила их "функционерами". (Кстати, чуть дальше в той же статье редакция "Круга" заменила мое выражение; "мы, которые вошли, прошли и вышли" на более ясное и менее скромное: "мы, которые прошли ад".)

Так что я так же не люблю слово "функционеры" как и В. Богуславский. Разница между нами в том, что мне нравятся сами "функционеры", мои единомышленники, часть которых еще сегодня продолжают толкать тачку в Мордовии и на Урале. [Подробнее о деятельности "функционеров" ч. 1 стр. 115—125]. А Богуславский их плохо переносит и в них он видит весь корень зла. Даже их собрания он называет тем же словом "сборище", что и следователи КГБ**.

*В интервью в действительности сказано, что движение в то время не видело возможности алии (что является главным в сионизме), было занято поиском ("придумыванием") форм и методов возрождения еврейского самосознания и не имело постоянно действующего центра ("полуслучайные встречи").

** В интервью в действительности сказано, что массовое движение ("мальчики и девочки", по названию рассказа Л. Гиршовича) возникло благодаря деятельности "функционеров" (общепринятый термин), а не "вопреки" ему. Утверждений о том, будто "функционеры" "мешали" массовому движению, равно как и выражений ненависти к ним текст интервью не содержит.

Утверждение № 3

Последние 200 лет в России всякое движение мысли начинается с подпольной организации по причинам, которые сложно объяснить. Конспирация — порождение "бесовщины" (читайте Достоевского), а участники нелегальных организаций — дьяволы и отношения между ними сатанинские и иными быть не могут (ликуй пропаганда КэГЭБэ-бова!). Никто из бывших подпольщиков не может стать лидером в свободном обществе.

Я знаю, что Достоевский очень "моден на Западе". В результатах Вел. Окт. Соц. Рев-ции многие видят подтверждение тезиса Достоевского, что подпольщики, став победителями, станут первыми душителями свободы и убийцами своих товарищей по подполью.

Я понимаю эту точку зрения, но не думаю, что ее можно механически транспортировать на все случаи жизни. Если нелегальная деятельность ведется против либерально-гуманного режима, она преступна. Это можно отнести к тем, кто сверг Временное правительство, давшее все возможные и невозможные свободы народам России, включая евреев. (Кстати о птичках: я долго был достаточно наивен в отношении этой революции, а также в отношении положительной роли Владимира Ильича по сравнению с отрицательной ролью Иосифа Виссарионовича). С другой стороны, нелегальная деятельность против режима, подавляющего элементарные свободы, оправдана и моральна. В Израиле живут сегодня тысячи людей, принимавших в прошлом участие в нелегальной борьбе и против Сталина и против Гитлера в разных видах нелегальных организаций, как диссидентских (Мая Ульяновская, Лев Консон), так и сионистских (их сотни, всех не перечислить). Нет, не дьяволы они и о светлом чувстве товарищества и взаимной поддержки в те нелегальные времена они вспоминают тепло и с некоторой грустью, что эти времена прошли как Азорские острова.

Что касается неспособности бывших подпольщиков стать лидерами в свободных странах, то пример лидеров израильского свободного общества — наглядное опровержение этого тезиса. Почти все выдающиеся деятели Израиля участвовали в нелегальной "бесовской" деятельности против английских мандатных властей, а один из них (не просто конспиратор, но еще и террорист в прошлом) в ближайшие месяцы должен стать новым премьером Израиля и я надеюсь, что нашим гражданским правам ничего не грозит.*

Утверждение № 4

После стадии нелегальной деятельности наступает период полураспада, равный 15 годам, когда все убеждаются, что нелегалщина ни к чему хорошему не ведет, что гораздо лучше делать то же самое открыто и по-хорошему, а некоторые из бывших подпольщиков даже начинают люто ненавидеть свое нелегальное прошлое (как например Федор Михайлович Достоевский и Виктор Ноевич Богуславский).

Как вам нравится эта частушка?

Мне она напоминает анекдот про то лицо, которое съело курицу, дожину яиц и буханку хлеба и все не могло наестся. А потом съело маленький бублик и сразу же насытилось.

— Дурак я, — сказал себе лицо, — надо было сразу начинать с бублика.

Я не помню, кто начал первым переносить законы развития природы на законы развития общества, но перенесение закона полураспада радиоактив-

*В интервью в действительности утверждается, что "бесовщина" (выражение Достоевского) — порождение конспирации, а не наоборот. Вопрос обоснованности или необоснованности того или иного конспиративного движения и оценка его участников в интервью вообще не затрагивается.

ных веществ на полураспад нелегальных организаций – последний вопль науки. Правда одно маленькое противоречие в этом мудром постулате я все же вижу. Отправной точкой периода полураспада по Богуславскому обязательно должно быть создание нелегальной организации. Следовательно, если бы не нашлось необходимого кол-ва дурачков для создания этих гнилых дрожжей последующей открытой образцово-показательной эволюции, их надо было бы выдумать.

В. Богуславский приводит пример на теорию полураспада по просьбе интервьюера Р.Нудельмана:

Интервьюер: – Например?

Богуславский: – Пожалуйста, декабристы – подпольное общество, заговор, восстание – 1825 год. А люди 40-х годов уже преспокойно обсуждают все эти проблемы на всех уровнях, от студенческих кружков до светских салонов, без всякой конспирации, заговоров и тайных обществ (конец цитаты).

Я не историк, но мне тоже смешно. И грустно, потому что когда-то мы были вместе с Виктором в одной организации и, если унтер-офицер Богуславский сечет себя самого, то заодно он сечет и меня.

Историк, прочтя утверждение В.Б. о "полураспаде", о декабристах и о Достоевском, сказал бы, наверное:

– Бог с тобой, милый, ведь нельзя же противоречить себе в соседних абзацах, разнеси их, чтобы читатель успел забыть первое, читая второе. Ты ж посмотри, желая похерить декабристов и свой закон соблности, ты утверждаешь, что люди 40-х годов "уже преспокойно обсуждают..." (смотри цитату). Но ведь я же историк и знаю, что твоего Достоевского из соседнего абзаца в 1849г. приговорили к смерти вместе с другими членами кружка Петрашевского. А виновен он был лишь в том, что вслух прочел нисьмо Белинского к Гоголю. Может быть, закон полураспада действует ровно через 15 лет в течение одной недели, скажем с 14-го декабря по 21-е декабрь 1840 г. (включая воскресенье)? В этом случае ты, может быть, и прав. Но тогда я, историк, не понимаю другой вещи. В июне 1970г. была дурацкая нелегальная акция по захвату самолета (операция "Свадьба"). Прибавляем 15 лет полураспада. (Дураки те, кто боролись за свободный выезд все эти годы, закон-то сечь действует математически неотвратимо, могли бы и подождать). Посмотрим же, что происходит через 15 лет полураспада. На Руси проеврейская благодать. Сионисты на Красной Площади обсуждают проблему: брать зонтик – не брать зонтик. Коленопреклонные милиционеры рукоплещут и подбрасывают сионистов в воздух. А в воздухе ревут мощные ИЛ-98б. Разговорный язык на борту (включая экипаж) – иврит. Полный сервис. А ведь и подождать надо было всего 15 лет -- до 1985г. И вспомнить только, что были глупцы, которые решили, что период полураспада – 2 месяца и как только прошло 2 месяца после окончания процесса самолетчиков и начали выдавать массовые разрешения на выезд в Израиль, они бросились в ОВИРы и уехали. Без всяких удобств. Четверть миллиона безграмотных идиотов.

А еще евреи!*

Утверждение №5

Операция "Свадьба" подброшена в сионистскую организацию Ленинграда органами КГБ через не-

*В интервью в действительности сказано, что конспирация – неизбежный этап любого общественного движения в России, что доказывается историей декабристов, из которых выросло открытое массовое движение 40-х годов прошлого века, и группы петрашевцев (включавшей Достоевского), из которой выросло открытое массовое движение 60-х годов; этот ряд прослеживается в интервью до народничества 80-х годов и его открытого продолжения конца века. В истории еврейского движения в России 1970 год, как утверждается в интервью, обозначает не начало, а конец конспиративной фазы, зарождение которой автор относит к годам "оттепели" (на 15 лет раньше), когда из сталинских лагерей вышли старые сионисты.

коего Веню, сразу исчезнувшего. Бутман по вопросу "Свадьбы" шел против всего комитета и не давал с ней покончить из амбициозно-честолюбивых соображений.

Начнем с эпитетов, которые даются плану операции "Свадьба" В. Богуславским: "маразм", "план идиотский", "идея дебилна". И это не в 1970г., когда кипели страсти вокруг плана, а сегодня, в 1986г., когда один из вариантов операции "Свадьба" осуществлен и добился именно той цели, которая изначально была поставлена перед операцией "Свадьба": привлечь внимание к еврейской проблеме в СССР, вызвать широкий международный резонанс и давление на правительство СССР, пробить стену и вывести евреев домой. Через 15 лет после событий (вспомните период полураспада) В. Богуславский пытается еще найти руку КГБ у истоков операции, все еще считая, что операция "Свадьба" — исчадие ада, помешавшая развитию массового открытого сионистского движения в СССР.

Напомню, что осенью 1969г. Марк Дымшиц, который был в то время одиночкой, не связанным с сионистским движением, (это положение сохранилось и потом, хотя Марк стал главным двигателем, который довел план захвата самолета до попытки его осуществления) предложил мне план. Суть этого плана сводилась к тому, чтобы он и я захватили на Кавказе маленький самолет и бежали на нем с нашими семьями в Израиль, в качестве решения нашей личной проблемы переезда в Израиль нелегальным путем.

В предложении Марка я видел возможность для сионистского подполья (извиняюсь за выражение перед Богуславским) провести пропагандистскую акцию коллективного еврейского побега на захваченном лайнере с последующей пресс-конференцией по еврейскому вопросу в Стокгольме. Операция "Свадьба" должна была решить вопрос не нелегального бегства двух семей, а вопрос открытия границ для свободной легальной алии, причем не имело значения, удастся ли сам побег или нет, важна была международная реакция на него.

После обсуждения на комитете организации я предложил Марку именно этот план и он принял его, не колеблясь. Мы распределили роли: он ответственный за техническую часть операции, я за организационную. [Подробности ч.1 стр. 125—134].

Я действительно прошел вместе с операцией "Свадьба", вместе с Марком Дымшицем и Мишей Коренблатом, который подпер нас своим плечом еще у колыбели "Свадьбы", большой и сложный путь, включая все ее зигзаги на последнем этапе. Включая борьбу между верой в идею "Свадьбы" и верой в грезвый ум своих товарищей по комитету, борьбой между желанием видеть идею "Свадьбы" осуществленной и словом, которое я дал товарищам по комитету. Включая сомнения и колебания, которые растли во мне на последнем этапе и которые повлекли за собой компромисс в организации и запрос в Израиль. [Подробности ч.1 стр. 175—194]

Из утверждения Богуславского видно, что, несмотря на сильное давление, я не давал снять операцию "Свадьба" с повестки дня, требовал секретности вокруг нее, чтобы не провалить возможности ее осуществления. Добавлю, что я сделал все возможное, чтобы предотвратить выход членов комитета — противников операции "Свадьба" — на след Марка Дымшица и других потенциальных участников "Свадьбы" до получения ответа из Израиля.

Богуславского это бесит. Меня — радует.*

Теперь о подброске идеи "Свадьбы" органами КГБ. (Хотя можно предположить, что на более позднем этапе руководству КГБ стало известно о

*В интервью подробно объясняется, почему в действительности был осуществлен именно первоначальный план похищения самолета, предложенный не Г. Бутманом, а М. Дымшицем, а не грандиозный план "Свадьба", предложенный и вопреки мнению всех членов организации отстаивавшийся Г. Бутманом; план "Свадьба" в интервью трактуется как практически неосуществимый и опасный, возможно — связанный с провокацией КГБ; настояния Г. Бутмана на нем — вплоть до запроса в Израиль — толкуются в интервью

плане и оно приняло решение не срывать дальнейшую подготовку, а дать ее участникам дойти до конца, чтобы использовать разгром "Свадьбы" для разгрома всего сионистского движения в СССР. Две противоположные силы ехали на "Свадьбу" в противоположных направлениях. Будущее показало, кто из них просчитался.)

Что касается Вени, познакомившего меня с Марком, то он не был таинственным инкогнито, исчезнувшим сразу после знакомства. И после знакомства он оставался моим соседом, жившим в доме рядом на Бассейной улице. Я иногда встречался с ним и знаю, как разрывался этот парень между желанием уехать в Израиль и нежеланием разрушать семью (его жена, насколько я помню, была русской, и не хотела ехать). Добавлю, что в ходе нашего следствия Веню исключили из аспирантуры ЛЭТИ (Лен. Электро-Техн. Ин-та им. Ленина-Ульянова), о чем была справка в деле.

Все сказанное выше, конечно, не доказывает, что Веня не мог быть агентом КГБ. Допустим, что он им был. Если вездесущий майор Пронин смог незаметно просветить череп Марка Дымшица, разглядеть в нем план захвата самолета, познакомить Марка через Веню со мной, чтобы после этого родилась операция "Свадьба" со всеми ее последствиями, то я мог бы крикнуть во все легкие:

Да здравствует агент Веня!

Да здравствует КГБ!

Утверждение №6

Это утверждение даже трудно сформулировать, ибо приводятся какие-то якобы цитаты, все время прерывающиеся многоточиями и непонятно, откуда они взялись и к чему они относятся (трудолюбивым я предлагаю сдельную работенку - найти, в каком месте моей статьи "О шапировщине" я заявил, что "вместе с Щаранским" показал "пример", как следует "держаться" против КГБ").

Можно только понять, что кладется тень на поведение Бутмана на следствии и суде.

С такими многоточиями меня уже цитировала несколько месяцев тому назад "Ленинградская Правда", приводя пример из моей первой книги. Цитата такова: "Мы боролись против существующего в СССР режима..." Я проверил конец цитаты по книге. Вот он: "...на узком фронте: Отпусти народ мой!"

В. Богуславский, определивший операцию "Свадьба" как террористический акт и назвавший отношения в нашей организации "бесовщиной" должен был сделать и этот шаг и начать цитировать как "Ленинградская Правда". Между прочим правила научного цитирования известны. Цитировать надо так:

"Признаю вину. Долго не понимал, даже во время следствия, в чем преступление, но после бесед со следователями, в суде понял и считаю, что в своем письме в защиту товарищей был не прав. Здесь не место искать виноватых в нашей судьбе, а можно говорить о своей вине, которую признаю. Раскаяние мое и моих товарищей искреннее, хотя зал на это реагирует усмешками. Положение рядового члена организации не давало мне полной информации, чтобы оценить деятельность. Сейчас вижу, что виноват, ошибку не повторю и в будущем воспрепятствую совершению подобных ошибок другими". (Изложение заключительного слова В. Богуславского "Антиеврейские процессы в Советском Союзе (1969-1971) том 1. стр. 453)

Вот так надо цитировать. Без пропусков и многоточий и от начала до конца. В этой цитате все ясно:

как проявление его честолюбия. Как видно из текста письма Г. Бутмана, он не опровергает возможности провокации и не дает объяснений причин своей настойчивости.

Не видел в нашей деятельности ничего преступного, но дяденьки следователи растолковали мне, что мы преступники и я согласен. И за арестованных товарищей зря заступился. Виноват, исправлюсь, простите, больше не буду и другим не дам. А, в общем, я рядовой, а рядом, посмотрите на скамейке — члены комитета, генералы, им и давайте сроки, а с меня чего возьмешь. А вы, товарищи в зале, напрасно смеетесь. Не доверяете? А я ведь искренне рассказываюсь-то. И другие тоже искренне. Поверьте. Не смейтесь.

Здесь я не согласен с гражданином Богуславским. Не все раскаялись (и даже те, что раскаялись, сомнительно, чтобы искренне). И тот, кто хотел раскаяться, сделал это за себя лично, как и сам В. Богуславский. Остальным были противны все раскаявшиеся и они перестали бы себя уважать, если бы пошли этим же путем.

Что касается меня, то мое последнее слово как раз на предыдущей странице и причем не подглаженное и процезненное, а полностью, с каждой запятой, ибо оно е д и н с т в е н н о е было вынесено из зала суда на магнитной пленке (и эта пленка, кстати, хранится в моем доме по сей день. А пленка — не бумага, из нее хорошо видно, говорит ли человек искренне или фальшиво, задыхается от волнения или занудно произносит зазубренные признания).*

Я перечитываю сейчас свое последнее слово и многое кажется мне бесконечно наивным, но там нет самоунижения и предательства дела, которому я служил. Это исповедь вчерашнего комсомольца, для которого свет социалистический строй и Октябрьская Революция, который рассказывает о том, как готов был пойти в свое время на преступление (захват самолета), ибо ему не было оставлено других нормальных путей для выезда. Несмотря на страх, который испытывал, и вопреки ему. Для чего? Для того, чтобы сдвинуть дело еврейской алии с мертвой точки, для того, чтобы советское правительство обратило внимание на эту проблему, которая для евреев, желающих уехать, в том числе меня, является ж и з н е н н о важной.

Тут же в моей речи есть и ответ на то шепелявое цитирование, прерываемое многоточиями, которое трудно расшифровать. Цитирую нормально: "Когда я познакомился с программой нашей организации, а программа говорила только о наших целях и задачах, я не увидел в ней ничего антисоветского. Я увидел в ней две цели, которые были записаны: борьба с ассимиляцией и борьба за право свободного выезда всех желающих в Израиль, но всех желающих. Как я к этому относился, к этой программе? Я верил в нее и не видел в ней ничего антисоветского. Я ни разу не слышал от моих товарищей, что они считают это антисоветчиной. Когда я ознакомился с обвинительным заключением и увидел, что мы действовали якобы с целью подрыва советской власти, я страшно удивился. Я дружу с... (фамилию выпускаю) 25 лет, у него не было от меня никаких тайн. Я не мог в это поверить. Я сам никогда не преследовал таких целей, о чем вам уже

*Приводимые В. Богуславским высказывания Г. Бутмана, или "якобы цитаты", по выражению последнего ("являясь членом подпольной антисоветской сионистской организации..." и т.д.), взяты из показаний Г. Бутмана, приведенных в полном тексте обвинительного заключения и других материалах второго ленинградского процесса (опубликованного в сб. "Антиврейские процессы в СССР"/ В интервью утверждается, что показания были одной из причин того, что следствию удалось сломить других участников процесса. Мы хотели бы обратить внимание, что выступления всех других участников процесса, как правильно пишет Г. Бутман, не сохранились в магнитофонной записи и, следовательно, воспроизводятся им по тексту в упомянутом выше сборнике, имеющему приближенный характер записи по памяти. Утверждение Г. Бутмана о **полной** точности приводимого им в книге его последнего слова на процессе не согласуется с тем, что из этого текста исчезла выраженная им на суде "обида" на то, что не учтена помощь, оказанная им следствию.

говорил". Конец цитаты (Заключительное слово Гилеля Бутмана. Там же, стр. 448–449)

И из этой цитаты все ясно: и сам не хотел ничего подрывать и товарищи не хотели ничего подрывать, а если кто-то признал, что хотел, — лжет.

Я не следил за реакцией в зале, когда я говорил, но уверен, что смешочков не было (как в том, предыдущем, случае).

Утверждение № 7

Молодой член группы Бутмана Виктор Штильбанс в шутку составил документ "Наши задачи". Бутман сообщил об этом на следствии и поскольку он был для Штильбанса "богом", то это рехнуло Штильбанса и в своих оценках он покатился по наклонной плоскости.

Документ "Наши задачи" до момента обнаружения Штильбанса в качестве автора рассматривался следствием исключительно серьезно в качестве программного документа нашей организации. В качестве программы, которая предусматривала создание всероссийской подпольной сети нелегальных сионистских боек групп с опорой на заграничные антисоветские центры. Только когда обнаружилось, что документ составлен мальчиком-студентом путем механического копирования работы Ленина "Наши задачи" (1912г.) и никто из членов комитета нашей организации (включая меня) его не читал и не обсуждал, прошла страшная опасность, нависшая над всеми членами комитета, получить на полном серьезе статью об измене Родине в форме подготовки к вооруженному восстанию с опорой на заграничные империалистические державы. Это было бы страшнее самолета и можно представить, что ждало бы нас и всех евреев СССР в этом "смешном" случае. Но все это выше понимания того, кому "положение рядового члена организации не давало полной информации, чтобы оценить деятельность" (смотри последнее слово В.Богуславского).

Я не буду здесь вновь рассказывать о том, как документ "Наши задачи" попал в карман моего пиджака и почему я искренне не знал, что это и кто его составил. Я могу послать любопытных к главе: "Что позволено Ленину — не дозволено Штильбансу" (ч. II стр. 69).

Здесь я скажу только то, что должен знать любой заключенный, прошедший следствие. Уже давно установление авторства рукописных или машинописных документов не является трудностью для криминологов и мы встречались в лагере с людьми, которых арестовывали за надпись на избирательных бюллетенях через год после выборов. Разве могло быть проблемой для следствия установить, кому из членов организации принадлежал этот поистине страшный документ? Для меня это тот самый редкий случай, когда я могу поблагодарить советскую графологическую или машинописную экспертизу от имени всего комитета.*

Теперь несколько слов о самом тезке Богуславского, который понадобился только для того, чтобы найти еще одно черное пятно у ненавистного Бутмана. (А ведь мог бы при такой-то заботе написать письмишко, послать посылочку.)

Виктор Штильбанс остался в моей памяти как вдохновенный и искренний юноша, верный нашему общему делу и своим товарищам. Виктор замеча-

*В интервью утверждается, что об авторстве "статьи Штильбанса", а также о разговоре с ним с глазу на глаз о его участии в захвате самолета показал на следствии Г.Бутман. Ссылка на графологическую экспертизу, которая могла бы установить это авторство, необедительна, так как изъятая у Г.Бутмана "статья Штильбанса" представляла собой третью копию машинописного текста, две первые копии которого автор предусмотрительно уничтожил; машинописная же экспертиза, проводившаяся следствием по другим материалам организации, не смогла установить принадлежность ни одного из них какой-либо определенной пишущей машинке.

тельно держался на первой стадии следствия, но слишком велика была мощь машины, ломающей этого юношу. Будучи романтиком и глубоко веря в своих товарищей, Виктор после ареста не давал показаний, затем отрицал существование организации, но психологический молот, когда между дверей прищемляют не то, о чем говорил Богуславский, а душу, сломал Виктора. Очные ставки, введение показаний товарищей, в которых он так верил, взломали чистую душу Виктора, ибо он был юн и максимален. Он признавал только или поведение героя или пусть все летит ко всем чертям (кстати, введение показаний других является нормальным следственным приемом и я не думаю, что был хоть кто-то начавший говорить, чьи показания не вводили бы другим). На этом темном фоне то, что доломало Виктора, это его собственные родители, написавшие маленькое письмо в "Ленинградскую Правду" и наглый адвокат, ненавидевший всех нас от души, а не по должности (бывший прокурор).

С учетом того, что написано выше, раскаяние Вити Штильбанса простиительно. Общественное мнение наших жен было слишком суровым к нему и перенесло на него вину его родителей.

Сегодня Виктор Штильбанс — многолетний отказник, замкнувшийся в себе и глубоко одинокий (даже семейная его жизнь дала трещину). Я пытался выйти с ним на связь, но он избегает контактов, не хочет встречаться с другими отказниками в Ленинграде. Внутренне глубоко порядочный человек, он, повидимому, до сих пор тяжело переживает то, что произошло.

Тот самый вдумчивый читатель, для которого я пишу этот ответ, может резонно спросить, почему Фрунзе во время царского суда мог призывать к свержению самодержавия, почему Димитров во время прусского суда мог так бескомпромиссно защищать свои коммунистические убеждения? Почему этого нет теперь? Почему сегодня на судебных процессах многие лгут, оплевывая то, что им дорого, признавая то, чего никогда не было, давая подленькие оценки?

В ответе я не буду касаться процессов 1936—1939г.г. По-моему, там был дополнительный сложный психологический феномен.

Фрунзе "жил и творил" в эпоху царской демократии (без кавычек) накануне первой мировой войны. Он мог сказать в суде то, что думал, зная, что царский суд наказывает только за противоправные действия, но не за высказывание своих убеждений. Он мог спокойно сказать на суде то, о чем говорили с трибуны Государ. Думы и о чем писали газеты.

Георгий Димитров выступал в прусском суде, когда еще не была фашизирована юридическая структура Германии и Пруссия считалась с общественным мнением внутри и вне страны. Как известно, Димитров вышел из зала суда оправданным и сразу же отправился в аэропорт, где его поджидал специальный самолет, присланный из Москвы. (Слышал ли кто-либо из читателей хоть один случай оправдания на политическом процессе в СССР, и чтоб не посмертно?)

Теперь поговорим о сегодняшнем политическом заключенном в СССР, которому ничего не заземляют и ничто не вырывают (впрочем, в последнее время и здесь "кое-что" изменилось). Кто же он?

Это человек, получивший обычное советское воспитание, привыкший с детства к двойному стандарту, привыкший постоянно обуздывать свое естественное стремление быть честным, молчаливый, когда хочется кричать, хорошо знающий, что приспособление к существующей в СССР подленькой действительности — единственный способ выжить, а, может быть, и пережить ее.

Кто из нас, сионистов, работавших когда-то на заводах и в НИИ, во время очередного собрания, клеймящего израильских агрессоров, нашел в себе силы рвануться на трибуну и закричать:

— Вы лжете, вы сами агрессоры. Вы растоптали свободу Венгрии и Польши! Вы изнасиловали Чехословакию! Вы гравите газом партизан Афганистана!!!

Честность и порядочность внутри нас кричала "Встань и скажи!" Инстинкт самосохранения внутри нас шептал: Плетью обуха не перешибешь. Вспомни Бориса Кочубеевского. Выгонят с работы и посадят. Посмотри на сотни нормальных людей, сидящих на собрании вокруг тебя, и не будь идиотом. Сиди и не рыпайся. Можешь не хлопать в ладоши. В крайнем случае, уйди, но не больше. Не больше!!!

Каждые новые 24 часа в условиях повального лицемерия и двойного стандарта утоляют еще на микрон нашу кожу, отгрызают еще кусочек от нашей порядочности, превращают порядочность абсолютную в порядочность относительную, внутри которой всегда есть место для компромисса с совестью во имя самосохранения.

Именно такие, а не специально выращенные в оранжерее рыцари без страха и упрека, входят в советские тюрьмы с широким входом и узким выходом. И это далеко не самые худшие из гомо советико. Именно они нашли в себе силы оторваться от конформистского земного притяжения и взлететь чуть-чуть выше, рискуя обжечь себе крылышки.

Входит в тюрьму человек, у которого китайская игла обнаруживает массу уязвимых точек: он хочет меньше сидеть и быстрее выйти, он хочет сохранить здоровье и не стать инвалидом, он хочет, чтобы его жену не выгнали с работы и его семья не осталась бы без куска хлеба, он хочет не быть голодным и не дрожать от холода, он хочет, чтоб его не били... И тэ дэ. И тэ пэ. И то, что он хочет, знают опытные следователи и опытные психологи, прикрепленные к следственным группам и неотрывно и внимательно следящие за каждым шагом того, кто вошел. Они наблюдают за вошедшими 24 часа в сутки, они подслушивают вошедшего 24 часа в сутки, они выкручивают ему руки и душу 24 часа в сутки и спрашивают, спрашивают, спрашивают:

— Как дорого, ты, вошедший, готов нам заплатить за осуществление твоих желаний?

Этот вопрос будет висеть в воздухе в тысячах форм. И во время следствия. И во время суда.

И они не будут надеяться на то, что вошедший сам ответит на этот вопрос. Они будут внушать ему "правильный" ответ лично и через камерную наседку, через родственников и адвокатов и, что самое страшное, через его товарищей, которые уже дрогнули. Они популярно расскажут вошедшему, что эпизоды его "преступной" деятельности — дело второстепенное, а главное — его отношение к его "преступной" деятельности. Оно будет главным фактором в его наказании. И определять это наказание советский суд будет, не исходя из каких-то жестких правовых норм, а исходя из своего "социалистического правосознания и с учетом личности обвиняемого". (Для сравнения скажу, что израильскому обвинителю запрещено представлять судье любые компрометирующие обвиняемого данные, не имеющие отношения к эпизодам его обвинения, например, данные о количестве его предыдущих судимостей, до вынесения вердикта о виновности или невиновности.) Что же такое личность обвиняемого? Это, в первую очередь, его отношение к содеянному. Например, как он относится к сионизму, к деятельности организации, членом которой состоял, к чтению "Экзодуса", к плану захвата самолета?

И здесь начинается та страшная, подчеркиваю, страшная борьба между тем самым вошедшим, у которого много болевых точек и много изначальных минусов, вызванных воспитанием в условиях двойного стандарта, и между мощной, хорошо отлаженной и беспощадной машиной принуждения и искwienia (кнут и пряник).

Редко кто выходит из этой борьбы без единой царапины. Во вступлении к своей книге "Ленинград—Иерусалим с долгой пересадкой" я пишу:

"Хорошо ли мы сделали свою работу? Не мне судить об этом. Только в книжках для детей и в советских книжках для взрослых бывают безупречные герои. Не думаю, что хоть один из нас, прошедших следствие и суд, вполне доволен собой. Не думаю, что есть хотя бы один, кто листая страницы прошлого, не казнил бы себя: не так надо было, не так..." Конец цитаты.

Поэтому в своей книге я воспел "безумство храбрости" члена нашей организации Гилеля Шура, который не сказал ни единого слова ни следователям, ни судьям (на процессе самолетчиков промолчал все следствие Юра Федоров). Поэтому я воспел бы неординарное мужество маленького еврея Натана Шаранского, взлетевшего высоко в историю. (Но он не проходил по нашим процессам и я не читал тогда его мужественного последнего слова.)

По решению комитета организации, принятому задолго до арестов, все мы должны были молчать. (Подробности ч. I стр. 82—84). В условиях реального, а не теоретического следствия заговорили все, одни после молчания в течение нескольких суток, другие после молчания в течение нескольких недель (я начал давать показания по поводу операции "Свадьба" через 3 недели после ареста, об организации — через месяц).

Тот, кто начинает говорить, должен, обязан сразу же поставить перед собою красную черту (я говорю не о фактах, а об оценках. То, что следствие установит все или почти все факты, мне, бывшему следователю милиции, было ясно с самого начала, да и сами факты деятельности организации с точки зрения закона в основном не были противозаконными). Установление этой красной черты и борьба с собой и следствием, чтобы не перейти ее, — то главное, из-за чего сидят на следствии в наше время [Подробности. ч. II стр. 40 и далее].

Например на вопрос "Как Вы относитесь к Вашей преступной деятельности в антисоветской сионистской нелегальной организации, членом которой Вы состоите", можно было ответить по-разному:

1) У нас не было никакой организации (такой ответ может быть дан только при условии предварительного сговора надеющихся друг на друга людей. В нашем следствии он был наивен, ибо в организации состояли десятки людей, принятых туда по определенной процедуре, ознакомленные с программой и уставом и платящие членские взносы).

2) Да, я состоял членом организации, но не мы антисоветчики, а вы. Вы превратили страну в застенки, в котором приходится нелегально бороться за законные права (результат тако о ответа — предельный срок со всеми вытекающими и вытекающими последствиями).

3) Вся антисоветскость нашей организации заключалась в том, что коварно нашей деятельностью мы причинили некоторый вред внешней и национальной политике, проводимой правительством СССР. Организация никогда не ставила перед собой цель подрыва или ослабления существующего в СССР режима. Наша нелегальность заключалась в том, что мы не зарегистрировали нашу организацию в финансовых органах, но мы и не могли этого сделать. Организация действительно была сионистской, но наш сионизм заключается в любви к своему народу и в желании жить в своем государстве. Он не имеет никакого отношения к сионизму на страницах советских газет. Только в таком смысле можно было бы назвать нашу организацию антисоветской, нелегальной и сионистской (вариант, который я принял после тяжелой борьбы).

4) На почве враждебного отношения к существующему в СССР режиму и с целью его подрыва и ослабления я вступил в нелегальную сионистскую антисоветскую организацию. Я чистосердечно признаю свое преступление и глубоко раскаиваюсь (ответ на заданную тему "на хорошо", можно ожидать милости от суда).

5) Я проклинаю день и час, когда обманутый сионистской пропагандой я вступил в нелегальную террористическую антисоветскую сионистскую банду. Я шлю свое проклятие Голде Меир и другим палачам арабского народа. Я клянусь, что никогда больше... (ответ "на отлично". Отличник, как и хороший ученик, будут включены в список чистосердечно раскаившихся и способствовавших раскрытию преступления и их ждут заслуженные льготы. В случае Дана Шапиро — освобождение в зале суда).

Я оставлю на совести В. Богуславского то, как он определяет процесс комитета организации (околосамолетный процесс) и с чем он его сравнивает. Процесс, на котором он сам сидел, хотя и на последней скамейке и в

уголке. Мне хотелось бы остановиться на отличии в подходе КГБ к целям и задачам Первого и Второго Ленинградского процесса (самолетного и околосамолетного). Отличие, которое продиктовало огромное психологическое давление на участников околосамолетного процесса и вызвало коллизию в судьбе его участников, людей, долгие годы борющихся в подполье за дело еврейского народа.

Первоначальная стратегия КГБ после 15.6.1970г. заключалась в том, чтобы подготовить кровавые процессы в целях запирания и задушения сионистского движения. Поэтому "самолетчики" должны были выглядеть как потерявшие человеческий облик, готовые к проливию христианской крови. Им были уготованы тяжелые сроки и от них, как мне кажется, не требовалось раскаяния.

Международная реакция на приговор "самолетчикам" изменила стратегию КГБ и, сдается мне, что заранее было решено, что сроки членам комитета на околосамолетном процессе должны быть сравнительно мягкими. Но надо было подогнать поведение участников этого процесса под поставленную задачу. Им надо было играть роль обманутых сионистской пропагандой жалких овец, которые в конце концов осознали, куда завел их, в принципе неплохих людей, сионистский дурман. Стратегия КГБ в данном случае сводилась к тому, чтобы переложить ответственность с сионистов на сионизм. И подсудимые должны были осознать и естественно сыграть сценарные роли (сценарий -- обвинительное заключение).

Я понимаю логику тех, кто согласился играть в эту игру. Разве всем не ясно -- рассуждали они -- что мы попали в руки беспощадной банды, у которых нет никаких моральных препонов. Разве всем не ясно, что я не изменник своих взглядов, а только делаю вид. Разве может повредить сионизму то, что я скажу о нем и об организации, ведь гораздо важнее то, что четыре года я боролся за него в подполье. Да, я сделаю то, что сделали в свое время марраны, но это будет ложь во спасение. И я попрошу прощения. И я скажу, что никогда больше не буду. У кого убудет от этого? А от моего срока убудет.

Я понимаю их логику. Но никогда не приму ее

И каждый из нас, которые вошли, прошли и вышли и живем сегодня в Израиле, хорошо знает, у кого и где проходила красная черта в то тяжелое время.*

* В интервью утверждается, что поведение Г.Бутмана на следствии и суде существенно отличалось от того, какое он приписывает себе сейчас. Интересующихся подробностями отсылаем к сб. "Антиеврейские процессы в СССР", ч. 1.

Продолжается подписка на журнал "Двадцать два"

Стоимость годичной подписки: в Израиле, в связи с переходом на новое оформление обложки, — 44,8 новых шекеля (до выхода следующего номера; после этого — в соответствии с новым уровнем цен); за рубежом — 40 долларов (авиапочтой в Европу — 50, в США — 56 долларов), для организаций — 50 долларов. Заказы и чеки направлять по адресу: "22", п/я 7045, Рамат-Ган, Израиль — или представителям журнала на местах.

Соединенные Штаты

L. Khotin, 235 17 Mile Dr., Pacific Grove, Ca. 93950

Западная Германия

L. Roitman, 67 Oettingerst. am Englischen Garten, 8 Muenchen 22 BDR

L. Gerstein, 12 Muehlbauerst., 8 Muenchen 80 BDR

Великобритания

R. Weisman, 1 Lodge Rd., Hendon, London NW4

КО ВСЕМ ЧИТАТЕЛЯМ

Мы призываем всех, кто заинтересован в сохранении нашего журнала, помочь нам пожертвованиями, которые будут приняты с глубокой и искренней благодарностью независимо от их размера

В апреле-июне журнал поддержали пожертвованиями следующие читатели: Я. Аронсон (Холон) — 15 шек., доктор Брук (Цфат) — 10 шек., С. Каминская (Иерусалим) — 5 шек., И. Кешет (Хайфа) — 20 шек., В. Лиров (Кирон) — 5 шек., Ременик (Иерусалим) — 5 шек., М. Рубина (Ришон-Лецион) — 15 шек., П. Семердяев (Иерусалим) — 5 шек., Х. Шацкая (Тель-Авив) — 20 шек., Б. Шарир (в память Нины Залкинд, Кфар-Саба) — 25 шек., Шенкер (Кирон) — 25 шек., А. Цимиринов (Иерусалим) — 5 шек., Л. Наткович (Нацерет-Илит) — 25 шек., Т. Беснер (США) — 25 долл., Л. Ш. (США) — 60 долл. Всем этим людям мы приносим искреннюю и глубокую благодарность.

Все права на материалы журнала (за исключением особо оговоренных случаев) принадлежат издательству "Москва—Иерусалим". Использование материалов без ведома и согласия издательства не разрешается.

Отпечатано в типографии

"ЯКОВ ПРЕСС"

ул. Рош-Пина, 22

Тель-Авив

